

Н·А·
НЕКРАСОВ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

Н. А. НЕКРАСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ

4

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

Составление и общая редакция
И. Ямпольского

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ ПИИТА

Рассказ

— Что это за такое бессловесное животное?

— То, которое словесности не обучалось.

Хотя я иностранным языкам еще не обучался, но все-таки до личности своей коснуться не позволю.

Некие.

Это было в 182 * году...

Плотно завернувшись в шинель, дрожащий от холода, я лежал на ковре, разостланном посредине моей квартиры, и размышлял о средствах достать чернил. Мне нужно было непременно написать одну статейку, на которой основывались все надежды моего бедного желудка, в продолжение трех дней голодного. Год был урожайный; за статьи платили мало или ничего вовсе, а есть любил я много; ни родового, ни благоприобретенного я не имел, следовательно, нечему дивиться, что мебель моя состояла из одного трехногого стула, а вся квартира простиралась не более как на шесть квадратных шагов, половина которых была отгорожена ширмою, за которою жительствовал мой слуга. Я находился в тесных обстоятельствах, во всевозможных смыслах этого выражения; денег у меня не было ни гроша; вещей удобопродаваемых тоже... Как тут быть?

— Милостивый государь! — закричал я громко, как бы опасаясь быть неуслышанным.

— Сию секунду,— отвечал из-за ширмы голос моего человека, которого я имел обыкновение называть милостивым государем.

— Как бы нам достать чернил? Ведь этак мы, пожалуй, умрем с голоду...

— Да, сударь.

— Вот, если бы были чернила, я бы написал что-нибудь и достал бы денег. Нельзя ли взять у хозяина: вбеги впопыхах с чернильницей: очень, мол, нужно поскорей; куплю, так отдам.

— Да я уж так несколько раз делал; пожалуй, догадается.

— Ты прав. Не сделать бы хуже; он уж и то поговаривал, что нашу квартиру у него нанимают. Сходи лучше к лавочнику: мелких, мол, не случилось, хоть на грошик пожалуйте; да говори с ним поласковей.

— Куда! Этот жид и то не дает мне покоя. Все долгу просит. «В полицию, говорит, явку подам, надзирателю пожалуюсь... Этак честные люди не делают... Вишь, твой барин подъехал с лясами: поверь да поверь земляку — вот и я влопался». И ну костить, да так, что инда злость берет; при всей компании по имени вас называет...

— Ах, он мошенник!.. Да ты бы его хорошенько...

— Нету, сударь, уж как хотите сами, а я не берусь. Пожалуй, и в самом деле...

— Точно, точно... Лучше к нему и не ходи... Тьфу! черт возьми! да нет ли у нас гроша-то где, что и в самом деле!..— При этих словах я обшарил все свои карманы — и засвистал протяжно: — Пусто!

— Пусто! — повторил мой милостивый государь еще плачевнее, выворачивая свои карманы.

Слезы навернулись у меня на глазах; злость закипела в душе...

— Вот до чего мы дожили... Сидим по два дни без хлеба, без дров, без чернил,— прибавил я страдальческим голосом.— Живем в гадкой каморке.

— Ничего, сударь.

— Как ничего! Глупец! Этак, если б меня посадили на кол, ты бы тоже сказал: ничего!

— Не место человека красит, а человек место,— говорит пословица. А пословицы, сударь, вещь прекрасная, сколько я мог заметить; что́ вы, сударь, об них ничего не напишете?

Я готов был заплакать и, по обыкновению, пуститься в проклятия стихами и прозой; но философия моего

милостивого государя меня обезоружила. Этот человек, который сносил равную моей участь гораздо терпеливее меня, не раз отстранял совершенное мое отчаяние. Несмотря на простоту его, я замечал в нем гораздо больше твердости характера и потому невольно уважал его, иногда даже прибегал к его советам.

— За что же мы теперь примемся, милостивый государь? — спросил я.

— Да что, сударь, бросили бы свое писанье, коли не везет; испробовать бы другой карьеры...

— Ты опять за свое. Этого не будет, я уж сказал. Вот ты бы лучше подумал, как достать чернил.

— Терпит ли время до завтра? — спросил милостивый государь скороговоркою, с каким-то нечаянным самодовольствием...

— А кто поручится, что до завтра я не умру с голоду? Да и статью надо бы скорее.

— Батюшка-барин,— сказал милостивый государь дрожащим голосом,— потерпите до вечера... не сердитесь, что я вам скажу... У меня, вон, есть кусочки ситника, что намедни карандаш вытирали: вы съешьте их; оно все на животе-то поздоровее... а я покуда добуду денег...

— Что ты, Иван? — закричал я, забыв обыкновенный тон шутки.— Где ты достанешь денег так скоро?..

— Да вот в соседние дома поношу водицы, так и заработаю что-нибудь.

— Добрый Иван! — сказал я и почти готов был обнять его.

— Оно, вот видите, барин, кабы вы так не транжирничали, и было бы хорошо; ведь еще третеводни были у вас деньги: вы враз упекли! Хоть бы вы послушались моей просьбы да отпустили меня, так я бы нашел местечко, а деньги-то бы приносил вам... все бы сподручнее...

— Опять за свое. Пожалуйста, не говори мне никогда об этом,— сказал я с чувством обиженной гордости и сел на стул... Изломанная ножка, кой-как подставленная, подломилась, и я упал.

— Эх, барин! говорил, не садитесь, ножка худа, я-де подставил ее только для приличия, кто взойдет, чтоб не переконфузиться: надо же ведь и тону задать!.. Виноват, батюшка... не ушиблись ли вы? — говорил милостивый государь.

Но мне было не до него. Сердце мое сильно забилось радостью; в этом падении я увидел начало своего возвышения. Да! я увидел сапоги милостивого государя; кажется, тут и нет ничего необыкновенного... Точно, точно, милостивые государи, для вас так, но для меня... увидел сапоги моего Ивана — и нашел, что́ бы вы думали?.. Философский камень?.. Ничуть не бывало... меня только поразила светлая, гениальная идея: видно, что в этот день на небе было что-нибудь особенное, или, может, ум мой... но я оставляю исследовать это до другого времени...

— Давай сюда поскорей мои сапоги! — закричал я милостивому государю, и сам схватился за голову, опасаясь, чтоб не исчезла идея: неожиданное счастие иногда заставляет нас прибегать к излишним предосторожностям, из опасения потерять его.

— Идти со двора, что ли, сударь, хотите? Ведь ваши-то сапоги очень худы... наденьте лучше мои...

— Не то! идея, братец, идея! — закричал я, держась по-прежнему за голову.

— Да ведь я вам говорю, что худы, вылетит.

— Что ты тут толкуешь! С ума, что ли, ты спятил? Давай скорей.

— Да вы посадить, что ли, в них хотите ее?..

Я вышел из терпения; надобно же случиться такой оказии, что милостивый государь вздумал рассуждать. Чтоб не терять по-пустому времени, я побежал сам за перегородку, отыскал сапоги и с торжествующей физиономией поцеловал один из них. Милостивый государь стоял, вытаращив глаза. Я потер пальцем по мокрому месту сапога... Физиономия моя еще более прояснилась. Иван пожал плечами.

— Иван, друг мой! — закричал я.— Давай скорей тарелку, да нет ли какой тряпочки?.. Мы не умрем с голоду! Тебе не надобно идти носить воду... Что ж ты стоишь!

Иван, поставленный мною в тупическое положение, насилу опомнился и побежал исполнить приказание. Сердце мое шибко билось от полноты сильных сладостных ощущений; может быть, еще первый раз в жизни оно было озадачено таким полным, мощным приливом счастия. Я готов был выбежать на улицу и расцеловать первого встречного, хоть будочника, который диким,

беспрестанным восклицанием «кто идет?» не дает мне спать. Таких минут немного бывает в жизни!

Милостивый государь наконец достал требуемых мною вещей и явился. Я выхватил у него из рук тарелку и поставил ее на окно; набрал в рот воды, взял тряпку и таким образом остановился у окошка, держа сапог прямо над тарелкою.

— Осмелюсь вам доложить, не понимаю, что изволите делать; дельное что или просто так, шутственное?

Я взглянул на Ивана: лицо его представляло странную смесь любопытства, недоумения и какого-то глупого испуга. Мне стало смешно, а смех такая вещь, которая производится только рот разиня. Я фыркнул, брызги воды полетели в лицо Ивана. Он обиделся.

— Не плакать бы нам, барин; после веселья всегда бывают слезы; пословица...

— Ты опять с пословицами; довольно и давешней,— сказал я и снова набрал в рот воды.

Не обращая более внимания на Ивана, я стал выпускать изо рта воду на сапог и тряпочкой смывать с него ваксу. Физиономия моя прояснилась до прозрачности, когда я увидел черные крупные капли, падающие с сапога на тарелку.

— Вот что! — произнес милостивый государь и вздохнул свободно.

— Да, вот что, милостивый государь.

— Не густы ли? — спросил Иван.

Молча указал я на ковш с водою.

— То-то, а то у вас всегда так: вдруг густо, а вдруг пусто.

Через минуту чернильница моя была наполнена драгоценным составом; я приставил стул к своему ковру, положил на него бумагу, поджал под себя ноги, и пошла писать.

— Умудрил же господи раба своего! — набожно произнес милостивый государь и пошел за ширмы спать, или отдать визит *пану Храповицкому*, как сам он выражался.

Я уписывал уже второй лист, стараясь писать как можно разборчивее, потому что изобретенные мною чернила были не очень благонадежны; из-за ширмы слышалось уже полное, совершенно развившееся храпение милостивого государя, как вдруг в дверь мою по-

слышался тихий стук... Я не мог растолковать себе, кто б это мог ко мне пожаловать; хозяин мой стучит сильно и смело, а больше ко мне ни собаки *не ходит*. Теряясь в догадках, я разбудил Ивана и велел отпереть ему, для большей важности.

— Наум Авраамович дома? — спросил робкий, дрожащий голос.

— У себя-с,—отвечал милостивый государь.— А как об вас доложить?

— Я приезжий из Чебахсар; они знают моего родителя; я Иван Иваныч Грибовников.

Я выскочил за ширмы и увидел молодого человека, с множеством различных тетрадей под мышкой и с письмом в руке. Я оглядел его с ног до головы; черты лица его были резки и неправильны, в глазах выражалась необычайная робость, происходившая как бы вследствие сознания собственной ничтожности, нижняя губа была чрезвычайно толста, несколько отвисла и потрескалась; нос был довольно большой и несколько вздернутый кверху; волосы его, сухие, немазаные, неровно остриженные, не показывали ничего общего ни с одной из европейских причесок; зачесанные ни вверх, ни вниз, они щетиной торчали над головой, в виде тангенса к окружности; руки его были почти грязны и имели на себе несколько бородавок, расположенных почти в том же порядке, как горы на земной поверхности; ноги были кривы и двигались неровно и медленно; когда он говорил, то обыкновенно одну ногу выдвигал вперед, а другой изредка сзади в нее постукивал; кланялся он низко, очень низко, но совершенно не по тем законам, каких держится большая часть поклонников; на нем был долгополый сюртук из синего сукна, двубортный, с тальей на два вершка ниже обыкновенной, с фалдами, усаженными пуговицами, которых пара приходилась почти против пяток; желтые нанковые брюки, необыкновенно узкие, довершали безобразие ног; оранжевая с белыми полосками жилетка, загнутая доверху, пестрый ситцевый платок с китайскими мандаринами на узоре, из-за которого едва виднелась черная коленкоровая манишка, порыжевшая от времени и непредвиденных обстоятельств, и смазные немецкие сапоги на ранту — дополняли его наряд.

— Пожалуйте, пожалуйте, очень приятно...— говорил я, вводя его в дверь и путаясь в полах моей шинели.

Грибовников смотрел на меня с каким-то благоговением, а на мою квартиру еще с большим...

— Что привело вас сюда? — спросил я после обыкновенных приветствий.

— Судьба,— отвечал он трагически.

— Прошу садиться,— сказал я и, спохватившись, прибавил: — кто как любит, а я, знаете, просто, по-турецки, на полу, оно как-то удобнее. Вы извините меня, у меня такой уж характер; не люблю этой мишурной пышности.

— Всеконечно. Суета мира сего — ничто пред всеобъемлющей, громадною, бесконечною вечностию.

— То есть вы хотите сказать: все вздор против вечности?

— Действительно, сударь, я вам должен доложить, что я хотел сказать сие самое.

— Надолго в Петербурге, или опять на родину? Вы, верно, там служите?

— Да, я хотел было поступить в земский суд, да наш уездный учитель, умнейший человек на свете, посоветовал мне поступить лучше в пииты; оно, говорит, и доходно и почетно... Я же уж давно пописываю... право, вот вам, прочтите... затем я и к вам, Наум Авраамович; как бы это определиться? вот и батюшка-то к вам письмецо пишет,— сказал он умоляющим голосом и вручил мне письмо.

Все еще недоумевая, о чем идет дело, я развернул письмо и нашел следующее:

«Милостивый государь,
Наум Авраамович!

Примите под свое высокое покровительство сего юного питомца муз, дабы он мог, под вашим крылом, вознестся до превыспренних высей Парнаса и на сладко бряцающей лире восхвалить ваши ему благодеяния; ибо с давних пор, я вам скажу, замечено мною в сыне моем, Иване Иваныче, необычайное стремление к пиитике; долг родителя есть поощрять сие столько же, сколько довлеет изгонять из единокровных чад своих, коих господь бог послал ему яко утешение и подпору на старости лет, семя греховное, и потому к вам, Наум Ав-

раамович, как гению, прославившему наш град писанием, адресую моего сына; он у меня один, как порох в глазе, и вы за него богу ответите, если допустите погибнуть, аки оглашенному, кой, буде я не ошибаюсь, имеет безошибочные таланты и пишет аки медом кормит, ибо в чтении оно так же сладимо. Писание его вельми различно и обширно. Он также сочиняет для Российского Феатра, что в особности прошу заприметить, ибо и покойный Сумароков писал в различном духе и складе. Жена моя, Анфисочка...»

— Уф! — вскричал я, не имея терпения дочитать. Прошу покорно, просит моего покровительства! Да я-то что такое? А! видно, что-нибудь... И в самом деле! Ведь пишет же он, что я прославил их город. Вот оно!.. Эта мысль примирила меня с моим гостем, которого я хотел протурить без церемонии.— Милостивый государь! сколько могу, буду содействовать вам; но позвольте сперва обратиться к вам с одним вопросом: почему вы непременно хотите быть писателем?

— Мы все живем на земле, родители и сродственники наши помещаются также на оной,— но никто из смертных не проникал в будущую судьбу свою... Всеобъемлющий гений Шекспира и сугубая злодейственность Малюты Скуратова равно велики и поразительны в своем роде...

— Но, любезнейший мой Иван Иваныч, из этого еще ничего не следует...

— Позвольте мне говорить с вами откровенно,— сказал доверчиво Иван Иваныч.

— Говорите, говорите,— сказал я и пожал его руку... Он положил руку на сердце, тяжко вздохнул и сказал: — Мы удивляемся Шекспирову гению, но знал ли сей великий мясник...

— Но вы хотели мне что-то сообщить о себе?

— Да; я буду с вами откровенен: вы пиит, я тож, вы поймете меня, не так ли?

Я вежливо поклонился. Иван Иваныч продолжал:

— Что касается до меня, то в душе моей я признал нечто пиитическое еще в младости цветущей... Сие изложено мною в дактилохореическом стихотворении, титулованном мною двояко: *Зарождение плеснети в стоячем болоте*, или *Пиит в юности;* прикажете прочесть?

— После, после,— сказал я поспешно,— мы их все рассмотрим. Теперь, что дальше?..

— Я пиит, решительно пиит! собственное сознание убеждает меня в сем предположении,— сказал Иван Иванович, положа одну руку на сердце, а другой пожимая мою.— Постыдно быть врагом самому себе и зарывать в землю свои таланты, кои, будучи очищены, аки злато в горниле, затмят камни самоцветные...

— Но вы не знакомы с положительной стороной того, за что хотите взяться... Тут много такого...

— Треволнения вселенной, коловратность мира сего — ничто! Неужели то, что я пожертвовал местом в земском суде, при коем *окромя* прочих продуктов квартира, дрова, и свечи, для пиитики, не может служить *хоша* малым доказательством моей к оной наклонности?.. Конечно, от доходов, буде оные случатся, я не отказываюсь, ибо состояние мое того не дозволяет. Но сие не важно суть, ибо всем известно, что Вальтер Скотт миллионы нажил писанием... Предположим, что не столь великое счастие мне поблагоприятствует, но пиит и половиною сего будет удовольствован...

— Но кто вам сказал, что это так легко? — спросил я, посматривая на свое жилище.

— Вы, Наум Авраамович! Вы! — воскликнул он, и лицо его просияло.— Весть о богатстве вашем достигла до нашего града и, мгновенно разлетясь по стогнам оного, произвела всеобщее шумление. Сие-то и есть главною причиною, что родитель мой не воспрепятствовал моему желанию... Поезжай в Питер! — молвил сей добродетельный старец.— Трудись для российского Парнаса, а нам высылай наличными; пииту там хорошо... Наш друг Наум Авраамович...

— Да, конечно, я не могу жаловаться на судьбу свою: денег у меня довольно,— сказал я, вспомнив, что писал еще недавно к одному из земляков, что наживаюсь от литературы, имею своих лошадей, огромное знакомство и таковую же славу. Чего я не писал тогда? Впрочем, меня извиняют обстоятельства: там жила — царица души моей!.. Я не желал, чтоб Иван Иванович обличил меня во лжи перед целым городом, и решился, во что бы ни стало, опровергнуть невыгодное мнение о моем кошельке, которое, вероятно, внушил ему вид моей квартиры.

— Вам странным должен показаться образ моей жизни; в этом признались уже все мои приятели, но нарочно для этого-то и живу я так. Что ж? я мог бы иметь хорошую квартиру, мебель, прислугу, пару лошадей, дюжину поваров, кучера, дворецкого; но, знаете, все это так обыкновенно... Нынче этим не удивишь. Да и для меня это полезнее; при виде окружающей меня бедности я прилежней работаю, как будто у меня и не лежит ничего в ломбарде... А чуть вспомню,— вот и беда: мы, писатели, люди такие неумеренные.

— Заблуждаться свойственно человеку,— не извиняйтесь, Наум Авраамович... Я сам не прочь от сего... *эт-то,* в страстную пятницу, перед отъездом сюда... мерзко вспомнить... Благороднейшие пииты нашего града уподобились скоту бессловесному... у всех на другой день фонари под глазами были.

— Но вы не так меня поняли.

— Все равно,— произнес он с жаром,— мы поймем друг друга... Скажите мне, что я могу на первый раз получить в год от пиитики?

— Вот видите, времена нынче странные: люди предпочитают поэзии прозу.

— О, грубые души, во тьме бродящие, бедных разящие, ложно мудрящие, низко творящие, вечно кутящие, пьющие, спящие, света не зрящие...— и пошел, и пошел... да так, что, я вам скажу, наговорил он их штук сорок... Ну, голова!

Я взглянул на него; лицо его было бледно и сияло каким-то неземным вдохновением; глаза страшно блистали, весь он слегка дрожал.

— Что с вами? — спросил я в испуге.

— Недуг пожирающий, тьму разверзающий, музу питающий, в радость ввергающий, плоть убивающий, дух возвышающий...— и опять пошел...

Страшно было смотреть на него; глаза его бегали, как у белки; нижняя губа как-то судорожно качалась; он уж едва держался на ногах.

— Сядьте! — сказал я и подвинул к нему стул, опять забывши о его недостатке.

Поэт не успел сесть, как уже был на полу...

— Землю пленяющий, небо вмещающий, огнь возжигающий...— шептал он, подымаясь с полу.

— Извините! — сказал я и поспешил подать ему помощь, но вдруг отскочил в ужасе...

— Черт вас возьми с вашим вдохновением! Вы пролили у меня чернила и залили мою статью! — закричал я с негодованием.

Поэт ничего не слышал. Он продолжал свою импровизацию. Между тем гнев мой несколько утих, и я очень радовался, что обидное мое восклицание не было им услышано.

— Успокойтесь, успокойтесь, любезный Иван Иваныч!

— Ох! — сказал он.— Это вы, Наум Авраамович, а мне показалось, что сам бог пиитики, Аполлон, предстал пред очи ничтожнейшего из пиитов.

Я вежливо поклонился.

— Извините, что я вас так много утруждаю присутствием моей малой особы, которая в присутствии вашем...

— Ничего. Лучше поговорим о деле. Вы бедны?

— Я нищ!

— Что ж вы намерены предпринять для своего содержания?

— Наум Авраамович! Вы сами гласите, что уж и в ломбардном заведении ваши денежки водятся. А чем вы их нажили... мне бы то есть хотелось идти по следам вашим... Выпустите меня в литературу! Не корысть, не соблазны мира сего... поверьте... Мне бы так тысячи три-четыре на первый раз...

«Ого!» — подумал я и поднял свой изувеченный стул.

— Только бы иметь средство прилично содержать себя и не быть в крайности; доставьте мне сию возможность.

— Право, не знаю как; задача трудная. По крайней мере знаете ли вы хоть один иностранный язык?

— Как же! еврейский, греческий, латинский, славянский...

— А немецкий, французский?

— Нет, Наум Авраамович.

— Плохо... на перевод, значит, нечего и надеяться. Не пробовали ли вы писать прозой? На прозу цена выше...

— Fiunt oratores, nascuntur poetae[1], изрек Гораций; следственно, несомненно, что родшийся пиитом легко может сделаться оратором... Небезызвестно вам, что у нас еще с риторики задают рассуждения, хрии и прочая; я писал их по приказанию местного начальства, но душа моя...

— Оставьте-ка лучше вовсе свое намерение.

— Ни за что! Я не изменю своему призванию: Аполлон и девять сестер, именуемых музами, что на греческом наречии значит...

— Знаю, знаю. А я бы лучше советовал приняться за что-нибудь другое...

— Нет; лучше соглашусь довольствоваться тысячью рублями годичного продукта для поддержания бренной жизни сей,— произнес он с усилием, как будто бы делая величайшее пожертвование.

— Право, лучше поступите в статскую службу.

— Но небезызвестно вам, Наум Авраамович, что на первый раз жалованье слишком недостаточно. Триста рублей с копейками...

Я внутренне усмехнулся.

— Но уверяю вас, что и поэзия не больше принесет вам.

— Как! И вы это говорите! Вы, о богатстве которого весть гремит повсюду, которого наш град прозвал своим Крезом,— Крез, изволите видеть, был богаче всех,— которому весь наш град завидует...

— Да с чего вы это взяли, что я богат? я, право...

— Не скрывайтесь, Наум Авраамович! Вы хотите этим отвлечь меня от поприща, на которое влечет меня сердце, но пусть я буду терпеть глад и хлад, скуку и муку, насмешки человечества, изгнанье из отечества и прочие увечества,— но никогда ни за что не откажусь от пиитики. Вот они, вот плоды светлых вдохновений, сильных ощущений, тайных упоений, бледных привидений, адских треволнений, диких приключений, тягостных мучений, сладостных кучений, бед и огорчений...

— Чудо, чудо! — закричал я.— Да вы собаку съели, Иван Иваныч!

---

[1] Ораторами делаются, поэтами рождаются (*лат.*).

Поэт мой ничего не слышал; торжественно схватил он с пола кипу своих тетрадей, развернул первую попавшуюся и начал:

Федотыч, трагедия в 5 действиях, в 16 картинах, заимствованная из прозаической пиимы Василия Кириловича Тредиаковского *Езда на Остров Любви* и написанная размером *Виргилиевой Энеиды*, в стихах, с присовокуплением некоторых новооткрытых идей самого автора *Ивана Ивановича Грибовникова*, с принадлежащим к ней прологом и интермедиею. В числе 8783 стихов сочинил *Иван Иванович Грибовников*. Действие частию в деревне Прохоровке, Симбирской губернии, Самарского уезда, частию в волчьей яме и земском суде.

ДЕЙСТВИЕ 1

ЯВЛЕНИЕ I

Театр представляет полати. Федотыч спит. Работник Кузьма подходит будить его.

Кузьма

Вставай, владыка мой, Федотыч, солнце красно
Взошло и на сей мир осклабилося ясно.

Федотыч
(*просыпаясь*)

Всю ночь мне не спалось, и некий злой шакал,
Мне мнилось, на меня хулу из уст рыгал.

Кузьма

Что зрелося во сне, на то ты не смотри,
А лучше лик себе платенцем сим утри!
(*Снимает с гвоздя полотенце и подает ему.*)
Дремоту обуяв, взгляни на ясность неба;
Умойся, помолись — и съешь краюшку хлеба.

Федотыч

Советодатель мой и мой наперсник! внемлю
Тебе и нисхожу — с полатей я на землю.
(*Федотыч встает, умывается, садится есть.*)

Кузьма

Реши, владыка мой, сомненье днесь одно:
Идти ли нам косить иль выйти на гумно.

Федотыч

О юность! сколько ты неопытна, быстра!
Ведь прежде, нежель мы изыдем со двора,
Должно нам порешить с тобой, о сын мой, вкупе,
Владыке в чем идти, в чемерке иль в тулупе?

Кузьма

Едва лишь ночи мрак преторгнул свет Авроры,
На улице жара, ну так, что ломит взоры.

Федотыч

Итак, надену я армяк и стару шляпу,
Не сторгся б с небеси дождь яростный внезапу.

Кузьма

Надень под низ тулуп: здоровьем ты ведь слаб.

Федотыч

(*едва удерживаясь от слез*)

В объятия мои, ко мне, мой верный раб!

(*Заключает его в объятия, потом одеваются и уходят.*)

— Превосходно, превосходно! — закричал я.— Да не махайте так руками и не декламируйте так громко; разумеется, это придает много силы вашему сочинению, но знаете, если у вас немножко грудь слаба...

Он подал знак, чтоб я молчал, и хотел продолжать.

— Отдохните немного, у вас сделаются конвульсии, у вас пламенная, благородная кровь, и потому вы очень увлекаетесь, а это...

— Если вы не хотите слушать, то я перестану,— воскликнул он обиженным голосом, прерывая мои слова.— Я, сударь, читал свои сочинения в торжественном собрании нашего града. Сам городничий был, смотритель училища на другой день зачем-то прислал мне лаврового листу и писал, что меня должно венчать, как какого-то Тасса, да я ответил ему, что жениться мне еще рано... Впрочем, и дочка у него скверная такая, рябая, с веснушками.

— Не сердитесь, мой любезный Иван Иваныч, я вас же любя сказал. Да притом сегодня мы всех ваших сочинений прочесть не успеем, то я просил бы вас оставить их на недельку у меня, а теперь прочесть только отрывки.— Я взял из кипы тетрадей другую, развернул и прочел заглавие: *Иоанн и Стефанида*.— А, это что-то духовное... новый род... должно быть хорошо.

— Да, это пиима, сказочного содержания, так, в Овидиевом роде. Мне хотелось испытать себя во всем. Но это вы прочтете после. Знаете, как неудобно для сочинителя, когда внимание читателя двоится; лучше кончить трагедию.

— Но вы уже дали мне понятие о стихах ее, они прекрасны; а чтение всей трагедии отнимет у нас много времени, мне некогда... вы извините меня.

— Но дослушайте хоть сюжет; я вам говорю, я сам удивляюсь, как я написал это: о, тут будет еще не то! Я вам скажу, у меня для некоторых лиц язык даже особенный, а сюжет просто диковина... Все, все новое... нигде еще не было напечатано. Вот изволите видеть, они пошли теперь на работу, тут придут домой, будут есть, пить; начнется кричанье, плясанье, стучанье,— такие деянья, что даже названья им трудно прибрать... Но это еще все ничто... Федотыч, подгулявши, это уже в третьем действии, идет, изволите видеть, в лес; вот тут штука... дело было под вечер... он не разглядел, да и бух в волчью яму, а там волк уж попался, голубчик, вот у них и начинается потеха. А! каково! Вот тут, я вам скажу, так уж пиитика! Меня самого слезы пронимают, как вспомню; как взял волк Федотыча да как принялся ломать, так ажно самому страшно. (Становится в позицию и начинает декламировать.)

Как ось несмазанна возницы Аполлона
Вдруг кости треснули: Федотычева стона
Раздался велий глас, и гладную вельми
К нему летящу зрит орлицу он с детьми...
Кто ужас выражал на свете сем достойно?
Кому, блаженну, сил дано премного столь,
Исчерпать сей предмет, изобразить пристойно?
Где, где счастливец сей: обнять его дозволь!

Иван Иваныч простер ко мне свои объятия и искал моей шеи. Я уже хотел спросить: за кого вы меня при-

нимаете? — но увлечение моего поэта было так сильно и естественно, что я не желал разбудить его.

Крепко, пламенно обнял меня поэт и заплакал.

Долго слезы мешали ему говорить; наконец он снова начал. Не ужасайтесь: вы думаете, Федотыч погиб? никак нет-с.

Подобно праотцу всех праотцев, Адаму,
Лишился он ребра, попавши в волчью яму,

Вдохновение Ивана Ивановича сообщилось отчасти и мне. Я возразил ему стихами:

Но, видно, этот волк был очень глуп и добр,
Когда не изломал Федотычу всех ребр.

Он посмотрел на меня с приметным самодовольствием и отвечал:

Вещайте, с драмой сей возможно ль мне чрез вас
Введенну быть, с толпой подобных, на Парнас?

Я возразил с усмешкой:

Но можно ли волков вводить в литературу?

Иван Иванович торжественно посмотрел на меня и воскликнул:

Но се не волк,— баран, одетый в волчью шкуру.

Я захохотал во все горло. Иван Иванович, который был вправе ждать от меня одобрения, изумился.

— Самое патетичное место в трагедии... поразительная нечаянность, неожиданный переворот во всей пиесе... сильный, гигантский шаг к заключению...— шептал он с неудовольствием, пока я смеялся.— Разве тут есть что-нибудь смешное, Наум Авраамович?

— Ха, ха, ха! сам себе смеюсь, любезнейший, сам себе, извините; как это я не мог с первого раза догадаться! Да вы так хитро придумали... Чудо, чудо! уж я на этих вещах взрос, а тут, нечего сказать,— ума не приложил. Да как же это, уж не обманываете ли вы, Иван Иванович?

— Нет, поверьте. На том завязка; Федотычу со страха показалось, что это волк; а сказано это у меня в начале так, знаете, просто для интереса. Тут теперь

чудеса пойдут. Прибегают поселяне на крик Федотыча. Благородные сердца их поражены состраданием и изумлением. Федотыча вытаскивают, он видит барана и в гневе бросается на сие невинное животное, ставшее, по обстоятельствам, игралищем страстей человеческих. Надобно видеть ярость Федотыча: он клянется погубить врага *тлетворным ядом — иль мечом!* Все для него равно, лишь бы достигнуть своей цели! Все средства позволительны: буря страстей завела его слишком далеко, чтоб уже благоразумно остановиться.

— О детища мои! о верная жена! —
Федотыч в ярости взывает: —
Заутро, может быть, мне плаха суждена,
Уж смерть мне взоры осклабляет!
Из посрамленных ребр ручьем текуща кровь
В утробе сердца месть рождает.
О пусть она вовек, как репа и морковь,
Мне в душу корни запускает!

После сего Федотыч начинает разыскивать, кто посадил в яму барана в волчьей шкуре. Открывается, что один юный парень, желая подшутить над своим другом, который вырыл сию яму, ради взымания волков, сыграл эту шутку. Федотыч, познав сие, говорит много и сильно и, наконец, восклицает, почти в безумии:

Мне холодно,— я в ад хочу!

— И уходит в ад? — спросил я.

— Нет, он хватает «юного парня» и отправляется с ним в земскую полицию для принесения жалобы. Этим кончается четвертое действие. Но я должен сделать невеликое отступление. Что вы скажете насчет последнего стиха, произнесенного героем трагедии! А? не напоминает ли он вам чего-нибудь этакого великого, колоссального? Подумайте, подумайте!

Я был в совершенном замешательстве и не знал, что отвечать; по счастью, Иван Иванович сам помог мне.

— Что, забыли! Помните ли вы сей стих из *ямбической* поэмы *Разбойники:*

Мне душно здесь,— я в лес хочу!

Что, как он вам кажется?

— Удивителен!

— Повторите теперь мой; мне холодно,— я в ад хочу! Что, не та же сила, гармония, звучность, меланхолия? Это просто пандан-с [1].

— Правда, правда; таланты равносильны... Но докончите скорей рассказ сюжета.

— Вы этого требуете? — спросил он с какою-то величественной важностью.

— Да, я вас прошу.

— Так нет же вам,— сказал он решительным тоном, весело улыбаясь,— моя трагедия вас заинтересовала, подождите же, подстрекнутое любопытство придаст ей еще более интереса.

— Но это безбожно!

— Ха, ха, ха! Сами писатель, а не знаете своих выгод. Помучьтесь-ка. Перейдем к другому.— Он взял огромную тетрадь и подал мне. *Дактило-амфибрахохореи-ямбо-спондеические стихотворения* — стояло в заглавии. Я посмотрел на поэта: он как-то странно переминался, лицо его блистало самодовольствием, которое он тщетно старался скрыть.

— Вы, вероятно, поражены новостью заглавия: а это так, пришло мне в часы златого досуга; оно, знаете, как-то... благопристойнее,— произнес, наконец, он и скромно потупил глаза.

Я перевернул страницу: *Ямбические стихотворения* было написано вверху страницы...

— Нужно вам сказать, что сия тетрадь заключает в себе двадцать восемь отделов, кои все носят заглавия по названию того размера, коим трактованы. Мне показалось это удобнее,— прибавил он скромно.

— Конечно, конечно,— подхватил я,— если б все наши поэты...

— Впрочем, сие стихотворение вы можете прочесть в оной книге, см. *Отдел четвертый, страница тысяча четыреста тридцать девять*, стихотворение, титулованное: *Одного поля ягодам*,— сказал поэт, заметив, что я его не слушаю, а гляжу в книгу... Между тем я отыскал в ней стихи, которые с первых строк меня заинтересовали; для полноты наслаждения я просил самого поэта прочесть их.

— Это так, безделушка,— сказал он и, прокашляв-

[1] Соответствие (*от франц.* pendant).

шись, начал: — *Величие души и ничтожность тела*, стихотворение Ивана Иваныча Грибовникова, *посвящается товарищам по семинарии.*

Сколь вечна в нас душа, столь бренно наше тело.
Судьбы решили так: чтоб плоть в трудах потела,
А дух дерзал в Парнас, минуты не теряв,
Подобно как летал во время оно голубь.
Всему есть свой закон: зимой лишь рубят прорубь,
И летом лишь пасут на поле тучных крав!..
У вечности нельзя отжилить мига жизни,
Хоть быстро прокричи, хотя протяжно свисни,
Ее не испугать: придут, придут часы,
Прервутся жизни сей обманчивые верви,
Зияя проблеснет вдруг лезвие косы,
И смертный! зри: тобой — уж завтракают черви!
Невольно изречешь: о tempora, o mores! [1]
Когда поразглядишь, какая в жизни горесть.
До смертных сих времен, от деда Авраама
Людей я наблюдал и семо, и овамо,
Дикующих племен я нравы созерцал
И что ж? едину лишь в них суетность встречал!
Нещадно все они фальшивят и дикуют
И божьего раба, того гляди, надуют.
То все бы ничего: но ежели их души
Вдруг гордость обует, средь моря и средь суши,
Забудут, что они есть прах, средь жизни чар
Постигнет их твоя судьба, о Валтасар!

Он умолк. Я все еще слушал, так я был поражен. Молча подал он мне руку, также молча я пожал ее; но мы понимали друг друга без слов, да и что нам было говорить?

Что бедный наш язык? Печальный отголосок
Торжественного грома, что в душе
Гремит каким-то мощным, непрерывным звуком.

Кукольник

— Вы поэт,— сказал я,— поэт оригинальный, самостоятельный, каких еще не являлось у нас; вы бы могли произвести переворот в литературе; но, послушайтесь меня... не печатайте того, что написано, не пишите больше.

— Как! — вскричал поэт.— Вы сознаете во мне дарование, и советуете мне в самом цвете, в самой силе схоронить его в могиле?

---

[1] О времена, о нравы! (*лат.*)

— Ограничьтесь тесным кругом служебной деятельности, живите для счастия своего и нескольких избранных друзей: жизнь ваша потечет тихо и спокойно; благословляя судьбу, довольные миром и людьми, вы, наконец, перейдете в жизнь лучшую, так же безмятежно, и примете достойную награду неба. Поверьте, это есть именно то, к чему мы должны стремиться. Труден и неблагодарен жребий литератора... На каждом шагу, во всяком ничтожном деле,— он терпит и, такова его участь,— должен сносить и не жаловаться. Предположим, что вы издали книгу: она хороша, прекрасна, вы сами, как самый строгий и беспристрастный судья своего таланта, первый заметили достоинства ее, так же, как и недостатки. Но не так поступят с ней критики, враги рождающегося дарования: они найдут в ней небывалые недостатки, постараются унизить, затереть, совершенно уничтожить ее, если можно. Мало,— они докопаются до вас самих; какое-нибудь гнусное, бездарное творение, ничтожнейшее возможной ничтожности, низостью души кой-чего добившееся, творение, с которым нельзя встретиться на улице, чтоб не пожалеть в нем человека, стыдно быть в одном обществе,— посягнет на ваше доброе имя, превратит вас в нуль,— и все это для того только, чтоб наполнить страницу ничтожной газеты. О самой книге и говорить нечего, подобные ценители закидают ее сором, втопчут в грязь, и в доказательство беспристрастия своего приговора скажут только: ведь и мы можем написать так же!

— Но есть же люди, которые достигли известности на поприще пиитов еще недавно. Ужели я столь несчастлив? К тому я драматический авктор, тут судит сама публика. Я покуда ограничусь театром. К театру я чувствую в себе призвание. Я пишу во всех родах: трагедии, оперы, драмы, водевили. Да, вы еще не читали моего водевиля. Вот он, послушайте! (он взял одну из тетрадей) *Святополк Окаянный*, водевиль в одном действии, с куплетами, *действие на Арбате, в Москве.*

— Но Москвы тогда еще не было?

— Doctoribus atque poetis omnia licent [1],— отвечал он и продолжал читать: — Явление первое. Театр представляет померанцевую рощу...

---

[1] Ученым и поэтам все позволено (*лат.*).

— Но какие же померанцевые рощи в Москве?

— Doctoribus atque poetis omnia licent,— снова произнес он с некоторой досадой и продолжал: — Святополк ходит в задумчивости и напевает известную песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...», потом садится и начинает писать, потом читать: «С ног до головы целую тебя, любезная Элеонора...»

— Погодите немного, Иван Иванович, это мы прочтем после, я теперь не расположен смеяться,— сказал я, чувствуя особенное желание пофилософствовать, что у меня обыкновенно случалось на тощий желудок...

— Хорошо! — сказал он.

Я взял его за руку и продолжал:

— Положим даже, что журналисты, по какому-либо особенному случаю, вас расхвалят; но это еще не все. Найдутся другие неприятности. Вы — мечтатель в поэзии, но положительный в жизни; разумеется, вам не захочется всегда брать сюжетов из мира фантазии; вы возьмете их из природы, живьем перенесете на бумагу типические свойства человека, подмеченные вами; вы довольны своим трудом; вдруг, чрез несколько дней, доходят до вас слухи, что вы поступили неблагородно, бессовестно, низко... «Как? Что?» — восклицаете вы. «Еще запираешься,— говорит ваш приятель,— поздно, брат, мы узнали... Стыдно, стыдно: а еще человек с талантом,— списывать портреты с известных людей и разглашать печатно их семейные тайны; да и что он тебе сделал, за что ты его так выставил? он человек прекрасный!» Вы в недоумении, сердитесь, не знаете: что подумать. Приятель ваш подсмеивается над вами, и, наконец, дело кончается так: вы узнаете, что в вашем последнем сочинении выведены известные лица, которых сходство изумительно; одним словом, вас обвиняют во всем том, что мы разумеем под словом *личности*. Не виноватый в этом ни душой, ни телом и, может быть, по благородству своего характера неспособный на такой поступок даже против человека вами ненавидимого, вы становитесь подозрительным в глазах людей благомыслящих и наживаете себе тайных недоброжелателей.

— Но, может быть, на театре...

— Еще хуже, одно случайное сходство фамилий, и вы не правы.

— Уж четвертый час, сударь; не прикажете ли сварить кофею? — послышался в дверях голос милостивого государя.

Я изумился, желудок мой обрадовался... «Но откуда взялся этот кофе?» — подумал я и повернул голову к Ивану. Только я увидел его, надежды моего бедного желудка вмиг разрушились: я сейчас догадался, что Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось *задавать тону*.

— Болван! — сказал я с притворным гневом.— Ты прежде этого мне не напомнил, а теперь уже время обедать.

Иван был очень доволен моим ответом и с самодовольствием возвратился за ширмы.

— Ну, любезный Иван Иванович, на что вы решаетесь?

— Но призвание, я вам скажу, оно-то меня волнует.

— Вы можете писать и не печатать.

— Но, вселюбезнейший Наум Авраамович, неужели слава, выгоды, которые представляет звание сочинителя, не выкупают с лихвою неудобств, вами представляемых?

— Ах, нет! Иван Иванович! тот ошибается, жестоко ошибается, кто так думает. Слава? Но знаете ли, что только тысячный из среды этих жалких *сочинительствующих* тружеников достигает ее. Деньги! о, это еще труднее! Славу можно прикормить, припоить, купить. Но деньги! деньги,— повторил я со вздохом,— нет, о деньгах лучше не говорить; извините, я — не люблю денег! — произнес я, в свою очередь, трагически.

— Но ради чего вам кажется, что их приобретать трудно? Издал сочинение, роздал по лавкам — пошло, ходи только да обирай денежки по субботам.

— Ха, ха, ха! И вы так думаете,— закричал я почти неистово: — по субботам! Ха, ха, ха! Нет, я думаю, полы перетрешь у книгопродавцев в лавках, ходя за получкой; знаю я эту получку; она мне вот где сидит! — вскричал я, указывая на сердце.

— Как! и вы еще жалуетесь, Наум Авраамович! Слава богу, известно, что вы и тысячками ворочаете; откуда же они у вас?

— Вы ошибаетесь, друг мой,— сказал я с жаром. Воспоминание о получках по субботам затронуло чув-

ствительную струну моего сердца; положение мое живо представилось моему воображению; мне стало стыдно, что я морочу этого бедного ребенка из пустого каприза казаться не тем, что я в самом деле. Я решился во что бы то ни стало снять повязку с глаз Ивана Ивановича и отвратить его всеми возможными силами от поприща, на котором он легко может испытать участь, подобную моей.

— Откажитесь,— вскричал я,— ради бога, откажитесь от своего намерения. Да или нет?

— Нет! — произнес Иван Иванович решительно.— Призвание...

— Вам мало убеждений, которые я привел; так знайте же, я вам скажу последнее: вы можете умереть с голоду, если не откажетесь!

— Помилуйте!

— Я вам скажу примеры: Артур Б., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камоэнс в Португалии; Ричард Саваж в Англии... Я сам в России!..— вскричал я в исступлении.

— Помилуйте, вы, кажись, живехоньки.

— Жив! Но знаете ли, что чрез несколько часов меня не станет?

— Но вы, кажется, здоровы?

— Я умру, умру с голоду! — с усилием произнес я и упал на свой ковер от изнеможения.

— Но ваше состояние?

— Состояние! У меня нет его. Я бедняк, о, я ужасный бедняк! Я во сто раз беднее этих жалких существ, которые выпрашивают милостыню с простертой рукой, там, на Невском проспекте, у Аничкина моста. О, зачем вы заставили меня вспомнить мое положение...

— Верите ли вы мне? — спросил я, несколько успокоившись, смущенного поэта.— Видите ли теперь, как выгодно писать из денег! Оставите ли свое намерение?

— Призвание, призвание! — повторил поэт, судорожно пожимая мою руку.

— Верите ли вы моей бедности? — спросил я и пристально взглянул ему в глаза. Он потупил их и покраснел.— Не верите! Ха, ха, ха! Видно, вас крепко уверили в моем богатстве. Смотрите! — сказал я и раскрыл мой маленький чемодан, в котором лежал мой

фрак и несколько худого белья: — вот все мое богатство! Любуйтесь, любуйтесь! Это я приобрел от литературы в продолжение пяти лет; неусыпным рвением, трудами, благородным желанием принести пользу. Оставите ли теперь свое намерение?

Поэт молчал, но меня уже и то радовало, что он забыл о призвании.

— Мало этого,— сказал я,— вот вам письмо, надеюсь, что оно убедит вас.

— Пошла вон, пошла! У барина гости, как ты смеешь лезть к нему! — послышался из-за ширмы голос моего Ивана.

— Не пойду, не пойду, не пойду! — отвечал резкий старушечий голос.— Что́ я, крепостная какая, что ли, вам досталась, помыкать мной; мыла, мыла белье — да мало того, что не платят, еще и не войди!

— Замолчишь ли ты, яга!

— Не замолчу, не замолчу, не замолчу! Отдайте деньги за мытье; что́ вы с вашим барином-то вздумали озорничать — видно, и он гол-соколик.

— А чтоб тебе, старая чертовка, ежа против шерсти родить! Типун бы тебе на язык. Еще смеет барина порочить. Пошла вон! — закричал Иван и силой протолкал старуху.

Это меня развеселило. Я имею чрезвычайно счастливый характер. В каких бы обстоятельствах я ни находился, я только свистну, пройдусь по комнате, закурю трубку, буде таковая есть, а не то просто плюну — и все как рукой снимет. Так случилось и нынче; несмотря на мой тощий желудок, мне вдруг сделалось чрезвычайно весело.

— Милостивый государь! — закричал я: — что там за шум происходит?

— Да вот, сударь, прачка пристала: подай да подай долгу, а и следует только два двугривенных; стану я из-за этакой мелочи беспокоить барина; да еще при чужих людях, оборони меня бог! — Последние две фразы прибавил Иван затем, что мой гость вслушивался в его слова.

— Ну, что, Иван Иванович, убедились теперь, что я говорю правду? Прочли письмо?

— Но, может, сие было писано на случай смерти от других обстоятельств.

— Что вы? Прочтите хорошенько: там просто сказано: на днях я должен умереть с голоду; когда меня не станет, завещаю тому, кто примет труд меня погребсти, надписать на моей могиле...

— Точно, точно; сказано.

— Что ж вы?

Иван Иванович молчал. Двукратное противоречие Ивана собственным моим уверениям подействовало на ум поэта сильней письма. С грустию в сердце увидел я почти разрушившеюся надежду свою спасти хоть одну жертву от хищных когтей чудовища, именуемого литературою; вдруг, в то самое время, как поэт, снова увлеченный своим вдохновением, декламировал мне послание свое к *жестокодушной*, которое начиналось так:

В сфере высших проявлений
Проявляется она:
То как будто чудный гений,
То как будто сатана...—

дверь с шумом отворилась, и грубый, решительный голос спросил: здесь ли живет г. П.?

— Здесь, здесь, батюшка, я уж знаю; я походил довольно за долгом к их милости,— подхватил другой голос.

— Да и я сейчас была, прогнали, просто прогнали! По миру пустить хотят, защитите, батюшка,— послышался визгливый голос женщины, недавно прогнанной Иваном.

Между тем человек в темно-зеленом вицмундире с красным воротником вошел в мою комнату и с величественною важностью начал обозревать ее.

— Что вам угодно, милостивый государь? — спросил я.

— На вас есть просьбица, дельце казусное. Вы то есть не платите крестьянину Григорию Герасимову, содержателю здешней мелочной лавочки, денег за продукты, у него забранные.

— Но могу ли я заплатить, когда сам их не имею?

— Нам невозможно входить в разбирательство таких мелочей. Довольно, что жалоба имеет законное основание, и потому я бы попросил вас выплатить без отлагательства.

— Но этот бездельник слишком важничает, вишь, велика персона: пятидесяти рублей подождать не может.

— Ждал, необлыжно говорю: ждал долго! — вскричал оскорбленный лавочник, высунувшись из-за ширмы: — да еще ругается! А сам прежде писал: вот, посмотрите, ваше благородие! — И он подал ему какие-то записки.

Чиновник прочел: «Милостивый государь, любезнейший друг и земляк! Вы своим великодушием и покровительством, какое оказываете всем в одном месте родшимся с вами, заставляете меня надеяться, что и ныне не откажете снабдить меня двумя золотниками чаю и таковою же пропорциею березинского табака, за что деньги получите на днях. Примите уверение в искренности чувств, и пр.». В заключение чиновник прочел мое имя и фамилию.

Я взглянул на моего поэта, все лицо его было слух и удивление.

— Что, верите ли теперь?

— Но ваши ломбардные билеты?

Не успел я ничего отвечать, как дверь снова растворилась, и в комнату вошел хозяин. Как я ни был бесстрашен, но это поколебало мое хладнокровие... Хозяин!.. Знаете ли, что́ предвещает приход хозяина тому, кто не платит за квартиру?

— А! здравствуйте, Семен Семенович! Вы здесь; вот кстати, как нельзя больше,— сказал хозяин и подал руку чиновнику.

— Батюшка, уж и обо мне-то замолвите,— сказала прачка, кланяясь квартальному...

Хозяин мой отвел его в сторону и пошептал ему что-то на ухо.

— Еще на вас, м<илостивый> г<осударь>, жалоба! Вы не платите за квартиру.

— Прошу вас очистить ее, сегодня же, сегодня... У меня нанимают, деньги верные, да и больше дают; где это видано, жить даром в чужом доме! — кричал хозяин.

— Забирать даром мелочные припасы,— подхватил лавочник.

— Заставлять мыть на себя белье и не платить денег. Да еще называть честную женщину — и невесть как. Вишь, лакеишко-то спозаранку, видно, наизволился! — прибавила прачка.

Это дивное трио продолжалось с четверть часа, разнообразясь до бесконечности... Вопрошающим взором взглянул я на поэта.

— Но ваши ломбардные билеты? — повторил он.

— Они существуют только в моем воображении!

— Если вы честно не разделаетесь, то, извините меня, я поступлю по всей строгости закона,— сказал квартальный.

— И хоть еще строже! Черт вас возьми всех! Убирайтесь вон! Вы мешаете мне заниматься! — закричал я, стараясь перекричать их...

— Вон! из моего собственного дома? Ха, ха, ха! посмотрим. Убирайтесь сами, покуда целы... Не то ведь... держал же вас в доме даром, так, видно, и покормить придется. Кормовых денег не пожалею, вы же не служите; так — как раз!

— Окажите милость, остановите хоть вот эту шинель да сюртук, что на них надет, может быть, хоть половину за них выручу,— сказал лавочник квартальному, рассматривая мою шинель.

— А мне, батюшка, хоть белье-то предоставьте, я и тем буду довольна; пускай уж мое пропадает,— говорила прачка.

— Убирайтесь вон! — заревел хозяин.

Я обратился к тому месту, где стоял поэт, с вопросом: «Верите ли мне? Отказываетесь ли от своего намерения?» Никто не отвечал мне; я обвел глазами комнату, но его уже не было. Я взглянул на пол: все до одной рукописи Ивана Ивановича лежали на прежнем месте. Лицо мое просияло.

— Стыдно, стыдно! — кричал между тем хозяин: — молодой человек, где бы трудиться, наживать деньги, а он вдался, прости господи, в какую-то ахинею, пишет и пишет, а что толку? Грех, господи прости, этаким людям и добро-то делать, поблажать их порокам.

— Да ведь кто ж знал, батюшка: думаешь, и честный человек, еще земляком называется.

— Я и сама прежде думала,— начала прачка.

— Цыц! старая ведьма! измелю в порошок и вынюхаю! — закричал мой Иван, который все это время провел в немом созерцании.

— Убирайтесь же поскорей, вам ли говорят,— повторял хозяин.

— Хоть бы шинель-то мне отдали,— сказал лавочник и надел ее на себя.

— Посмотреть, не спустил ли уж и бельишко-то,— сказала прачка и начала шарить в моем чемодане.

— Цыц! нишни! старая карга! Изобью в ножевые черенья, только тронь! — закричал Иван и оттолкнул ее от чемодана.

— Нет, это выше сил моих! — вскричал я, схватившись за голову.— Мучители, кровопийцы! Чего вы от меня требуете? Вы хотите меня с ума свести, хотите вымучить из меня душу, растерзать тело, вцепиться в мою печень. О, если б вы это могли! Что говорю? Я сам это сделаю! Только позвольте мне отхлестать вас по щекам моими внутренностями, я их сам вытяну. О, я убежден, что вы не проживете после того ни минуты!

Очевидно было, что я завирался; я всегда завираюсь в патетические минуты жизни; да и когда ж бы завираться, не будучи в опасности показаться дураком, если не пользоваться такими минутами?

— Вы начинаете бесчинствовать,— сказал квартальный,— вспомните, что я облечен властью...

— Поступать со мной, как законы повелевают? Знаю, знаю!

— Но вы можете все это кончить гораздо для себя выгоднее.

— Как это? — спросил я.

— Немедленно оставить квартиру, предоставив принадлежащие вам вещи в пользу кредиторов.

Я крепко задумался. Но для вас это не интересно: охота ли читать, что происходило в душе человека, когда у него в желудке пусто, в кошельке пусто и когда ему предстоит через минуту величайшее наслаждение воскликнуть:

Мне покров небесный свод —
А земля постелью!

В этом нет ничего комического!..

— Но позвольте мне, по крайней мере, переменить белье и надеть мой белый галстух! — воскликнул я, по тщательном соображении решив, что если мне суждено умереть, так уж все лучше умереть в чистом белье и белом галстухе.

На галстух имел виды лавочник, на белье прачка: они вопрошающим взором взглянули друг на друга.

— Извольте! — сказал великодушный лавочник.

— Извольте! — нехотя повторила за ним прачка и ушла за ширмы.

Я наклонился к человеку, чтоб достать белье, и увидел лежащую подле него на полу залитую ваксой статью, начатую мной поутру. Луч надежды блеснул в моем сердце. Как утопающий, схватился я за эту последнюю надежду и с подобострастием сказал хозяину:

— Еще до вас просьба. Позвольте мне остаться на несколько часов в вашем доме, чтоб дописать вот эту статью, я надеюсь получить наличными.

— Ни за что! — сказал хозяин решительно.— Вспомните, сударь, что вы давеча говорили: вы оскорбили мою личность.

— Личность! — сказал я в испуге и бросился к дверям... Это слово всегда имело на меня такое действие...

— Иван! — закричал я из дверей: — забери все бумаги и иди за мной, все прочее я оставляю моим кредиторам.— Иван пошел исполнять приказание, я растворил дверь с твердой решимостью *оставить дом коварства и крамолы*, но вдруг все изменилось.

— Друг мой! ты ли это? — закричал человек, всходивший на лестницу в то самое время, как я с нее спускался.

— Дядюшка! Мелентий Мелентьевич! — воскликнул я, и мы бросились друг другу в объятия. Славный человек Мелентий Мелентьевич: он заплатил мои долги, накормил меня, нанял мне квартиру... Но я оставляю до другого времени познакомить с ним читателя, а теперь обращаюсь к моему герою, которого совершенно забыл, заболтавшись о себе.

Но что я скажу о нем?

Все мои поиски отыскать Ивана Ивановича Грибовникова были тщетны: я справлялся во всех кварталах о его квартире, писал в Чебахсары к его родным, ничто не помогло: Иван Иванович пропал. В продолжение нескольких лет я не пропускал ни одной новой книжки, ни одного нумера журнала, чтоб не посмотреть, не явилось ли что-нибудь под его именем или хоть написанное в его роде, совершенно новом, который обещал в нем со временем литератора самобытного и замечательного.

Несколько раз проклинал я свою настойчивость в первое наше свидание, думая, что поэт стал жертвою предубеждения, посеянного мною в юной душе Ивана Ивановича. С ужасом видел я, что мой коварный умысел, внушенный мне самим адом, похитить у литературы деятеля, у славы чело, достойное быть ею увенчанным, удался как нельзя лучше. Желая загладить свою ошибку, я всеми мерами решился отыскать Ивана Ивановича, благословить его на литературное поприще, и вот уже четырнадцать лет не проходит дня, в который бы я не искал его, не вспоминал о нем и не укорял себя за необдуманный поступок. Мысль, что я, может быть, погубил в самом цвете, в самой силе его дарование, тяготит меня. В эти ужасные минуты мне остается одно только утешение: я переношусь в прошедшее, вижу перед собой пылкого, благородного юношу Ивана Ивановича, слушаю его стихи, наблюдаю течение его мыслей. Таким образом я начинаю припоминать его слова, вспоминаю, с каким жаром говорил он о призвании. Но отчего же он изменил ему? рождается при этом вопрос в голове моей. Уж не потому ли, что он увидел, как оно мало приносит? Точно, точно, ведь он убежал от меня в ту минуту, как увидел крайнюю степень моей бедности, да и говорил-то о призвании только сначала. Но в таком случае он не мог чувствовать призвания? Впрочем, читатель сам может решить, был ли талант у Ивана Ивановича или он просто был обыкновенный смертный... Если отрывки, приведенные здесь из различных сочинений Ивана Ивановича, будут признаны не лишенными достоинства, то я за долг поставлю себе короче познакомить публику с талантом Ивана Ивановича и по временам стану печатать в журналах плоды светлых вдохновений, тайных упоений, диких приключений, бед и огорчений и проч. Ивана Ивановича: их у меня достаточно на девять томов!

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УГЛЫ

(Из записок одного молодого человека)

> Ат даеца, внаймы угал, на втором даваре, впадвале, а о цене спрасить квартернай хазяйке Акулины Федотовне.
>
> *(Ярлык на воротах дома.)*

Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был улеплен дом изнутри с такою же тщательностию, как и снаружи: делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Катерина Брагадини; пансион; Александров в приватности Куприянов. При каждой вывеске изображена была рука, указующая на вход в лавку или квартиру, и что-нибудь поясняющее самую вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. Способ пояснять текст рисунками выдуман гораздо прежде, чем мы думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок. Наконец, в угловом окне четвертого этажа торчала докрасна нарумяненная женская фигура лет тридцати, которую я сначала принял тоже за вывеску; может быть, я и не ошибся. На дворе была еще ужасная грязь; в самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и жур-

чанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:

Полно, барыня, не сердись.
Вымой рожу, не ленись!

Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем дворе: нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрятнее; целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на свои сапоги и хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше средины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах. Я смекнул, что лучше последовать известной пословице и, оставив в покое окраины двора, пошел срединою. Самоотвержение мое увенчалось полным успехом: через двадцать шагов, которые я по предчувствию направил к двери с навесом, прямо против ворот, я заметил, что нога моя с каждым шагом стала вязнуть менее, еще несколько шагов — и я очутился у двери, ведущей в подвал; поскользнулся и полетел... или, правильнее, поехал,— разумеется, вниз,— в положении весельчаков, катающихся с гор на масленице; сапоги по ступеням лестницы застучали, как барабан. Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой; вскочил, осмотрелся: темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени. Ищу двери. Наткнулся на лоханку — пролил; наткнулся на связку дров — чуть опять не упал. Что-то скрипнуло, чем-то ударило меня по лбу, и в сенях стало светлей. В полурастворившейся двери я увидел женскую фигуру. Кривая и старая баба гневно спросила, что я тут делаю, потом, не дождавшись ответа, объявила мне, что много видала таких мазуриков, да у ней нечего взять, и что она сама бы украла, если б не грех, да не стыдно. Вы

меня покуда еще не знаете, но, узнав хорошенько, увидите, что я человек щекотливый: принять меня за вора значило нанесть смертельную обиду моему костюму и моей физиономии. Я не выдержал и назвал старуху дурой. Есть много людей, которые равнодушно перенесут название мошенника, чем дурака; старуха, вероятно, была из таких: при слове «дура» она как-то страшно содрогнулась и взвизгнула; ямки рябых щек ее налились кровью.

— Дура? — вскричала она запальчиво, — я дура? нет, молод еще, чтоб я была дура... Когда я жила в Данилове... весь Даниловский уезд знает, что я не дура... Пономарица ко мне в гости хаживала... Дура, я дура!

Старуха принялась доказывать, что она не дура, не забывая называть меня дураком и мазуриком. Из уст ее летели брызги мне на лицо и на платье. Вообразить положение, в котором она находилась, может только тот, кто видал бешеную собаку.

Я сначала хотел усмирить старуху, но, сообразив, что мне время дорого, а между тем она верно пойдет жаловаться квартальному надзирателю, и нужно будет дожидаться в конторе, а, может быть, до окончания дела и в арестантской, рассудил за лучшее поскорей уйти подобру-поздорову. Я уже прошел больше половины первого двора, как вдруг долетели до меня следующие слова, которые заставили меня воротиться:

— Ну... зачем ты пришел... Коли ты не вор, докажи, зачем ты ко мне, дуре, пришел?.. В гости, что ли, пришел? Я тебя не звала... Ну скажи, зачем ты пришел?

Я объяснил старухе причину моего прихода, и она вдруг смягчилась. Нет, она сделала больше: вынула из кармана медный пятак и советовала мне потереть им ушибленное место на лбу. Я не противился — из благодарности. Сердце мое таково, почтенные читатели, что оно не может долго питать ненависти: я простил старухе ее минутную запальчивость и отправился с нею смотреть квартиру, в которую вход был через дверь, противоположную ударившей меня по лбу.

Старуха ввела меня в довольно большую комнату, в которой царствовал матовый полусвет, какой любят художники; полусвет выходил из пяти низких окошек,

которые снаружи казались стоящими на земле, а внутри были неестественно далеки от пола. Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных погребах и могильных склепах. Налево от двери огромная русская печка с вывалившимися кирпичами; остальное пространство до двери было завалено разным хламом; пол комнаты дрожал и гнулся под ногами; щели огромные; концы некоторых досок совсем перегнили, так что когда ступишь на один конец доски, другой поднимается. Стены комнаты были когда-то оштукатурены: кой-где еще сохранились крестообразно расположенные дранки, какие обыкновенно приготовляются под штукатурку; некоторые из сохранившихся дранок, переломившись, торчали перпендикулярно; но главное украшение стен состояло не в дранках и не в остатках штукатурки: его составляли продолговатые кровавые, впрочем невинные пятна, носившие на себе следы пальцев и оканчивавшиеся тощими остовами погибших жертв, да густые слои расположенной по углам и под окошками, в виде гирлянд и гардин, паутины, которая тонкими нитями в разных направлениях пересекала комнату, попадая в рот и опутывая лицо. Одна из досок потолка, черного и усеянного мухами, выскочила одним концом из-под среднего поперечного бруса и торчала наклонно, чему, казалось, обитатели подвала были очень рады, ибо вешали на ней полотенца свои и рубахи; с тою же целью через всю комнату проведена была веревка, укрепленная одним концом за крюк, находившийся над дверью, а другим — за верхнюю петлю шкафа: так называю я продолговатое углубление с полочками, без дверей, в задней стене комнаты; впрочем, говорила мне хозяйка, были когда-то и двери, но один из жильцов оторвал их и, положив в своем углу на два полена, сделал таким образом искусственную кровать. Старуха была очень недовольна самоуправством жильца, но вообще отзывалась о нем весьма хорошо.

— А кто он такой? — спросил я.

— А кто его знает — кто он такой. Хороший человек, с паспортом. У меня без паспорта никого; я уж такая: хоть два целковых давай. Мало ли? пожалуй, есть всякие... у иной, кто хочет за гривну ночуй... а наутро ушел, глядь: у кого сапоги, у кого рубашку, голицы...

в баню идти — мыло пропало... Хороший жилец. Дома почитай, никогда не живет, а домой придет — спит, либо пауков жучит. «Что,— скажешь,— Кирьяныч... охота тебе... с этакой дрянью... да еще и в руки берешь!..»

— «А что,— говорит,— я душеньке враг, что ли, своей,— говорит,— паука увижу, да не раздавлю».— «Ну дело, дело, Кирьяныч, коли не мерзит: и душе во спасенье, и жильцам хорошо, и дом простоит дольше». Уж как я ему благодарна: всех пауков перевел; скажи на лекарство — за рубль не найдешь! словно в палатах княжеских... Да вот одним не хорош: за эту дрянь не люблю.

Старуха указала на небольшую, пепельного цвета, полуобритую собачонку, которая в то время вылезла изпод нар, расположенных в правом углу от двери, и, перехватывая зубами с места на место с неистовой быстротою, безжалостно кусала свои грязные ноги.

— Добро бы, одну держал,— продолжала старуха,— а то в иной раз вдруг пяток соберется... поднимут вой; известно: есть хотят. Кормить не кормит, а любит; жить, говорит, не могу без собак... Шутишь! ну, да что говорить! я уж такая... Вот сами увидите: у меня... я ничего не знаю... ничего не вижу...

Старуха сделала рукою выразительный знак, на который я счел нужным отвечать ей уверением, что я не занимаюсь собачьей промышленностью, и продолжала:

— А что до чего дойдет — всякой за себя, бог за всех. Паспорт есть — я не ответчица. Махнула рукой... пусть, говорю, будут собаки; мне из-за них хорошему жильцу не отказывать. Да и что худого в собаке? такая же, прости, господи, мое прегрешение, тварь, как и человек. Еще человек иной хуже: греха на нем больше; сами изволите знать: язык... ученые собаки бывают: поноску подаст, ползает, ей-богу... все совершенно как человек; веселей с ними. Вот вы не изволите брезговать (я гладил серую собачонку), а иные... право, разуму, что ли, в них нет?.. Просто дрянь, механик какой-нибудь, выжига забубенная, а туда же: «Стану я,— говорит,— вместе с собаками в собачьей конуре жить»... Собачья конура!.. Известно, иной фанфарон: на грош амуниции, на рубль амбиции... Квартирка чем не квартирка; летом

прохладно, а зимой уж такое тепло, такое тепло, что можно даже чиновнику жить, и простор...

— А почем вы берете?

Началась ряда и состоялась по четыре рубля в месяц. Старуха божилась, что никто так дешево не живет, и просила не сказывать остальным жильцам настоящей цены.

— Всякое вам уважение сделаю. У вас ничего... Где! Молодой еще человек: верно уж ничего...

Я хорошенько не понимал, к чему относились слова старухи, но смело отвечал: «Ничего».

— А нельзя и без мебельки; на полу уж какое спанье; разве от бедности. Кроватку поставлю... кипятком выварю... широкая — хоть вдвоем... (старуха усмехнулась) покойно, очень покойно; только подальше от стены... ну, да уж я сама и поставлю...

Я дал задатку и отправился за вещами. Перевозка стала мне в гривенник. Когда, сопровождаемый извозчиком, я вошел с узелком и чубуками, в шинели, надетой в рукава, в мое новое жилище, кровать уже была на своем месте: в левом углу, образуемом стеною, противоположною окнам и тою, в которой находился известный шкаф. Старуха немного прихвастнула насчет ее удобства, ибо постель была такова, что на ней двое могли спать разве по очереди; зато перед нею стоял небольшой, только что выскобленный стол, с отверстием в боку, доказывавшим, что в столе был когда-то и ящик. Подвал, которому поутру как будто чего-то недоставало, представлял полную, совершенно оконченную картину.

Есть обстоятельства, невольно располагающие к задумчивости при всей лени ума и беспечности характера; новый год, день рождения, нечаянно встреченные похороны, день переезда на новую квартиру — я знаю, что в таких случаях задумываются даже головы, которые в остальное время ни о чем совершенно не думают. Было часов около девяти: начинались светлые петербургские летние сумерки, а в подвале становилось темно. Мухи, сбираясь роями, словно добрые пчелы, с шумом и визгливым жужжанием отправлялись к потолку для ночлега. Сверчок пел за печкой; что-то ползало у меня по лицу: что-то иголкой кололо в руку,— я сидел неподвижно на голых досках кровати...

Дверь скрипнула, и в комнате раздались звуки, подобные звукам кастаньет.

Я вздрогнул и поднял голову.

Серая фигура медленно шла в правый угол и, продолжая прищелкивать пальцем об палец и языком, с видом совершенной беспечности кивала мне головой.

Я молчал. Серая фигура прошла к своим нарам, села и, положив левую ногу на бедро правой, долго рассматривала сапог, говоря с расстановкой:

— Дратва скверная... ну да и ходьбы много... а толку хоть бы на грош... даже, кажется, мозоли натер... А что, вы, то есть, здешние?

— Здешний.

— Тэк-с! А чья фамилия?

— Тростников.

— Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту... промаха по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить — подскачет да так прямо с лошади. А заехал сюда — здесь и побывшился... после смерти, говорят, и часу не жил!.. Поделом!.. Не дерись с чужими людьми. Естафий Фомич Тростников... Как не знать. Задорной такой. От него, чай, и вам доставалось?

— Я не знаю никакого Тростникова; я сам Тростников.

— Тэк-с!.. *Извините-с*... а я думал, что и вы тоже господский человек... просто с глупости... Я три недели только еще из деревни... не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня... «Собаки и люди,— говорит,— душенька, нас разоряют; не ждите любви от меня, душенька,— говорит,— покуда будут у нас в доме собаки». Спорили, спорили, да, наконец, и вышло решение: собак перевешать, а нас распустить по оброку... фффить (дворовый человек засвистал) катай-валяй в разные города и селения Рассейской Империи, от нижеписанного числа сроком на один год... Вот я сюда и махнул... водой на сомине... восемнадцать ден плыли... все пели... в переменку гребли... Да вот, что станешь делать! — и сел здесь, как рак на мели: нет как нет места! Проедаюсь на своих харчах, за кватеру плачу... сапоги новые истаскал; левый совсем худехонек.

Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню, укрепленную в помадной банке, наполненной салом; вытащил хранившийся в изголовье небольшой деревянный ящик, вынул оттуда дратву, шило и молоток; снял сапог с левой ноги и принялся за работу, напевая что-то про себя.

Через полчаса дверь опять отворилась; вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет пятидесяти, одетый в дубленый полушубок, с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Взгляд его, походка, телодвижения — все обличало в нем человека рассерженного или от природы сердитого. Он прошел прямо к своим нарам (вправо от двери), гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть; перекрестился на образок, висевший над нарами; сел, потянулся, зевнул; закричал на собаку: «Молчи, пришибу!». Потом хотел погладить ее, она оцарапала ему руку, соскочила с нар и начала скребстись в дверь. Бородач бросил ей кусок хлеба; она только понюхала; он начал кликать ее к себе, давая попеременно разные собачьи названия, уродливо исковерканные; при каждой кличке останавливался и пристально смотрел на собаку; но собака не унималась. Тогда бородач, выведенный из терпения, топнул ногой и полчаса ругал собаку, решительно не соблюдая никакого приличия в выражении своего негодования. Наконец, собака смолкла и забилась под нары. Бородач разлегся и принялся страшно зевать, приговаривая протяжно за каждым зевком: «Господи, помилуй! Господи, по...ми...милуй!»

. . . .

— А что, Кирьяныч,— сказал дворовый человек, отпущенный по оброку,— кабы этак тебе вдруг тысяч десять... а... что бы ты стал делать?

— Ну а ты что?

— Десять тысяч! Много десять тысяч. Опьешься! Нашему брату, дворовому человеку, коли сыт да пьян, да глаза подбиты... и важно... хоть трава не расти! да еще целовальники бы в долг без отдачи верили.

— Ну, а барин-от?

— Барин, что барин? оброк отдал, да я и знать-то его не хочу... а и не отдал, бог с ним... Побьет, побьет

да не воз навьет... Десять тысяч! Горячо хватил — десять тысяч! Нечего попусту бобы разводить... четвертачок бы теперь — и то знатно... ух! как бы знатно!.. на полштофчика, разогнать грусть-тоску...

— Ку... а... а... а... Господи, пом...ми...луй... купи.

— Купи? Да где куплево-то? в одном кармане пусто, в другом нет ничего... Есть, правда, полтинничек... один, словно сиротинка, прижался, да ведь знаешь сам, голова, надо и на харчи. С голоду умереть не охота. Иное дело, кабы место найти... А то вот и сегодня у пятерых попусту был... ну, уж только и господа, с самого с-испода! Один вышел худенькой... тощенькой... и на говядину не годится; в комнате три стула стоит, халатишко дыра на дыре... «У меня, милейший мой,— говорит,— главное дело, чтоб человек честен был, аккуратен, учлив, не пил бы, не воровал»...— «Зачем,— говорю,— воровать... хорошее ли дело воровать, сударь?.. *Дай господи своего не обозрить, кто чужому не рад.* А много ли,— говорю,— жалованья изволите положить?» — «Пятнадцать рублев»,— говорит. Меня инда злость пробрала... пятнадцать рублев! «Тэк-с»,— говорю... (А туда же «не пей, не воруй»... да что у тебя украсть-то, голь саратовская?) Шапку в охапку: «Много довольны... мы не из таких, чтобы грабить нагих»... поклон да и вон... К другому пришел... толстый, рожа лопнуть хочет, красная... «Мне самому,— говорит,— почитай что и человека не нужно... поутру фрак да водки подать, приду из должности — к кухмистеру сбегать, халат да водки подать, спать стану ложиться — сапоги снять да водки подать — вот и все. Да вот,— говорит,— у меня, видишь?» и показывает черта такого... человек не человек, черт не черт... глаза пялит, облизывается. «Я, братец, вот посмотри»,— говорит, и ну по комнате с пугалом прыгать, а оно ему на плечо... рожи строит, кукишь показывает... «Так уж любит меня,— говорит...— Будешь за ней хорошо ходить, будет и тебе хорошо; а захворает, убьется как-нибудь... и жалованья тебе ни гроша, да еще,— говорит,— и того: у меня частный знакомый и надзиратели приятели есть».— «Покорнейше благодарим,— говорю...— много довольны... за господами за всякими хаживал, а за чертями, не́чего сказать, не случалось».— «Это, братец, не черт,— говорит,— аблизияна».

Кирьяныч страшно зевнул.

— Эх ты, ежовая голова! спишь, а деньги есть... Далась тебе даровщинка. Развязывай мошну-то. На том свете в лазарете сочтемся.

— Толкуй,— сказал Кирьяныч и, докончив фразу, как следовало, присовокупил со вздохом: — Согрешили мы грешные; прогневили господа бога... дело дрянь! На табак гроша нет... даве на щах останную гривну в харчевне проел... совсем в носу завалило...

— Табачку свету нигде нету! — сказал дворовый человек горестно. И потом, после некоторого молчания, прибавил: — А и то сказать, какие у нашего брата деньги. Известно наше богатство: кошля не на что сшить — по миру ходить. Иное дело у *барина.*

Мне показалось, что камушек был закинут в мой огород, и догадка моя оправдалась: дворовый человек нечувствительно перешел к тому счастливому дню, когда он, полный надеждами, прибыл из деревни и до приискания места занял угол в подвале. День тот был в полной мере торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.

— Ан пять! — сказал Кирьяныч.

— Семь, ежовая голова!

— Пять, едят те мухи с комарами! Я как теперь помню, что пять! — И между ними завязался жаркий спор о количестве штофов.

— Ну, да сколько бы ни было,— заключил дворовый человек.— Я к тому только сказал, что на Руси такое уж обнаковение: последнюю копейку ребром, а новоселье чтоб было справлено: иначе и счастья на новой квартире не будет.

— И господь того человека не забудет, кто должное исполняет,— заметил Кирьяныч.

— Послушай, брат,— сказал я.

Дворовый человек вскочил и почтительно вытянулся передо мною.

— Чего изволите, сударь?

— На вот, братец: купите себе вина.

— Слушаю-с. Штоф, что ли, брать прикажете?

— Бери штоф.

Дворовый человек обмотал дратву вокруг недочиненного сапога, надел его на левую ногу, схватил мою фуражку и побежал. Через пять минут вино было на столе перед моею кроватью вместе с двумя селедками, пятком

огурцов, тремя фунтами черного хлеба и четверкой нюхательного табаку. Дворовый человек, отдавая мне сдачу, почтительно извинился, что сделал некоторые излишние издержки. Кирьяныч между тем сходил к хозяйке за стаканом.

— Начин с хозяина,— сказал дворовый человек, наливая.

Я отказался.

— Вона! — воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге.— Гусь, и тот нынче пьет... И пословица говорит: ходи в кабак, кури табак, вино пей и нищих бей — прямо в царство немецкое попадешь! Что ж вы душе своей, что ли, добра не желаете?

— Да вы бы в самом деле протащили немножко,— прибавил флегматически Кирьяныч.— У вас лицо такое, словно обожженный кирпич.

Но я опять отказался.

— Нечего делать,— сказал дворовый человек, хитро усмехаясь,— и не хотел бы, да надо пить.— Выпил, подержал с минуту стакан над лбом и произнес протяжно: — Пошла душа в рай, на самый край! — Ну, Кирьяныч!

Но Кирьяныч ничего не слыхал. Он глядел в пол, топал ногою, перескакивая с места на место, и кричал: «посвети! посвети!» Наконец он в последний раз страшно топнул ногою, восторженно крякнул и возвратился к столу. Лицо его сияло торжественно.

— Полно тебе пауков-то губить. Лучше бы вон что по стенам-то ползают; спать не дают... Пей, пока не простыло!

— Не грех и выпить теперь,— сказал Кирьяныч самодовольно.— Прибавь, господи, веку доброму человеку! Перекрестился и выпил.

Когда было выпито по другому стакану, дворовый человек взял балалайку, заиграл трепака и запел:

В понедельник
Савка мельник,
А во вторник
Савка шорник,
С середы до четверга
Савка в комнате слуга.
Савка в тот же четверток
Дровосек и хлебопек,

Чешет в пятницу собак,
Свищет с голоду в кулак,
В день субботний все скребет
И под розгами ревет;
В воскресенье Савка пан —
Целый день как стелька пьян!

Послышался странный стук в двери, сопровождаемый страшным мурныканьем.

— Ну, барин! — воскликнул дворовый человек. — Будет потеха: учитель идет!

— Что за учитель?

Дверь отворилась настежь и, ударившись об стену, оглушительно стукнула. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки: так называю я на первый случай господина в светло-зеленой, в рукава надетой шинели, без воротника: воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году. Между людьми, которых зовут пьющими, и настоящими пьяницами — огромная разница. От первых несет вином только в известных случаях, и запах бывает сносный, даже для некоторых не чуждый приятности: такие люди, будучи большею частию тонкими политиками, знают испытанные средства к отвращению смрадной резкости винного духа и не забывают ими пользоваться. Употребительнейшие из таких средств: гвоздика, чай (в нормальном состоянии), гофмановы капли, пеперменты, фиалковый корень, наконец, лук, чеснок. От вторых несет постоянно, хоть бы они неделю не брали в рот капли вина, и запах бывает особенный, даже, если хотите, не запах — как будто вам под нос подставят бочку из-под вина, которая долго была заткнута, и вдруг ототкнут. Такой запах распространился при появлении зеленого господина — я понял, что он принадлежит ко второму разряду. Всматриваясь пристально в лицо его, я даже вспомнил, что оно не вовсе мне незнакомо. Раз как-то я проходил мимо здания, с надписью «питейный дом». У входа, растянувшись во всю длину, навзничь, лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами; глаза его были закрыты; он спал; горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся, страшно измятом лице фантастические узоры; тысячи мух разгуливали

по лицу, кучей теснились на губах, и еще тысячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очереди... долго, с тяжким чувством (вы уже знаете, что у меня чувствительное сердце) смотрел я на измятое лицо, и оно глубоко врезалось в мою память. Теперь он был одет несколько иначе и казался немного старее. Кроме шинели, разодранной сзади, по среднему шву, четверти на три, одежду его составляли рыжие сапоги с заплатами в три яруса, и что-то грязно-серое выглядывало из-под шинели, когда она случайно распахивалась. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят. Лицо его не имело ничего особенного: желто, стекловидно, морщинисто; на подбородке несколько бородавок, которые в медицине называются мышевидными, с рыжими завившимися в кольцо волосами, какие отпускают на бородавках для счастья дьячки и квартальные; на носу небольшой шрам; глаза мутные, серые; волосы (странная вещь!) черные, густые, почти без седин; так что их можно было бы назвать даже очень красивыми, если б не две-три небольшие, в грош величиною, плешинки, виною которых, очевидно, были не природа и не добрая воля. Но вообще вся фигура зеленого господина резко кидалась в глаза. В нем было что-то такое, что уносит с собой актер в жизнь от любимой, хорошо затверженной роли, которую он долго играл на сцене. В самых смешных и карикатурных движениях, неизбежных у человека нетвердого на ногах, замечалось что-то степенное, что-то вроде чувства собственного достоинства, и, говоря с вами даже о совершенных пустяках, он постоянно держал себя в положении человека, готового произнести во всеуслышание, что добродетель похвальна, а порок гнусен. От этих резких противоречий он был чрезвычайно смешон и возбуждал в дворовом человеке страшную охоту над ним посмеяться.

Дворовый человек встретил его обычным своим приветствием:

— Здравствуй: нос красный!

Казалось, зеленый господин хотел рассердиться, но гневное слово оборвалось на первом звуке; сделав быстрое движение к штофу, он сказал очень ласково:

— Здравствуй, Егорушка. Налей-ка мне рюмочку!

Дворовый человек украдкой налил стакан водою из стоявшей на столе глиняной кружки и подал зеленому

господину. Зеленый господин выпил залпом. Дворовый человек и Кирьяныч страшно захохотали. Зеленый господин с минуту стоял неподвижно, разинув рот, со стаканом в руке, и, наконец, начал сильно ругаться.

— Ты, брат, со мною не шути! Кто тебе позволил со мною шутить? Меня и не такие люди знают, да со мной не шутят. Вот и сегодня у одного был... Действительный, брат, и кавалер... слышишь ты, кавалер... тебя к нему и в прихожую-то не пустят. А меня в кабинет привели. «Жаль мне тебя,— говорит,— Григорий Андреич (слышишь, по отчеству называл!), совсем ты пьянчугой стал; смотри, сгоришь ты когда-нибудь от вина,— говорит.— Не того,— говорит,— я от тебя ожидал... Садись,— говорит,— потолкуем о старине...» и графинчик велел принести... Вот я и заговорил... Знаю, о чем говорить: с Измайловым был знаком... к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал... Не знаешь ты, великий был человек!.. вместе и чай, и обедали, и водку-то пили... Да и сам я: ты, брат, со мной не шути... у меня, брат, знаешь какие ученики есть... вот один... у, какой туз!.. А мальчишкой был... кликну бывало сторожа, да и ну... никаких оправданий не принимал... Вот мы все с ним вспоминаем, смеемся... «И хорошо,— говорит,— вот от того я теперь и в люди пошел,— говорит,— что вы меня за всякую малость пороли... я вас,— говорит,— никогда не забуду», да и сует в руку мне четвертак... «Смолоду,— говорит,— человека надобно драть, под старость сам благодарить будет»... Знаешь, как мне, братец, платили... А ты... ты... вот поди ты служить: *по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день...* Таланты разные имел: нюхал, брат, не из такой (он щелкнул по берестяной табакерке)... золотая была... да было и тут... один палец, брат, восемьсот рублей стоил. А все ни за что; так — за стихи!.. Я, брат, какие стихи сочинял!

Зеленый господин так заинтересовал меня своим рассказом, что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он много прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное училище и дело свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю чарку, но от него менее пахло вином;

чем гвоздикой, и нравственность учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно. Заметили, что с некоторого времени при появлении зеленого господина в классе распространялся запах, который мог подать вредные примеры ученикам. Наконец, к довершению бед, зеленый господин пришел однажды в класс не только без задних ног, но и без галстука и вместо того, чтоб поклониться главному лицу училища, которое вошло в класс и село на краю одной из скамеек, занимаемых учениками, обратился к нему с вопросом: «А какие глаголы принимают родительный падеж?.. а, не знаешь? А вот я тебя на колени!»

Его отставили, и место его отдали молодому человеку, который в полной мере оправдал честь, ему оказанную: не пропускал классов, был почтителен к старшим и, женившись вскоре на сестре главного лица, совершенно отказался от треволнений, неразлучных с холостою жизнию. Зеленого господина отставили, но по ходатайству одного доброго человека и в уважение прежних заслуг дали ему небольшой пенсион. Остальное понятно: бездействие скоро усилило в нем страсть к вину, и нечувствительно дошел он до того положения, в котором мы с ним познакомились. Интересна жизнь, которую вел он в подвале. Еще за нескольку дней до первого числа каждого месяца хозяйка неотступно следовала за ним и так приноравливала, что накануне первого числа он всегда напивался дома. Поутру она отправлялась с ним за «получкой», вычитала следующие ей деньги, а с остальными зеленый господин уходил бог знает куда и пропадал на несколько дней. Возвращался пьяный, нередко избитый, в грязи и без гроша. В остальные дни месяца он почти ежедневно обходил прежних своих товарищей по службе, учеников, которые теперь уже были взрослые люди, наконец всех, кого знал в лучшую пору жизни; везде давали ему по рюмке вина, инде и по две; где же не давали, оттуда уходил он с проклятиями и долго потом, лежа на своих нарах, сердито толковал сам с собою о неблагодарности. Что ж касается до стихов,

то очень немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи: в Русском Государстве все пишут или писали стихи, и писать их никому нет запрета. Впрочем, последний пункт своего рассказа зеленый господин не замедлил подтвердить доказательствами. Он вытащил из-за сапога две тощенькие лоснящиеся брошюры в 12-ю долю листа, уставил их перед глазами дворового человека и, поводя указательным пальцем со строки на строку заглавной страницы, говорил торжественно:

— Видишь, видишь, видишь... а?.. видишь ли?

Но дворовый человек с негодованием оттолкнул брошюры и возразил с жаром, доказывавшим, что в нем говорит убеждение:

— Ты мне этим не тычь! Что ты мне этим тычешь! Я, брат, не дворянин: грамоте не умею. Какая грамота нашему брату? грамоту будешь знать — дело свое позабудешь... А вот ты мне награждение-то покажи! Что, небось, потерял, али подарил кому... ты ведь добрейший?.. сам не съешь да другому отдашь. Знаю я... кто намедни у меня ситник-от съел?

— Продал, так и нет,— отвечал зеленый господин с меланхолической грустью.— Где нюхать нашему брату из золотой табакерки, на пальцах самоцветные камни иметь!

Он махнул рукою и отравил последнюю струю чистого воздуха продолжительным вздохом.

Между тем я взглянул на брошюры. Одна из них была на всерадостный день тезоименитства какого-то важного лица тех времен, другая на бракосочетание того же лица. Обе были написаны высокопарными стихами и заключали в себе похвалы важному лицу, которое поэт называл меценатом. «Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время, потому что русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи, и пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение; за то его и хлебом кормили, а за неустойку больно били палкою. Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал тростью за то, что Тредьяковский не изготовил *оды* на какой-то придворный праздник. Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для

того во время его походов всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли, и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; за то они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его до пьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и «милостивцами». В начале XIX-го столетия этот род литературы начал заметно упадать; 1812-й год нанес ему сильный удар, а романтизм, появившийся с двадцатых годов, решительно доконал его. И теперь эта «торжественная» поэзия считается уже синонимом подлому стихотворству. Так изменяются нравы! Теперь уже за листок дурных виршей, наполненных высокопарною, бессмысленною и низкою лестью, нельзя от какого-нибудь барина получить на водку перстенек, табакерку, 50 или 100 рублей денег,— и еще менее можно приобрести звание поэта! Вероятно, это одна из причин, почему старички, запоздалые остатки доброго старого времени, так сердиты на наше время, с таким восторгом и с такою грустью вспоминают о своем времени, когда, по их словам, все было лучше, чем теперь».

— Ерунда [1],— сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался.— Охота вам руки марать!

— Ерунда! — повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо.— Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть... Я читал, а он нюхал табак и говорит: «Понюхай!» Не нюхаю, говорю, да уж из табакерки вашего превосходительства... «Нюхай! — говорит,— ученому нельзя не нюхать». и отдал мне табакерку... С тех пор и начал я нюхать. Велел приходить

---

[1] Лакейское слово, равнозначительное слову — дрянь. (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

к обеду... посмотрел бы ты, как меня принимали... всякий гость обнимал... а какие всё гости... даже начальник его превосходительства поцеловал... я после и ему написал... Напился я пьян... говорю, как с равными, а они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает... Ерунда!

И что-то похожее на чувство мелькнуло в глазах зеленого господина, и долго с поднятою рукою стоял он посреди комнаты и вдруг качнул головой и сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвения: «Налей, брат, мне, Егорушка, пожалуйста, рюмочку!»

Дворовый человек налил стакан вина, подозвал зеленого господина и выкинул новый жестокий фарс: поднес стакан к губам зеленого господина и вдруг, когда уже тот вытянул губы и совсем приготовился пить, отдернул стакан и выпил сам. Но зеленый господин уж не рассердился: чувство собственного достоинства, окончательно побежденное запахом сивухи, коснувшимся обоняния, замолчало. Он стал униженно просить дворового человека «не шутить»...

— Попляши, поднесу...

И зеленый господин без отговорок начал плясать. А дворовый человек, приговаривая: «еще! еще! лихо! лучше вчерашнего! ну, немножко еще!» — насыпал в стакан соли и еще кой-какой дряни, долил все вином и начал размешивать. . . . .

. . . .

Я просил не давать зеленому господину этого страшного эликсира, говоря, что он уже и так сильно пьян.

— Пьян! вот-те раз — пьян! Слыхал я от умных людей и от девок,— отвечал дворовый человек, продолжая размешивать: — падает человек — не пьян, языком шевелит — не пьян; двое ведут, да третий ноги переставляет, вот пьян!

— И лежит да не дышит — тоже пьян,— отозвался Кирьяныч, разбуженный пляскою зеленого господина...— А-а-а... Го-спо-ди, по-ми-луй!

Зеленый господин выпил и. похвалил. Вслед за ним выпили дворовый человек и Кирьяныч. Сделалось шумно. Зеленый господин добровольно вызвался еще поплясать, но только под музыку. Дворовый человек заиграл

на балалайке и запел, пристукивая ногами и даже по временам откалывая небольшие плясовые коленцы. Кирьяныч, которому удалось раздавить еще паука, необыкновенно развеселился и каждый прыжок зеленого господина сопровождал трагическим хрюканьем, вроде хохота, а зеленый господин прыжки свои сопровождал икотой и бранью, непосредственно следующей у русского человека за каждым разом, когда икнется, да еще дикими вскрикиваньями... Но всего интереснее была тут песня дворового человека:

Лет пятнадцати не боле
Лиза в рощицу пошла,
И, гулявши в чистом поле,
Жука черного нашла,—
Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С чернобурыми бровями —
Настоящий милый мой!
Завяжу жука в платочек,
Понесу его домой,
Дам я сахару кусочек —
Кушай, кушай, милый мой!
Злая тетка увидала —
Разворчалась на него.
Лизе строго приказала:
«Выбрось жука за окно!»
Я не слушалась приказу —
Брошу жука под кровать,
А на будущее лето
Разведу жуков опять.

. . . .
. . . .

Вот вам, девушки, наука!
Не ходите в лес гулять,
А найдете того жука —
Не кладите под кровать.

Как ни шумно пировали мы, однако ж, пронзительный, нечеловечески-дикий крик, раздавшийся вне комнаты, был тотчас нами услышан и в минуту оковал наши языки и движения. Это был крик, какого я уже не слыхал во всю остальную жизнь,— крик, в котором отзывалось все: и противное карканье почуявшей непогоду вороны, и токующий глухарь-тетерев, и молодой бодрый конь, спущенный с аркана и весело заржавший, почуяв свободу и поле, и поросенок, которого палят живьем, и человек, которого вешают. Не успели мы переглянуться, к нам вбежала старая баба, с лицом до того испуганным,

что я едва узнал в ней хозяйку. Она ломала руки и кричала: «Ах, батюшки!»

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Ничего,— отвечал дворовый человек хладнокровно.— Видно, опять напилась?

— Напилась... ей богу, напилась, пена у рту... схватила нож, зарежусь, говорит, и всех перережу. Батюшка, Егор Харитоныч!

— А пускай бы ее резалась.

— Оно так. Туда ей и дорога, коли лучшего конца себе не надеется, да ведь никогда не случалось... и для жильцов нехорошо... Надзиратель приедет. Деньги все поди пропила, и за шубу полсотни давали... а уж где шуба? сама своей души не жалеет, на саван не оставляет. Батюшка Егор Харитоныч, ведь похоронить не на что будет!

Дворовый человек и Кирьяныч отправились за хозяйкою; любопытство заставило меня последовать за ними. Через дверь, с которою уже, если помнят читатели, я был хорошо знаком, мы вошли на половину хозяйки. То была точно такая же комната, как и наша, но убранная несколько иначе и лучше. В двух углах стояли кровати, а два остальные были загорожены ширмами, с которыми соединено было то удобство, что можно было заниматься чтением одного журнала, которым ширмы были оклеены. На пол-аршина от потолка во всю длину стен были прибиты, как в крестьянских избах, узенькие полочки, на которых стояла деревянная и черепяная посуда. Посреди комнаты происходила сцена, достойная точного и возможно искусного описания. По полу каталась женщина в полном цвете бальзаковской молодости, с красными, как бурак, одутловатыми щеками, и задыхающимся, визгливо-пронзительным голосом кричала: «а... а... а... а!.. ой... батюшки!.. а... ой... умру!.. умру! умру! а... а... а!» Как у разгоряченной лошади, изо рта била клубом пена, которая клочьями падала на пол и размазывалась по лицу; руки беснующейся были в крови: в беспамятстве она их кусала. Ее окружали три женщины,— две старые и одна пожилая, все беременные, которые при каждом повороте кликуши боязливо отскакивали и при каждом новом порыве ее бешенства вскрикивали в один голос: «ай!» Нужно еще упомянуть об одном обстоятельстве: из-за ширм (влево от

двери) раздавался тоненький голосок, напевавший с совершенной беспечностию немецкую песенку, которую очень любят все петербургские немки:

Mein lieber Augustin,
Alles ist weg! [1]

Вдруг кликуша оглушительно визгнула, простонала: «ой, тошно! ой, батюшки, тошно! отпустите душу на покаяние... нож!.. нож!.. нож!..» — и вскочила на ноги.

Нож лежал на полу, и кликуша несколько раз через него перекатывалась, но ни у которой из женщин недоставало смелости поднять его. Дворовый человек выступил вперед, заступил нож, насупил брови и закричал грозно:

— А на что тебе нож, проклятая ведьма? на что тебе нож? вот я дам тебе нож... Кирьяныч! а Кирьяныч... тфу! ты какой! да поди же сюда... Надо бешеную бабу...

Но Кирьяныч в ту минуту страшно стучал сапогами, подпрыгивая, чтоб настичь рукою паука, уходившего к потолку, и ничего не слыхал.

Дворовый человек плюнул, не торопясь развязал ремень, которым был подпоясан, и, устремив на кликушу невыносимо-свирепый взгляд, произнес со всею силою и энергиею голоса: «вязать!»

И вдруг кликуша задрожала всем телом, и бешеное выражение в лице ее в минуту уступило место кроткому и молящему; как сноп повалилась она к ногам дворового человека и жалобно запросила пощады...

— На место! — закричал торжествующий укротитель, делая трагический жест рукою.— Цыц! *пряничная форма!* (Кликуша была рябая,— метко выражается русский человек.) За работу! — прибавил он, топнув ногою.— Только пикни, свяжу, да так в помойную яму и брошу!

Хозяйка усадила кликушу, дала ей работу, и укрощенная беспрекословно принялась шить, страшась поднять глаза на дворового человека, который с минуту еще смотрел на нее, как говорится, сычом, и на разные тоны повторял: «цыц! цыц! цыц!»

---

[1] Мой дорогой Августин,
Все проходит! *(нем.)*

Чтоб объяснить сколько-нибудь эту сцену, я должен рассказать здесь то, что узнал уже впоследствии. Терентьевна не была в самом деле кликушей, как зовут у нас на Руси всех одержимых какою-нибудь дурью баб, но была весьма склонна к белой горячке, которая периодически возвращалась к ней после каждых десяти суток беспробудного пьянства. Дворовый человек уже неоднократно, по вызову хозяйки, являлся на выручку из беды, и каждый раз при помощи того же простого и крайне дешевого средства, какое употребил за минуту, возвращал бешеную бабу к покорности и даже вышибал из нее хмель. Происходило ли то в самом деле от необычайной дикости его голоса и свирепости взгляда, как думали старухи, или была на то особенная воля судеб, или просто так хотел случай,— как бы то ни было, но дворовый человек пользовался за магнетическую способность свою большим уважением хозяйки и ее постоялок. Впоследствии он придумал даже способ извлекать из влияния, которое имел на кликушу, пользу существенную: усмирив кликушу, он отдавал ей в починку худое белье свое,— оставаясь в таких случаях в том, в чем оставалась левая нога его, когда он чинил сапог, и кликуша не смела тронуться с места, покуда работа не была кончена...

На возвратном пути я мимоходом заглянул за ширмы, откуда раздавался тоненький голосок, и увидел молодую миловидную женщину, которая также, подобно прочим жилицам подвала, отличалась полнотой неестественной.

— Отчего они все беременны? — спросил я, когда мы пришли в комнату.

— Известно отчего,— отвечал дворовый человек: — ну, вот хоть бы у вас жила кухарка... горничная... мамзель какая-нибудь, замужняя или так; вдруг... сами знаете — держать не станут... куда?.. не пойдешь среди улицы: не такое дело. Федотовна — баба добрая... сальных свеч не ест... «Поживи, мать моя! поживи, голубушка! я тебя не обижу!» Вот на время и к ней. А там — дело уладилось — и опять место найдет... Федотовне и любо да и тово... Вор-баба! без мыла в душу влезет... изойди весь свет, другой не найдешь! В Москве есть, говорят, две, да те похуже... хоть кого окальячит... Намедни умерла роженица... Она, инда, в слезы;

охает, ахает... до ниточки все прибрала... дряни набила в сундук... «Куды! — говорит,— у покойницы ни роду, ни племени! нищим надо отдать!.. пусть,— говорит,— за покойницу молятся... ничего себе не возьму, ничего, не пойдет впрок чужое добро!» Позвала нищих; все мальчишки, девчонки... мал-мала меньше; ну уж какое вино?.. только два старика... Пообедали... напоила, да у них же и украла платок... вот сейчас, не сойти с места... А что, Кирьяныч, дерябнем-ка еще по стакану!

Он подошел к столу и ахнул от ужаса: штоф был пустехонек. Выругавшись, дворовый человек принялся пинками будить зеленого господина, заснувшего сном невинности среди полу, но зеленый господин не шелохнулся, и только отвечал на пинки и проклятия стихами из брошюры на тезоименитство, полными благословений и радостных пожеланий. Впрочем, я думаю, что он бредил: к подобному великодушию человек в здравом рассудке едва ли способен.

— Нечего собаке делать, так хвост лижет! — сказал дворовый человек с трогательным состраданием; взял в одну руку шапку, в другую штоф.— Вот одолжил, как уж кабаки заперлись.

— Что ты, голова? лучше же завтра будет у нас на что пообедать.

— Была не была! Уж неужто так и не выпить?.. Авось.

— И то сказать,— заметил Кирьяныч, внутренне обрадованный,— голенький ох, а за голеньким бог.

За первым стаканом взаимно признались в расположении, которое почувствовали друг к другу при первой встрече; за вторым — заплакали, обнялись и неоднократно поцеловались; за третьим — побранились; за четвертым последовала естественная и неизбежная развязка незатейливой драмы, которую я здесь безыскусственно рассказал: герои ее подрались...

Поутру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который меня очень заинтересовал.

— Собаки есть?

— Есть, пара. Кирпичная, белая с крапинами...

— Крапины серые?.. левое ухо прорезано? на хвосте черное пятнышко?

— Кажись, так. Полюбопытствуйте.

Впросонках человек бывает ленив: мне страх хотелось посмотреть на раннего посетителя, но страх не хотелось повернуться и открыть глаза. Я так и не посмотрел. Впрочем, впоследствии я встретился с ним лицом к лицу: очень интересный господин! очередь придет — познакомлю.

Здесь на сей раз простимся мы с записками Тростникова (объяснение — кто такой Тростников, завело бы слишком далеко и потому оно здесь выпускается), из которых извлекли отрывок, предлагаемый благосклонному вниманию читателя.

НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КРАСКА БРАТЬЕВ ДИРЛИНГ и К°

Неправдоподобный рассказ

I

Среди огорченных, озабоченных и расплаканных пассажиров, отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете,— герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Может быть, оно происходило оттого, что он ехал в сопровождении красивой собаки из породы водолазов, в страшной силе и отважности которой не допускали ни малейшего сомнения огромный рост и громогласная кличка. Хозяин звал ее Прометеем. Самого хозяина находившийся при нем человек, дюжий малый лет двадцати, называл Леонардом Лукичом, а провожавший его приятель — Хлыщовым. Господин Хлыщов принадлежал к породе мужчин крупных и видных; многие даже называли его красавцем, исключая, однако ж, нас: мы всегда были такого мнения, что лучше иметь щеки не столь полные и румяные, но без того подозрительного лоску, который поверхностные наблюдатели принимают часто за признак глупости, не умеющей скрыть восторга, ощущаемого при постоянном сознании и созерцании собственных достоинств. Был ли действительно герой наш глуп или обладал уважительными причинами к невозмутимому самодовольствию — обстоятельства раскроют впоследствии. Кроме красных, выпуклых щек, господин Хлыщов имел усы, о настоящем цвете которых читатель получит точное понятие также впоследствии — во второй или третий день его путешествия,— и пару больших совершенно си-

них глаз, напоминавших большую рыбу, например, белугу, только что вытащенную на берег... да! они были маловыразительны, зато нежная, спокойная, ничем не возмутимая прозрачность их повергала в истинное умиление! Господину Хлыщову было за тридцать лет. Касательно сердечных свойств и привязанностей его покуда ничего не можем сказать. Известно только, что он сильно любил свою собаку, чему доказательством служит и место внутри кареты, которое он взял ей рядом с собой. Надо сказать правду, что никогда, может быть, привязанность к Прометею не возвысилась бы в сердце его до забвения собственных интересов, если б тут не примешивалось особенное обстоятельство: как ни глубоко чувствовал, как ни высоко ценил г. Хлыщов свои личные достоинства, которым и мы в течение рассказа отдадим полную справедливость, он, однако ж, не мог не заметить, что в одиноких прогулках своих по Невскому проспекту не производил и половины того эффекта, каким пользовался, появляясь в сопровождении своей огромной собаки. Таким образом, мы видим, что похвальное чувство благодарности к бессловесному существу сделало то, чего не могли сделать красноречивейшие убеждения господина Турманова, который, проигравшись в пух (а известно, что красноречие проигравшегося человека почти неотразимо), в самый день отъезда пристал к своему другу, а нашему герою, с просьбою ссудить его незначительной суммой.

— Не могу,— отвечал ему Хлыщов,— самому деньги нужны на дорогу.

— Но ведь я в таком положении, что хоть продавай последний сюртук!

— Не могу, не могу, не могу! — повторил Хлыщов решительно.— Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошее приданое, и тогда изволь, сколько хочешь!

Итак, Хлыщов ехал в Москву жениться. Факт, не лишенный важности! Приняв его к сведению, скажем, что господин Турманов был именно тот приятель, который провожал теперь нашего героя. Находясь в положении еще более ужасном, чем решился открыть своему другу (мы положительно знаем, что продажа одного сюртука далеко не могла его выручить), он, однако ж, не упал духом перед решительным отказом.

Он остался у Хлыщова весь день, ходил с ним делать закупки, принял деятельное участие в закуске, помогал Хлыщову закрыть плотно набитый чемодан и между тем по временам, улучив минуту, совершенно неожиданно повторял свою просьбу, увы! все так же безуспешно. Наконец пришло время отправляться в отделение карет... Давно сказано, что надежда такой прелестный цветок, который никогда не вянет: Турманов последовал и туда за Хлыщовым, и таким образом ничему другому, как все той же вечно живущей в человеческом сердце надежде, Хлыщов был обязан тем, что уезжал напутствуемый, подобно другим пассажирам, искренними пожеланиями...

Но только пожелания господина Турманова были такого свойства, что едва ли можно порадоваться им. Когда, облобызав в последний раз нашего героя, забравшегося уже в карету, Турманов тихим и робким голосом повторил свою просьбу, а Хлыщов громким и решительным свой отказ,— надежда, наконец, покинула несчастного, он взбесился и громко воскликнул:

— Ну, жадная душа! чтоб тебе в Москве ни жены, ни приданого... а случись там с тобой...

Резко раздавшийся рог кондуктора, смешанный с шумом тронувшихся кареты и брика, заглушил последние слова раздраженного приятеля, к величайшему сожалению переднего пассажира,— породою немца, который немало удивился такому оригинальному способу прощанья и поспешил сообщить свое удивление соседу.

— Што он сказаль? вы слышаль?

— Слышал,— сквозь зубы пробормотал сосед.

— Браниль?

— Не бранил, а так: видно, поссорились,— мрачно отвечал сосед, в котором рекомендуется читателю Мартын, камердинер нашего героя.

— Поссорились?

— Наш барин не такой — браниться никому не позволит, сам сдачи даст!

— Барин?

— А то кто же? Разумеется, барин!

— Ваш барин? Вы его камердин?

— Да, камердин,— отвечал Мартын, передразнивая немца.

— Богатый барин?

— А то как же!
— Служит?
— Нет.
— А что ж делает?
— Что? Известно: поутру встанет, чаю выпьет, велит трубку подать, курит; господа придут; ну, известно: закуска; либо книжку лежит читает; у нас книжки все новые; как месяц прошел — старая не годится,— ступай, неси новую, и билет такой есть: придешь покажешь его — и выдадут — слова не скажут! И я тоже читал. А вечером в театр, либо к приятелям, а не то к нему соберутся: столы поставлю, играют. А бывает, коли вздумается, и с утра играют...

Пока Мартын описывал любопытному немцу образ жизни своего барина, карета быстро катилась по торцовой мостовой, и наконец повернула в другую улицу. Проводив глазами ненавистный экипаж, умчавший лучшие его надежды, господин Турманов медленно стал переходить Пешеходный мостик, против отделения почтовых карет. Лицо его было мрачно. «И за что́ потерял я целый день,— шептал он уныло,— шатался с ним по магазинам, чуть не надорвался, зашнуровывая проклятый чемодан? Да обойди я лучше тем временем приятелей, достал бы, непременно достал бы... мне и Чухломин бы дал, и Саврасов бы дал... а теперь поди застань кого-нибудь: все по дачам, на островах, в Павловске... А славное сегодня гулянье в Павловске, с музыкой...» Он вздохнул... «Хоть бы музыки послушать... всего и проезд-то пустяков стоит...» С надеждой, внезапно промелькнувшей в лице, он обшарил свои карманы и опять вздохнул глубоко, глубоко.

Солнце усердно пекло прощальными своими лучами. Воздух был душен, тротуары раскалены, пыль лезла в горло и производила сухой кашель. То был час, в который летом оставаться в городе сущее горе.

Господин Турманов, продолжая машинально свой путь, очутился у церкви Николы Морского и остановился. В ограде на зеленой траве играли дети. Он засмотрелся. О, как бы желал он теперь сам превратиться в дитя, чуждое житейских треволнений... стать с своим мячиком посреди розовых малюток, беспечно бегающих с обручиками, мячиками, картонными лошадками и всякими игрушками! Неведомая сила тянула его туда. Сле-

зы сверкнули у него в глазах, грусть, сожаление, злость давили ему грудь, и тоска его разрешилась наконец в долгое, энергическое проклятие, посланное господину Хлыщову...

Оно было так искренно, так энергично, почерпнуто в таких сокровенных тайниках злобы и ненависти, что нет ничего мудреного, если оно отзовется нашему герою!

II

Занятия, которым предавался Хлыщов в дороге, всего лучше могут определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки жестяного фонаря, отражавшие его полное, краснощекое лицо; но как отражение было не довольно ясно, то он по временам открывал дорожный мешок, доставал небольшое зеркало и с помощию его дополнял сведения о состоянии своей физиономии, почерпнутые при посредстве фонаря.

Глядясь в зеркало, он щурился, подмигивал, лукаво улыбался, покручивал и подергивал свои усы и вообще делал все, что́ иногда делают перед зеркалом люди, знающие, что никто за ними не подглядывает. «Граф, граф, решительно граф,— говорил он, трепля свою полную щеку.— И осанка такая — и взгляд графский!» Когда эти занятия начинали ему надоедать, что́ случалось, впрочем, не слишком скоро, он обращался к молчаливому свидетелю своих наблюдений и вступал с ним в дружеский разговор.

— Что́ ты видел во сне? что́ во сне видел, а? Ну, пошел зевать, пошел... Неженка! ишь, развалился! а вот выгоню тебя, так и будешь бежать за каретой,— тогда увидим.

Неизвестно, что думал в то время Прометей, и вообще до какой степени развиты были его мыслительные способности, но с достоверностию можно сказать, что обоняние его было развито довольно сильно: он беспрестанно обнюхивал тот угол кареты, где находились копченые колбасы и другие дорожные запасы господина Хлыщова, составлявшие, по-видимому, постоянный предмет размышлений его верного пса. Случалось, что Прометей обнаруживал даже явное покушение полако-

миться ими, но герой наш довольно неучтиво отталкивал его, пока наконец голод не пробирал его самого. Тогда в карете мгновенно все оживлялось.

Каким бы глубоким сном ни спала собака, Хлыщову стоило крякнуть и прищелкнуть языком, чтоб поднять ее, ибо многочисленные наблюдения убедили сметливого Прометея, что герой наш издавал вышеупомянутые звуки только в таких случаях, когда, выпив водки, приступал к закуске. И действительно, испустив их, он тотчас доставал складной нож и развертывал припасы. Собака не спускала с него глаз, провожая в его рот каждый кусок, и жадностью своей подавала г-ну Хлыщову неистощимый повод к остроумию и наставительным замечаниям касательно терпения и других добрых свойств, необходимых хорошей собаке.

Иногда вдруг охватывало его поэтическое настроение. Он пел куплеты из любимых своих водевилей, и тогда целый рой милых сердцу театральных воспоминаний возникал в его голове. Мысленно переносился он в Александрынский театр, и перед ним стройно проходили любимые артистки, с своими очаровательными улыбками; знал он также много романсов и громким, проникающим душу голосом пел:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит,
Утро дышит у ней на груди,
Ярко блещет на розах ланит...

То был его любимый романс; он пел его беспрестанно, вытягивая с особенным одушевлением стих

У-трррo дыыыыы-шит у ней на грррру-ддддди...—

причем его собственная могучая грудь высоко подымалась, и он вздыхал сладко, сладко, и мысленно рассчитывал версты.

Поэтическое настроение его оканчивалось обыкновенно тем, что он начинал сам складывать стихи — участь всех одиноких путешественников, сколько-нибудь наклонных к мечтательности и отвлеченностям. До какой степени удачны поэтические опыты Хлыщова, читатель может судить по следующему отрывку:

Ассан сидел, нахмуря брови.
Кальям дымился, ветер выл,
И, грозно молвив: «Крови! крови!»,

Он встал и на коня вскочил.
«Зюлейка! нет, твою измену
Врагу я даром не прощу!
Его как мяч на шашку вздену,
Иль сам паду, иль отомщу!»
Что было ночью в поле ратном,
О том расскажет лишь луна...
Наутро конь путем обратным
Скакал... Несчастная жена!
Мешок о лук седельный бился,
Горела под конем трава.
Но не чурек в мешке таился:
Была в нем вражья голова!

Стихотворение называлось «Месть горца». Автор думал посвятить его трем буквам со звездочками, значение которых мы скоро узнаем; к слову чурек сделана была выноска: *чурек — черкесское кушанье.*

Читатель теперь видит, что имеет дело с человеком не совсем обыкновенным, и если, может быть, до сей поры он недоумевал и даже обижался, почему автор с таким усердием описывает мельчайшую черту своего героя, то теперь, надо надеяться, подобное недоумение уже не может иметь места. Почему Хлыщов, при всех условиях счастия, которым, по-видимому, наслаждался, выбирал такие мрачные картины? Потому, всего вернее, что мелкие чувства и страсти, обыкновенные происшествия, обыкновенных людей он считал решительно недостойными описания и всегда удивлялся, как у авторов достает терпения возиться с такими предметами. Любимым его чтением был «Кавказский пленник», после которого всего выше ставил он «Хаджи-Абрека», мало видя хорошего в остальных произведениях Лермонтова. Он думал, что изображения достойны только чувства громадные, предметы поразительные, люди со страстями могучими и душой возвышенной. И, надо признаться, мы совершенно с ним согласны, и потому именно выбрали нашим героем его, господина Хлыщова, а не когонибудь другого...

Однако ж к делу.

Нет никакого сомнения, что самыми торжественными минутами в путешествии Хлыщова были те, когда карета с шумом подкатывалась к станции и останавливалась. Дверцы растворялись; вслед за своим хозяином собака бойко выскакивала, расправляя свои могучие члены,

картинно выгибаясь, лаяла, визжала и бросалась ко всем с признаками живейшей радости. Но прочие пассажиры, не поняв ее дружеского расположения, приходили в смущение и пятились; дамы кричали: «Ах!»

Тогда Хлыщов, с любезностью приложив руку к фуражке и грациозно принагнув голову, произносил самым нежным голосом:

— Не извольте пугаться, сударыни. Собака моя, точно, страшна с виду и сила у ней ужасная, но пока я при ней, она не сделает никому ни малейшего вреда... особенно прекрасному полу.

Вслед за тем кроткое выражение лица его сменялось повелительным и чрезвычайно свирепым, с такой быстротой, как будто вдруг поставили ему сзади на плечи другую голову; голос из нежного тона мгновенно переходил в густой, настойчивый бас, и герой наш кричал:

— Прометей, сюда!

И собака тотчас послушно опускала уши и смиренно садилась на задние лапы у ног своего хозяина.

— Вот как у нас! — гордо замечал тогда Мартын своему соседу, с любовью оглядывая собаку.— Ведь уж как же мы ее и учили. Сколько битья приняла, сердечная! А то прежде на людей бросалась — разорвет... Соседи хотели жаловаться в полицию, а кучер генеральский просто грозился извести: я, говорит, подсыплю ей яду...

— Мартын, трубку! — раздавался вдруг голос г-на Хлыщова, и Мартын, не кончив речи, опрометью бросался с своего высокого седалища, с готовой уже трубкой, которую, ради скуки, набивал всю дорогу.

Нужно заметить, Хлыщов в карете курил папироски, а на станциях трубку с длиннейшим чубуком. Герой наш не любил коротеньких чубуков.

Когда человек хорошо настроен, каждая безделка доставляет ему повод к наслаждению. Разные дорожные встречи и случайности, ссоры ямщиков, привязчивые продавцы выборгских кренделей и баранков, называющие каждого проезжающего золотцем,— все развлекало нашего путешественника; он острил, хохотал, пугал баб своей собакой и вообще обнаруживал признаки счастливейшего смертного.

И точно, он был счастлив. Не говоря уже о том, что он, как мы узнали, ехал жениться,— и о том, что мог

есть безнаказанно, как мы тоже видели, копченую колбасу в дороге,— вся вообще обстановка его жизни была такова, что печалиться было нечему: он был молод, хорош собой, по крайней мере по собственному убеждению, далеко не беден и наслаждался полной независимостью. Разбогател он, впрочем, недавно: в прошлую поездку свою в Москву он влюбился в одну очень образованную, примерной нравственности девицу, с хорошим приданым, но тогда еще, как он сам говаривал, делишки его хромали: бабушка его была еще жива. Благоразумие предписывало подождать. И вот теперь бабушка его умерла, оставив ему хорошее наследство,— и он ехал к предмету своей страсти, твердо уверенный в полной победе...

Таким образом, желание произвесть блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Надлежало, следовательно, принять меры, чтобы дорога не попортила лица. И герой наш принял их: во всю дорогу он ни разу не умывался, хотя карета страшно пылила и по природе был он весьма чистоплотен. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет, наконец покраснели, как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий; но с усами справиться легко! Иное дело нос. Так как нос Хлыщова имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что и приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное, поэтическое выражение... Но натура взяла свое: как ни крепился Хлыщов, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом благодаря суконному обшлагу шинели, в течение нескольких часов усердно делавшему свое дело. Обстоятельство ничтожное, и мы не упомянули бы о нем, если б оно значительно не омрачило веселости нашего героя. Проезжая последние станции, он ни разу не поговорил с своей собакой, не любезничал с дамами, но тотчас, как отворялись дверцы, бежал к трактирному зеркалу, подозревая собственное в предательстве. Но и трактирные зеркала показывали то же, с прибавлением иногда небывалого раскоса в глазах, чем Хлыщов, видимо, оскорблялся, отскакивая с негодованием и бросая кругом свирепые взгляды.

Думая, нет ли чего тлетворного в дыхании собаки, Хлыщов целые две станции проехал, высунув голову в окно, причем изрядно наглотался пыли, но что́ нужды! пыль шла в желудок, в котором у него все обстояло благополучно... беда та, что гибельная краснота нисколько не уменьшалась. Оставалась одна надежда на разные косметические средства, которых находился при нем изрядный запас,— и Хлыщов с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву.

И вот она, наконец, наступила, к величайшей его радости. Приказав Мартыну везти чемоданы в гостиницу Шора, а с собой захватив только дорожный мешок, Хлыщов нанял лучшего извозчика и полетел к Охотному ряду.

«Придется, может быть,— думал он дорогой,— принимать у себя родственников невесты: надо, чтоб квартира была хорошая. Пусть видят, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга!»

К счастию, два лучшие нумера в гостинице Шора были порожние. Поторговавшись порядочно и назвав всех трактирщиков обиралами, Хлыщов взял их.

— Воды, скорей воды! — кричал он человеку, входя в комнату.

Человек пошел, а Хлыщов подскочил к зеркалу...

III

Когда Хлыщов разложил свой несессер и дорожный мешок, нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем; особенно мыла, в тисненых коробочках, в красивых жестянках, в цветных бумажках, имелось такое огромное количество, что невольно возникал вопрос: не был ли герой наш просто мыльным торговцем и не приехал ли в Москву с образчиками своего товара, которому не находил достаточного сбыта в столице? Но такое обидное предположение скоро рассеивалось тем, что каждый сорт имел свое особенное назначение и по мере надобности поступал в дело. Составов для крашенья усов было также немало; выгружая их, Хлыщов вскрикнул: любимый его фуляр, с китайскими мандаринами по краям и с чувствительной сценой в середине, был залит черной

жидкостью, которая успела уже засохнуть и отставала местами, как кора с дерева.

«Надо будет его перекрасить»,— подумал Хлыщов.

Пока герой наш умывался, Мартын призвал парикмахера, и через два часа Хлыщова нельзя было узнать — причина, обязывающая нас как можно подробнее описать его превращение.

Нежная кожа налима может дать далеко неполное понятие о том, до какой степени выбритая борода его, натертая благовонным мылом, синелась и лоснилась; усы были черные как смоль и расположены эффектнейшим образом: представляя в основании почти сплошную массу, постепенно шли они тоньше и тоньше и оканчивались с каждой стороны одним длинным волоском, закрученным в колечко; симметрия была соблюдена с удивительной точностью. Волосы были завиты мельчайшими колечками. На нем был черный сюртук с иголочки; брюки цвета вареной лососины, с черными лампасами, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшены были кольцами и дорогими перстнями. Туго накрахмаленные воротнички рубашки красиво облегали его полные щеки, а подбритый затылок тонул в складках синего шарфа, приколотого спереди огромной булавкой в виде серпа, с маленькими брильянтами. Здесь необходимо отступление. Хлыщов принадлежал к числу немногих избранных, у которых волосы растут не спросясь где нужно, где нет, с изумительной силою; в одиночку или попарно сюрпризом выбегали они на его щеки, где попало; греческий нос его (он любил называть свой горбатый нос греческим) постоянно был украшен небольшим, но тесным семейством маленьких волосков необычайной белизны и тонкости; Хлыщов боялся их трогать, чтоб не наделать хуже, и благодарил судьбу, что они еще белые; не так милостиво поступал он с черными, коренастыми волосами, лезшими из самого носа такими пучками, что, не тронь он их ножницами, из них в короткое время вышло бы престранное дополнение к усам; уши его, по выражению одного остряка, зарастали так, что он по временам лишался всякой способности ценить оперу, отчего и предпочитал ей цыган. Голова в незавитом состоянии напоминала сноп, скомканный и перевернутый шаловливыми ребятишками, и волосы на ней, особенно сзади, росли так низко, что Хлыщов при-

шел к необходимости подбривать свой затылок, подобно кучерам, делающим то же из франтовства. Объяснив, почему затылок нашего героя был подбрит, приступаем к окончанию обстоятельной описи его наряда. Оно будет коротко: не упомянуто выше только о сапогах, которые были новы и немножко поскрыпывали — обстоятельство, глубоко огорчавшее нашего героя. Он был не чужд прогресса, и с того самого дня, как прочел в модах одного журнала, что сапоги со скрыпом перешли в достояние франтов дурного тона, Хлыщов возненавидел скрып, которым в течение одиннадцати лет самодовольно оглашал гостиные своих знакомых, следуя мнимой моде. И теперь каждый раз, как сапоги его, до крайней степени ссохшиеся в дороге, издавали звук, наполнявший некогда сердце его гордым удовольствием, герой наш содрогался!

«Впрочем, здесь не Петербург; может быть, оно даже и лучше», — наконец подумал он с полным убеждением, привыкнув, подобно всем счастливцам, толковать в свою пользу хорошую сторону предмета мимо десяти дурных, и, подумав так, он протянул руку к духам.

Надушился он так, что Прометей, как ни любил своего хозяина, не мог оставаться в одной с ним комнате и, расчихавшись, убежал в прихожую.

— Не твоему собачьему носу нюхать такие духи! — рассмеявшись, прокричал вслед ему Хлыщов и подошел к зеркалу.

Он был уже совершенно готов, даже перчатки, чистейшего лимонного цвета, были надеты, и подходил он теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтоб обнять эффект целого.

— Еще подумают, что пьянствовал в дороге, — пробормотал Хлыщов, с неприятным чувством всматриваясь в красноту своего носа (увы! никакие старания не могли уничтожить ее!), и вздохнул. — Но я сделал все, что́ мог... не отрезать же мне его?.. видно, уж такая судьба!

Всего более бесило его то, что у Мартына, подвергнувшегося тем же самым влияниям, нос был нисколько не красен.

«А еще ехал, шут, впереди!» — думал Хлыщов, вздергивая плечами в горьком недоумении.

— Мартын! Ты пил дорогой? — спросил он вдруг.

— Как же-с! Да вот еще на той станции... как бишь ее? вот и забыл! квас такой важный!

— Да нет... не квас! вино пил?

Мартын подумал и произнес:

— Виноват-с...

— Не в том дело. И много пил?

— Как можно-с!

— Ну, а как?

— Пил-с.

— Да много ли! Каждый день?

— Каждый... Нельзя-с: ночи такие холодные...

— Как! и по ночам пил? — воскликнул Хлыщов и снова пожал плечами, сделав гримасу, которую вместе с движением плеч можно было перевести так: «Вот поди и спрашивай справедливости у судьбы».

Объяснив обидную шутку судьбы особенной нежностью своей благородной кожи (чем значительно утешилась его щекотливая гордость),— Хлыщов величественно облекся в синий плащ с бархатными отворотами, изобретенный исключительно для таких гигантов, и вышел.

Был час четвертый. Насидевшись вдоволь дорогой, герой наш чувствовал сильную потребность пройтись, и как времени до обеда оставалось еще довольно, то он и отверг решительно многочисленные предложения извозчиков, величавших его графским сиятельством. Конечно, такая грубая и пошлая лесть не могла ему нравиться; но как она служила новым доказательством некоторых собственных его заключений, сделанных перед зеркалом в почтовой карете, то и не осталась вовсе без внимания. «Ведь не всех же и они величают графами! — думал он, драпируясь своим плащом.— Иной хоть тысячу прокатай им, а больше вашего благородия не дождется!»

В самом веселом расположении проходил он по узким кирпичным тротуарам, попирая их с особенной силой, в надежде, что сапоги авось выскрыпятся и будут вести себя в гостиной будущего тестя прилично.

Нет сомнения, что веселость его, говоря цветистым слогом, была бы еще безоблачнее, если б не зеркальные стекла некоторых магазинов, заглянув в которые он тотчас отворачивался с неприятной гримасой и даже иногда испускал глубокий вздох.

Ничто не могло равняться презрению, с которым осматривал он проходящих, особенно тех, в которых замечал претензию на щегольство.

«В Москве еще носят бирюзовые запонки,— думал он, преследуя сатирическим взором предмет своих наблюдений,— а вот... ха! ха! ха! белые перчатки, шляпа, фрак и — фуражка! в столичном городе в фуражке!.. А вот... ну, отличился, отличился! пальто с иголочки, сапоги лакированные — и сережка в ухе... ха! ха! ха! Эх, Москва, Москва! матушка-Москва, золотые маковки! Далеко тебе до Петербурга... Тише, ты, ротозей! не видишь!!!» Последнее восклицание, произнесенное весьма резко и грозно, относилось к дюжему парню, тащившему на голове лоток вареных груш и чуть не окатившему их сыропом нашего героя.

— А ты сторонись, не видишь — с лотком иду! — прокричал разносчик.

— Ах ты, ах ты...— сердито возразил Хлыщов, и голоса у него не хватило. Честь его была глубоко оскорблена, он хотел догнать дерзкого и спросить, знает ли он, кому осмеливается грубить, как всегда делывал в подобных случаях; но вдруг рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам и некоторые обнаруживали дерзкое намерение пробраться под плащ. Пока Хлыщов предупреждал их порывы, разносчик исчез. В то же время над головой Хлыщова послышался бойкий и довольно приятный женский смех.

Сдержав резкие выражения, которые готов был послать разносчику, Хлыщов поднял голову. Он находился против весьма длинного и грязного двухэтажного дома, во всю длину которого тянулась вывеска такого содержания: *«Дирлинг и К⁰, красильщиков и пятновыводчиков из Парижа»*. В растворенном окне над вывеской виднелась женская головка замечательной красоты; рот незнакомки был полураскрыт, причем во всем блеске выказывался ряд ровных и беленьких зубов; живые глаза с детским любопытством и участием, даже больше — с любовью, устремлены были на Хлыщова. Хлыщов улыбнулся, показывая тем, что сам готов смеяться своему несчастию, и тотчас же убедился, что его высокий рост, важная осанка, блестящий наряд обворожили незнакомку... Нет никакого сомнения: победа совершена!

«Уж не зайти ли? — подумал он.— Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Да ведь зачем пойдешь? Не такое время! А ну, хоть бы затем, чтобы посмотреть ее вблизи да самому показаться... испытать, как, например... нос? не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь».

И он уж решился было зайти; но мысль опоздать к обеду остановила его. Он ускорил шаги, повернул в соседний переулок и, взглянув на часы, взял извозчика. Через десять минут он уже всходил по лестнице, которая вела в квартиру его будущего тестя.

IV

Отрывок из письма Хлыщова к петербургскому приятелю

«...Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое скоро должен я вступить, поистине образцовое. Отец, Степан Матвеич Раструбин, человек не слишком большой образованности, и манеры самые обыкновенные; но что и манеры, когда нет души! А у него, я тебе скажу, душа самая благородная: вообрази, за дочерью дает полтораста тысяч чистогану, да еще по смерти достанется нам до ста тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам — и чем же, как думаешь? пиявками! Вот никогда не думал, чтоб таким средством можно было нажиться! В молодости случилось ему быть в Персии; там он и высмотри, что пиявки вещь недурная. Вышел в отставку, откупил в Персии какое-то болото и завел торг, да вот теперь у него два дома и до полумиллиона чистыми! Он уже давно, разумеется, оставил эту торговлю: понимаешь, наживши такое состояние, оно как-то неловко, а говорит: продолжай торг, добил бы до миллиона. Конечно, он хорошо сделал, что перестал, а все жаль: пиявки, пиявки, а деньги такие же! Престранный старик! Если б ты знал, как он любит пиявки! Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей Пиявкин; побранить ли кого вздумает, кричит: пиявица! От всех болезней у него одно лекарство — пиявки, и вообрази: сам ничем в жизни не лечился, кроме пиявок,— а ведь как здоров! Толстяк такой, а лицо — кровь с молоком! И к семейству своему,

и к знакомым беспрестранно пристает, не поставить ли пиявок; лошадям пиявки ставит, а маленькую Фифи совсем погубил: проклятые всю кровь высосали у бедной собачонки; делались, видишь ли, с ней престранные припадки: вдруг завертится, начнет бегать вокруг комнаты, кружится, кружится, да, наконец, и упадет, ну биться; он ей и приставь сорок четыре пиявки, всю ее так улепили, что смешно было смотреть, стала вся мохнатая, точно новой шерстью обросла! Была толстая, жирная, как всегда мопсы. А как отвалились, так совсем не узнать: точно кот стала, с неделю не кормленный, и шатается. Я, признаться, сначала и порадовался: терпеть не могу никаких маленьких собачонок, особенно мопсов,— ножки короткие, ходит — переваливается, морда тупая, а шерсть так лоснится,— тьфу, противно вспомнить! Да моя бедная Варюша расплакалась: вы, говорит, папенька, ее погубили своими пиявками! А он только смеется. Вообрази: и меня вздумал было лечить пиявками: сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу — так, пустяки! Он и пристал: приставь да приставь я к носу пиявку, я отнекиваюсь... Только что же? Заснул я после обеда: с дороги устал (понимаешь, я у них по-домашнему), слышу шорох, и нос так страшно холодит... открыл глаза, а он тут! и пиявка в руке, уж пробовал, да счастие, не вдруг пристала! Я как вскрикну. Он уж нечего делать — стал извиняться; я, говорит, вам же добра желал, а впрочем, как хотите — обиделся! И чего вы боитесь, говорит, вот смотрите: взял и приставил к своему носу: каков? Беда при нем заикнуться, что нездоровится, болит что-нибудь. Умора! а, впрочем, хорошо, что он так привязан к тому, чем, можно сказать, судьбу свою упрочил — редкая в наш век черта! И, вообрази, даже дети у него... их четверо маленьких, кроме моей Вареты. Женился он, видишь, в Персии, взял персиянку: ну, известно, черная, нос такой крупный, брови как лес, теперь толстовата голубушка, а хороша, должно быть, была!.. Все говорит про Персию... Даже дети такие черные, толстенькие, лоснятся, ну точно насосавшиеся пиявки; право! мне, по крайней мере, всегда так кажется. Странная игра природы! А впрочем, семейство прекрасное! Приняли они меня, братец, чудесно: старик послал шампанского. И моя Варенька чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз с меня не спускала, да я

скоро ушел: спать с дороги хотелось смертельно... Да что! Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь так повезло, так повезло, что не будь такое время... да жаль, не до жуировки! время не такое. А с другой стороны, ведь я в некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить, с молодостью прощаюсь... думаю, думаю, и сам не знаю, как распорядиться... Ну, да утро вечера мудренее. Прощай, хочется спать»...

V

— Мартын! нет ли у нас чего перекрасить? — спросил на другое утро Хлыщов, просыпаясь в самом приятнейшем расположении духа и потягиваясь.

— А как же, сударь! сами еще изволили говорить: желтый фуляр весь фаброй выпачкался...

— Ба! ба! ба! — воскликнул Хлыщов.— В самом деле! Так ты приготовь его...

Он не колебался долее. Желтый фуляр решил дело.

Часу в двенадцатом, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте и скоро очутился перед домом с вывеской братьев Дирлинг и К^0. Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна.

— Я к вам иду,— сказал он самым нежным и вкрадчивым полушепотом.

— Пожалуйте,— отвечала она спокойно и приветливо.

Хлыщов поднялся по лестнице. Не успел он подойти к двери с маленькой вывеской: Дирлинг и К^0, как уже дверь отворилась. Хлыщов поспешил войти и заметил, что отворила ему сама хозяйка.

Он вошел в комнату довольно просторную, по стенам которой помещались высокие шкапы. Поперек тянулся прилавок, захватывавший крайнее окно, у которого, как сообразил Хлыщов, показывалась ему интересная красильщица. У другого окна стояла огромная вешалка, заваленная распоротыми платьями, салопами, сюртуками и другими принадлежностями мужской и женской одежды разных цветов и размеров; к каждой вещи приколот был булавкой ярлык с нумером. Хлыщов был поражен таким разнообразным смешением одежд и

думал, что если б собрать в одну кучу их владельцев, то вышло бы не менее разнообразное и занимательное смешение лиц. Два шкапа были полураскрыты: в них висели, также каждый с своим нумером, разноцветные лоскутья сукна, ситцу, шелковых и шерстяных материй, намекавшие своей формой иногда довольно ясно, какого рода одеяния были распороты и подвергнуты перекраске и каких размеров были люди, носившие их в первоначальном виде.

— Славно у вас красят,— сказал Хлыщов, рассматривая перекрашенные лоскутья,— только долго ли держится краска?

— Как долго? — сказала хозяйка не совсем чистым русским языком, которому мы не будем подражать,— всегда!

— Уж будто? — возразил с приятной улыбкой Хлыщов.

— Попробуйте! — отвечала хозяйка.— Что вам угодно?

— Чтó? — сказал Хлыщов.— Вы изволите спрашивать, что мне угодно?

Молчание.

— А вы не ждали, чтоб я к вам вошел? — продолжал он,— и если бы я вошел так, без всякой причины, небось рассердились бы?

Молчание.

— Вы довольны, что я зашел? или вам все равно?

— Все равно,— отвечала немка.

При таком неожиданном ответе герой наш решительно подумал, что немка глупа.

— Нет! как все равно? — поправилась она с испугом, медленно одумываясь и видимо недовольная своей оплошностью,— мне очень приятно!

— А! — значительно произнес обрадованный Хлыщов.

— Муж бранит, что нынче совсем мало работы,— дополнила немка,— вы, верно, пришли...

— Муж? так у вас есть муж?

— Да, муж!

— А где он?

— Там,— отвечала немка, указывая пальцем в пол.

— Внизу?

— Да.

— А что́ он делает внизу?
— Красит.
— Так у вас там красильня?
— Мастерская,— отвечала красильщица.
— А там что? — спросил Хлыщов, указывая на дверь в соседнюю комнату.
— Там... столовая.
— А там, дальше столовой?
— Спальня,— отвечала немка.
— Н-да. Ну а там, после спальни?
— Там кухня.
— А после кухни?
— Там ничего... там лестница вниз...
— В красильню? — подхватил Хлыщов.

Ему нравились простодушные ответы и особенно замешательство красильщицы, при котором она раскрывала рот шире обыкновенного и устремляла к потолку синие большие глаза, чрезвычайно схожие с глазами самого Хлыщова, напоминавшими, как уже сказано выше, глаза большой рыбы, вытащенной на берег.

— Так у вас мало работы? — спросил он.
— Теперь мало.
— И муж сердится?
— Очень.
— Вот я вам принес работы и принесу еще...
— Вам выкрасить или перекрасить? — с живостью перебила хозяйка.
— Перекрасить... Не то чтобы перекрасить,— поправился Хлыщов,— я перекрашенных вещей не ношу, к счастию, не имею в том нужды, а если что́ вымарается, отдаю человеку... А тут особенное обстоятельство: вымарался в дороге мой любимый фуляр... мне его подарили — дорога память...

Довольный последней фразой, слетевшей с языка совершенно экспромтом, но как нельзя более кстати, Хлыщов достал фуляр и показал его хозяйке.

— Можно,— сказала она.— В какую краску?
— В какую хотите. Я предоставляю вашему вкусу и вполне уверен...

Он грациозно принагнул голову.

— Нет, уж лучше вы сами назначьте,— сказала хозяйка,— а то после...

— Ха, ха, ха! Что́ вы думаете?.. Разве вам случалось?.. Нет, я вам скажу... я...

— Нет, нет, нет! — возразила немка, неожиданно оживляясь,— вот недавно тоже господин, как и вы, богатый, принес перекрасить... одну вещь... одну... (она, очевидно, затруднялась в выражении)... принес и оставил перекрасить в дикую краску. Перекрасили, а он посмотрел и рассердился. Я, говорит, велел в дикую, а вы перекрасили в серую... Я серый цвет не люблю и никогда не ношу. Рассердился так! Отдайте, говорит, мне... мою вещь такую, как была... А где нам взять ее, такую? Муж так сердился, бранил... все ты, говорит: не расспросила хорошенько.

— Удивляюсь,— воскликнул Хлыщов с неподдельным негодованием,— удивляюсь, как находятся такие люди! Кажется, один пол должен бы обезоружить... Будьте спокойны, сударыня, если уж вы сами не хотите назначить, так пожалуй... Да вот чего лучше? О какой там краске у вас расписано? — заключил он, увидав пачку объявлений у конторки.

Хозяйка подала ему объявление. Хлыщов прочел:

БРАТЬЕВ ДИРЛИНГ И К°

НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КРАСКА,

не линяющая ни от воды, ни от солнца
и навсегда сохраняющая свой первоначальный
густо-зеленый цвет, с бронзовым отливом.

— Уж будто никогда не линяет? — спросил он шутливо.

— Никогда.

— Знаю я, знаю ваши объявления? Написать все можно — бумага терпит. А посмотришь: через неделю удивительная зеленая краска порыжеет, как вохра... Ха, ха, ха!

— Ни, ни, ни... никогда! — воскликнула немка, начиная сердиться,— ее теперь все хвалят; каждый день котел выходит. Попробуйте, так увидите!

— Верю, верю, сударыня,— вежливо отвечал Хлыщов,— и, чтоб доказать вам, прошу выкрасить мой фуляр в вашу зеленую краску... оно хоть и не совсем идет к фуляру, но вы хвалите, и я...

Он опять грациозно принагнул голову.

Немка приняла фуляр и выдала ему нумер. Принимая его, Хлыщов осторожно пожал маленький пальчик красильщицы. Она быстро отдернула руку.

— А когда будет готов? — спросил он.

— В пятницу.

— А нельзя ли завтра?

— Нет... очень скоро.

— Хоть к вечеру?

— Погодите... я спрошу мужа.

И она хотела идти. Хлыщов остановил ее.

— Нет, зачем же? — сказал он,— я лучше завтра наведаюсь, мне по дороге; если готов будет, так хорошо, а нет, так все равно... Зайти?

— Пожалуйста,— отвечала она.

— Теперь прощайте. Не смею дольше утруждать вас моим, может быть, неприятным присутствием; будьте уверены, что как бы вы ни распорядились с моим фуляром, хоть бы совсем испортили его... я... вежливость к прекрасному полу, по-моему, первый долг... Надеюсь, что вы будете смотреть на меня не как на докучного посетителя по делу, а как на доброго знакомого... так? — прибавил он тихо, устремляя на нее нежный взгляд,— так?

— Так,— отвечала она неопределенно.

— А в доказательство... позвольте пожать вашу ручку... Тут нет ничего, так делается.

И он взял ее руку и поцеловал.

— Ай! зачем? — сказала она, быстро вырывая руку.

— Ну, не сердитесь. Вы не сердитесь?

Красильщица молчала.

— Прощайте, прощайте! не смею более утруждать вас...

Он расшаркался и вышел.

«Начало недурно!» — думал он, спускаясь с лестницы.

— Прощайте! — сказал он, поравнявшись с окном, в котором уже опять появилась красильщица.

— Прощайте! приносите же еще!

— О, непременно!

И счастливый герой наш отправился к невесте.

«Вот,— думал он,— есть пословица: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь... Ну, не всегда!»

VI

Дела Хлыщова во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пиявок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы, и через три дня после первого свидания совершенно неожиданно объявил Хлыщову, что дает за своею дочерью не полтораста тысяч, как пошутил сначала, а двести. «Вот шутник так шутник!» — подумал Хлыщов, радостно выслушав старика и заключая его в объятия. «Дай бог, чтобы он всегда так шутил»,— и в голову Хлыщова серьезно забралась мысль, не пошутит ли старик через неделю еще тысяч хоть на двадцать пять. «Тогда, пожалуй, можно будет согласиться и пиявки поставить, отчего не потешить добряка»,— думал он. Хлыщов каждый день обедал у Раструбиных, приходя часу в первом и просиживая до обеда с невестой своей и с молчаливой Поликсеной Ираклиевной (так называлась госпожа Раструбина). Его красноречивые, остроумные рассказы о Фреццолини, о Борси (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер, которую он называл просто *Фанни*, видимо, интересовали молодую девушку. Варюша спала и видела тот вожделенный день, когда, сделавшись г-жою Хлыщовой и приехав в Петербург, она появится в опере. Надо заметить, что Хлыщов в Москве прикидывался страстным меломаном итальянской музыки и с пренебрежением отзывался о цыганах. Называя себя борсистом (он действительно принадлежал к тем, которые отдавали предпочтение Борси перед Фреццолини), яркими красками описывал он мнимые победы борсистов над фреццолинистами, к одержанию которых значительно сам содействовал (чему нетрудно было поверить, приняв в соображение массивные руки и вообще атлетическое его сложение). Все были от него в восторге, не исключая и дородной Поликсены Ираклиевны, которая вмешивалась в разговор единственно в таких случаях, где можно было ввернуть словечко касательно того, как то или другое делается, растет, приготовляется или употребляется *«у нас в Персии»*. Хлыщов, не лишенный юмористического взгляда на людей и людские деяния, скоро подметил слабую сторону доброй старушки и в приличных случаях скромно подмигивал старику Раструбину, который открыто смеялся над своею же-

ною, называя ее не иначе, как «у-нас-в-Персии». «А что «у-нас-в-Персии» так присмирела? — говорил он, попивая кофе.— Что ни говори, а «у-нас-в-Персии» прекрасная женщина. Какого плову сегодня подала нам; жаль только, изюму и коринки слишком много положила».— «У нас в Персии всегда так кладут»,— отзывалась Поликсена Ираклиевна, начинавшая уже дремать. «Ха! ха! ха! опять — «у-нас-в-Персии». Старик добродушно смеялся. В таких разговорах и шутках, до которых старик был большой охотник, не много заботясь, как все разжившиеся веселые старики, о их достоинстве и пополняя недостаток качества количеством,— проходило незаметно два-три часа после обеда. Часу в осьмом Хлыщов обыкновенно уходил, обещая завернуть еще попозднее.

Куда шел он? — читатель догадывается.

— А что́, Мартын, нет ли у нас чего перекрасить? — почти каждый день, отправляясь со двора, спрашивал он у своего человека.

И спустя несколько дней значительная часть его шейных платков, косынок, шелковых рубашек (Хлыщов в дороге носил шелковые рубашки) и некоторых других вещей была перекрашена. Принимая обратно вещи, которые перекрашивались обыкновенно в темно-зеленый цвет, Мартын не мог надивиться странному направлению вкуса своего барина.

«Что, нынче мода, что ли, на зеленый цвет?» — думал он и, как человек начитанный, любивший обстоятельно обсуживать каждый предмет, погружался по поводу прихоти Хлыщова в самые отвлеченные глубокие соображения, пользуясь долгими часами одиночества. Не раз даже обращался он с разными вопросами по поводу зеленой краски к своему единственному товарищу Прометею, с которым вообще имел привычку разговаривать. Остановившись, наконец, на мысли, что, видно, такая мода (а он любил следовать моде, и каждая новость в костюме барина так или иначе отражалась в его собственном), он однажды на обычный вопрос барина: «Нет ли чего перекрасить?» — запинаясь, отвечал:

— Нет-с, вашего уже ничего нет... а вот-с, если прикажете, моего...

— Давай, давай! — сказал Хлыщов.

— Куда прикажете-с?.. я отнесу.

— Я сам возьму.

— Много-с; куда вам!

— Ничего, ты вон поди позови извозчика и положи ему... я уж сам отдам... да много?

— Довольно-с... я в узелок связал...

— А пальто, что я намедни подарил, положил?

— Нет-с.

— Что же?

— Да будет и так. Много доволен.

— Положи и пальто. Оно все в пятнах, лучше и его перекрасить.

— Точно, уж как же не лучше? Покорно благодарю-с.

Не слыша ног под собой, Мартын связал в узел почти все свое платье и сдал извозчику.

«Ну, будет моей немочке радость! — подумал Хлыщов, увидав у извозчика огромный узел и садясь в дрожки.— Все жалуется, бедненькая, что мало работы!»

Узел был сдан красильщице с приличной оговоркой, что платье принадлежит не ему, Хлыщову, а его человеку,— Хлыщов же взялся сам передать только потому, чтоб иметь предлог увидеть ее. И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай, и был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать и в костюме самого Хлыщова, который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф.

Как, однако ж, шли его дела? Принося вещи красильщице, он довольно долго оставался у нее, шутил, говорил любезности, и она терпеливо выносила его присутствие: скука ли летней поры, в которую редко приходили посетители, ветреность ли характера, или, наконец, действительная склонность к Хлыщову, как он думал,— только она не слишком сердилась даже тогда, когда Хлыщов целовал у ней ручку... Несколько раз приступал он уже и к решительному объяснению, но всегда так случалось, что в самую критическую минуту раздавался звонок и входил посетитель или являлась (оттуда, где, по словам красильщицы, была столовая) высокая, сухопарая фигура в полосатом халате.

— Каролина Францовна! — говорил главный подмастерье гг. Дирлинг и К°, мрачно оглядывая нашего

героя,— хозяин приказал попросить рубль двадцать копеек!

Хлыщов выжидал, но подмастерье принимался перебирать вновь принесенные в краску вещи, искоса оглядывая нашего героя, пока наконец Хлыщов не убеждался, что его скоро не выживешь. Он уходил с твердым намерением в следующий раз тотчас же приступить к объяснению, не теряя времени в околичностях.

И невозможно было медлить. Шитье приданого Варюши кончено. Через два дня, именно 25 августа, назначена свадьба. В доме Раструбиных все оживилось. Старик острит более обыкновенного и, по некоторым его таинственным намекам и отлучкам, Хлыщов ясно видит, что он готовит новый сюрприз.

— Ну, «у-нас-в-Персии»,— говорит Раструбин жене,— пошевеливайся! Пришла пора и тебе проснуться! А вот погоди, свадьбу сыграем, будет еще больше хлопот. Очень уж ты обсиделась... повозишься еще и с мебелью, и с сундуками своими... да! деньги деньгами, а надо им тоже и кроме денег... а нам чтó, старикам, все равно.

«Уж не дом ли хочет предоставить нам? Не купчую ли проворит?» — думает Хлыщов, и сердце его наполняется сладостнейшим ощущением. И с новым жаром смеется он шуткам старика, говорит в его тоне, придумывает ему каламбуры и клянется, что сроду не встречал такого остроумного человека, что шутки Степана Матвеича всегда так оригинальны, тонки, поразительны...

— И *существенны*... главное — существенны,— самодовольно прибавляет старик.— Ха, ха, ха!

— О, да, папенька!..— говорит тронутым голосом Хлыщов, вспомнив неожиданную подбавку пятидесяти тысяч, и, нагибаясь, целует руку будущего своего тестя.

(Нехудо заметить, что Хлыщов с самого дня помолвки называл г. Раструбина папенькой и целовал его руку.)

Даже неподвижная Поликсена Ираклиевна оживилась. Целый день она в хлопотах: то примеряет приданое дочери, то показывает его многочисленным гостьям, хлопочет, чтоб все в доме было прибрано, вымыто, вычищено и приготовлено. Маленькие Раструбины, удачно прозванные Хлыщовым, за свою толстоту и черноту, насосавшимися пиявками, тоже в хлопотах. С утра до вече-

ра прыгают и бегают они, радуясь, что старшая сестрица выходит замуж, что будет свадьба, будет музыка, будут танцы, будут конфекты...

Так как Хлыщов в глубине своего сердца более питал склонности к двумстам тысячам, чем к самой Варюше, то и не удивительно, что, посреди свадебных приготовлений, он не упускал и других преходящих, менее существенных, но успевших пробудить его интерес целей.

«Надо, надо проститься с молодостью!» — думал он, приближаясь утром 23 августа к красильному заведению гг. Дирлинг и К⁰.

И он вошел в приемную красильщика. Красильщица, как всегда, была одна. Пожав ей руку — право, которым уже давно пользовался,— он спросил:

— Что́, мой кашне готов?

— Нет еще.

— Отчего же? Ведь вы обещали сегодня?.. А, а! Попались! Уж теперь не отделаетесь.

— Муж сказал, что не успел просохнуть.

— Ну, уж как хотите, я сказал, что, если не сдержите слова, я вас поцелую, и уж теперь прошу не гневаться...

И он хотел исполнить свое намерение, но она увернулась. Успев ухватить ее руку, он с жаром целовал ее.

— А когда же будет готов?

— Вечером.

— Рано ли?

— В семь часов.

— Мне нельзя: я так рано не могу быть.

— Ну, так в восемь.

— И то нельзя. Можно в девять?

— Можно, приходите.

— Ну, а если я приду в десять? — понизив голос, сказал он.— Мне давно хотелось с вами поговорить,— прибавил он еще тише.

— Приходите,— отвечала она тем же равнодушным голосом.

— И вы будете одни?

— Да.

— А муж?

— Он там,— указывая в пол, отвечала красильщица.

— А, там! — успокоенным тоном повторил Хлыщов.— Так можно?

— Непременно будет готов,— отвечала она.

В то же время в соседней комнате послышались шаги. Явился полосатый подмастерье с своей мрачной физиономией.

— Хозяин просит нумер семьдесят девятый,— сердито проговорил он.

— Прощайте,— переменив тон, сказал Хлыщов.— Я зайду за моею вещью или пришлю к назначенному вами времени.

Последние слова произнес он с особенным ударением и вышел.

Отыскав вещь под нумером семьдесят девятым, красильщица молча подала ее мрачному подмастерью.

— Хоть бы ручку позволили поцеловать,— плачущим голосом проговорил он, потупляя глаза.

— Ни, ни! взял, что́ надо, и ступай, марш!

Но подмастерье не трогался с места.

— Больше ничего от вас не будет? — наконец спросил он уныло.

— Ничего не будет,— тем же строгим и резким тоном отвечала она.

— Небось другим позволяете...

— Что?.. иди!.. а то скажу... иди!..

— Каролина Францовна!.. я все вижу... чем я такой несчастный...

— Иди, иди! — гневно перебила красильщица, топнув ножкой и покраснев.

— Так вы так-то, Каролина Францовна!

— Идить,— нетерпеливо повторила красильщица.— Я не хочу слышать... я позову...

И она пошла к двери.

— Уйду, уйду!.. сам уйду!..— злобно воскликнул подмастерье.— Вижу, что нечего больше ждать, нечего! Вот вы теперь меня не жалеете, а я вас жалел, долго жалел...

— Идить! — прокричала опять немка.

— Ну, уж теперь все кончено, не пеняйте! сами не хотели выслушать... Увидите... я все знаю...

Злоба душила его, и он ушел, произнося несвязные угрозы...

VII

Пообедав и просидев у Раструбиных до десяти часов, Хлыщов пробирался в знакомую улицу.

«Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там и за солидную жизнь!» — думал он, довольный и судьбою, и проведенным днем, и предстоящим свиданьем.

Было уже темно. Однако ж подходя к заведению гг. Дирлинг и К^0, он тотчас узнал силуэт русой головки, рисовавшийся в крайнем окне.

«Она ждет!» — подумал он, и сердце его забилось.

— Можно? — спросил он тихо, поравнявшись с окном.

— Можно,— громко отвечала ему красильщица.

— У вас никого нет? — спросил он тихо.

— Никого,— отвечала она громко.

— Я войду.

— Пожалуйте, пожалуйте. Я нарочно ждала, готово!

Он вошел.

— А ваш муж не скоро придет? — был первый вопрос его.

— Нет, он всегда там до двенадцати часов.

Хлыщов посмотрел на часы, было половина одиннадцатого. «Медлить нечего»,— подумал он.

— Вот,— сказала хозяйка, показывая ему кашне, который лоснился как новый, благодаря превосходным качествам зеленой краски гг. Дирлинг и К^0.

— Чтó кашне! — сказал Хлыщов,— бросьте его. Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что не привилегированная, нелиняющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки... Уж как хотите, а вы сегодня должны поцеловать меня,— заключил он, приближаясь к ней.

— Ай, как можно!.. что вы? муж есть... Идите! уж поздно.

— Нет, уж полноте... ну к чему?

И он хотел поцеловать ее. Она вырвалась и побежала в другую комнату. Там он догнал ее, она опять вырвалась и побежала в третью комнату, он туда...

Но здесь мы должны остановиться, чтоб выразить глубокое сожаление, пробуждаемое в нас неслыханным бедствием, которое постигло нашего героя. Бедствие,

так неожиданно разразившееся над его головою, как по своей страшной оригинальности, так и по своим ужасным последствиям, заслуживает самого строгого описания.

Едва герой наш успел пасть на колени перед своей красавицей и начать то красноречивое признание, которое уже давно доставляло ему постоянную умственную работу,— как вдруг откуда ни возьмись (вернее всего, из кухни, смежной с красильной) появились два человека, два гиганта — оба они были чрезвычайно высокого роста,— и стремительно кинулись к нему...

Зажав ему рот, они схватили его и повлекли в кухню; оттуда, по темной и узкой лестнице, спустились они с ним в большую, тускло освещенную комнату, которая была так низка, что герой наш, поставленный на ноги, сначала стукнулся, а потом при каждом движении вырваться подметал потолок головой своей, словно щеткой,— несчастное употребление, к которому роскошные его волосы не были никогда предназначены! Гиганты же стояли в ней нагнувшись. В комнате невыносимо пахло сыростью, краской и дымившейся светильней ночника, готового погаснуть. При тусклом свете последних лучей его герой наш успел несколько рассмотреть лица своих врагов: одно принадлежало известному уже подмастерью и было так же мрачно, как всегда, с примесью злобной и неумолимой радости. Другое, прикрытое тенью остроконечного колпака, украшавшего голову гиганта, ускользало от наблюдений; только большие серые глаза горели мрачным огнем, не предвещавшим ничего доброго. Герой наш смутно сообразил, что оно, вероятно, принадлежало одному из гг. Дирлинг и К^0. В комнате не было никакой мебели; по стенам висели спорки разных одежд, мотки крашеных ниток; посередине стояло множество чанов и котлов, обрызганных краской, с торчащими из них рукоятками кистей. К одному из таких котлов гиганты подтащили нашего героя.

«Что́ они со мной хотят делать?» — тоскливо подумал он, лишенный способности говорить: рот его постоянно был зажат широкой ладонью подмастерья.

— Сюда его! — проговорил мрачно подмастерье, усиливаясь приподнять Хлыщова, с явным намерением бросить несчастного в котел.

Страшное, варварское намерение! Когда Хлыщов услыхал это, кровь хлынула ему в голову; собрав силы, он рванулся, страшно ударился головой в потолок,— и чуть не вырвался.

— Держи его! — воскликнул тот из гигантов, в котором герой наш не без основания подозревал одного из представителей фирмы г-д Дирлинг и К°.— Держи крепче руки!

Подмастерье впился в Хлыщова своими ручищами, а г. Дирлинг, зажимая Хлыщову одной рукой рот, другою взялся за кисть, торчавшую из котла, и стал пачкать ею лицо нашего героя. Хлыщов снова рванулся, освободил свои руки и поспешил закрыть ими лицо. Но не успел г-н Дирлинг мазнуть по ним двух, трех раз, как подмастерье снова принял их в свое распоряжение. Кисть снова коснулась лица несчастного...

Когда операция была кончена, гиганты подвели Хлыщова к двери и довольно неучтиво вытолкнули его вон. Герой наш очутился на свободе и вздохнул во всю ширину груди. В то же время к ногам его вылетели шляпа и кашне,— несчастный кашне, послуживший поводом к такому ужасному происшествию!

«Ну, поделом! поделом! — была первая мысль Хлыщова, когда он несколько одумался.— Нужно было соваться самому в беду и в такое время!» Второю его мыслию было, что он так не оставит дела, что г-да Дирлинг и К° дешево с ним не разделаются, что он даст им себя знать...

Опрометью побежал он домой, горя нетерпением смыть отвратительную жидкость, уже начинавшую щипать его лицо,— и благодарил бога, что кругом темнота, народу нет вовсе, и встретить знакомого не предстоит никакой вероятности.

Когда он подошел к своей двери и постучался, одна мысль смутила его. «Чтó подумает Мартын! пожалуй, еще смеяться станет...» И в голове его составился план...

Но дверь не отворялась. В нетерпении он стал стучать сильнее. Тогда наконец внутри комнаты послышалось шарканье спички.

— Не надо огня! — кричал Хлыщов,— отпирай так!

Но прошло минуты две, дверь не отворялась.

— Ну же!

Шорох продолжался, но дверь не отпиралась; казалось, как будто Мартын ощупью старался попасть к двери, но не успевал в своих усилиях; тогда Хлыщов начал подавать ему голос.

— Сюда! сюда! — кричал он.— Ну, сюда!

Но и после таких мер Мартын не скоро нашел и отпер дверь. Явление чисто физиологическое, требующее объяснения.

VIII

Когда колеса машины в полном ходу, рассказ кипит и читатель нетерпеливо желает знать, чем кончится дело, или, вернее, пустяки, которыми потчует его автор,— полезно прерывать действие и уклоняться в сторону. Следовательно, теперь или уж никогда должны мы посвятить несколько строк Мартыну.

Известно, что ничего нет скучнее жизни человека, состоящего в услужении у одинокого холостяка. Барин целый день рыскает бог знает где или скрыпит в своем кабинете с утра до вечера пером по бумаге, а человек сиди! Сиди один, без компании, без дела, без всякого развлечения! Мы разумеем человека благонравного, каким был Мартын. Постоянное одиночество сделало его решительным эксцентриком; многие вещи отражались в его голове совсем иначе, чем обыкновенно у людей; мрачность, меланхолия, наклонность к размышлению, дух пытливости и анализа преобладали в его характере. Отсюда тон его речи был дидактический, как у многих мыслящих людей. По целым дням иногда обсуживал он, почему зимой не бывает грому, а летом иногда грянет так, что окна дрожат,— почему птицы летают, а люди не летают; и на все таковые и подобные им вопросы понемногу составились у него ответы.

Он говор древесных листов понимал
И чувствовал трав прозябанье.

Разумеется, по-своему. Но как человеческая голова не всегда способна к самостоятельной работе, то Мартын иногда прибегал к чтению, заимствуя книги у барина. Чтение дало прочное основание его собственным выводам и обогатило его разговорный, а особенно пись-

менный язык. Но как книг у Хлыщова было немного: *всего одна книжка в месяц*, как выражался Мартын (герой наш подписывался на «Библиотеку для чтения»), то остальную часть времени нужно было наполнять иначе. Мартын наполнял ее сном. Так как ему приходилось иногда проводить во сне по двадцать три часа в сутки (часов пятнадцать в ожидании барина, да часов восемь при барине, который часто уходил с утра, а возвращался ночью), то и понятно, что он скоро в совершенстве овладел искусством спать. Сначала он спал сидя или стоя, с поникшей головой, которая покачивалась, как маятник,— потом спал, положив голову на стол, потом не раздеваясь ложился в свою постель и, наконец, когда приходил барин, спал в той же постели, раздевшись. Впоследствии четырех способов спанья показалось ему мало, и он присоединил к ним пятый, весьма оригинальный. Раз Хлыщов, воротившись домой, к удивлению своему, застал дверь своей квартиры незапертою; он вошел — в прихожей никого; пошел дальше — и в гостиной, где стояло большое вольтеровское кресло с полочками по бокам, увидал следующее: полочки были подняты и на каждой из них стояло по горшку цветов, а в креслах, обняв руками горшки, спал его верный Мартын!

Постепенно Мартын усовершенствовал способность свою до того, что мог исполнять свои обязанности не просыпаясь, но только не всегда с должной точностью. Так однажды, в другой раз, воротившись поздно домой, Хлыщов увидал, что бумаги и книги с письменного стола преаккуратно были уложены на постель его, а на письменном столе положены были простыня, подушка и одеяло — обстоятельство, чрезвычайно удивившее и рассердившее Хлыщова. Понемногу Мартын стал засыпаться до того, что терял всякое сознание о месте, о времени, о вещах. Так однажды, желая достать огня, он целый час шаркал об печку железным гвоздем, вместо спички, пока наконец рассерженный Хлыщов не выбежал и не образумил его. Теперь понятно, почему Хлыщов, желая попасть в свою квартиру, в некоторых случаях должен был подавать Мартыну голос,— и рассказ может продолжаться.

— Сюда, сюда! — кричал Хлыщов, нетерпеливо стуча.— Видно, опять спячка нашла!

Когда дверь отворилась, первым делом Хлыщова было задуть страшно нагоревшую и оплывшую свечу, бывшую в руках Мартына. Верная собака, узнав голос своего хозяина, с лаской кинулась ему встречу, но он гневно оттолкнул ее — в первый раз в жизни — и быстро пробежал в самую крайнюю из трех своих комнат.

— Мартын! подай мне огня и воды! воды умываться! — кричал Хлыщов, затворяя дверь.— Не лезь сюда! — прибавил он, когда Мартын подошел к двери с зажженной свечой.— Подавай!

Он приотворил дверь, просунул руку (покрытую перчаткой) и, отвернувшись, принял свечку. Когда таким же образом был ему передан кувшин с водой, он запер дверь на ключ, взял свечку и подошел к небольшому зеркалу, висевшему в простенке. Большое зеркало находилось в соседней комнате, но он не смел туда показаться.

Удовлетворив естественному желанию увидеть, как и чем выпачкали его мрачные гиганты, герой наш горько и язвительно усмехнулся.

То была знаменитая новоизобретенная темно-зеленая краска, которою так славилось красильное заведение г-д Дирлинг и К⁰! та самая краска, с которою у Хлыщова связано было столько блестящих и нежных надежд, та самая, превосходными качествами которой и теперь представлял полную возможность любоваться перекрашенный шарф, облекавший шею нашего героя!

Сдернув с шеи и отбросив с негодованием темно-зеленый шарф, в одну минуту ставший ему ненавистным, Хлыщов еще раз посмотрелся.

— Фу, как неблаговидно! — невольно проговорил он и стал поспешно мыть руки, которые были так же зелены, как и шарф, как и фуляр, как и пальто Мартына, как и все почти их вещи, как и самое лицо Хлыщова...

Но краска не сходит с рук. Хлыщов попробовал мыть лицо — не сходит с лица! С новым жаром принимается он мыть лицо и руки, требует еще воды, пробует то одно, то другое мыло, превосходные качества которых ему хорошо известны,— смотрится в зеркало...

— Нет, краска не сошла!

Он снова моет, снова трет лицо мылом так, что больно и рукам и лицу, пробует тереть духами, одеколоном, даже черным зубным порошком... смотрится в зеркало...

Лицо все так же зелено,— зелено, как все остальное, к чему прикасалось превосходное изобретение господ Дирлинг к К^{0}! Только мыло придало ему глянцевитость, лоск, которого не имели в такой степени ни шарф, ни фуляр, ни пальто, ни другие вещи, подвергшиеся перекраске!

Он вспомнил зеленые бронзовые головы, привлекавшие некогда толпу зрителей, а в том числе и его, к фокуснику Родольфу и говорившие, по требованию посетителей, сиплым, таинственным шепотом,— вспомнил и снова горько, горько усмехнулся.

В самом деле, сходство его собственной головы с вышереченными (которые назывались, кажется, мнемоническими) было изумительно. Только белизна ушей и местами полоски настоящей кожи, пощаженные гибельною кистью, нарушали гармонию целого, которому ничего подобного не видано еще было в природе!

Долго еще пытался Хлыщов смыть ненавистную краску, но превосходное изобретение господ Дирлинг и К^{0} так плотно впилось ему в кожу, что и признаков успеха не было!

— Мартын! мне ничего не нужно. Можешь ложиться спать, а сюда не ходи! — крикнул он наконец и лег, в совершенном изнеможении.

Как провел он ночь, какие опасения, какие упреки совести мучили его в течение долгих бессонных часов, как честил он самого себя — не будем описывать. В то же время, когда он возился с водой и с мылом, пытливый Мартын находился, в свою очередь, в страшной тревоге. Надо заметить, что только третьего дня у соседа их, приезжего купца, случилась покража — обстоятельство, задавшее в свое время воображению Мартына немалую работу. С того дня мысль о возможности подобного несчастья не покидала его. И вот теперь вдруг приходит барин не барин,— требует огня, запирается в комнате, не пускает его к себе, не показывается, толкает собаку... Уж нет ли тут чего? Уж барин ли, полно, там? Конечно, голос его, но голоса бывают всякие... Что́, если злодей какой? если вор? Выспавшись

в течение дня и вечера напропалую, Мартын не мог заснуть, перевертывая в уме страшную мысль. Усиливаясь решить трудный вопрос, он обращался с ним, по своему обыкновению, даже к Прометею; но и тот, оскорбленный неучтивым поступком своего господина, был угрюмее обыкновенного и хранил величавую неподвижность. Несколько раз Мартын уже покушался пойти посмотреть, но решительное приказание барина останавливало его... Положение его было ужасно! В промежутках легкого сна ему уже чудилось, что их обокрали, утащили все господское платье, утащили и его превосходную зеленую пару, которая была совсем как новая и которою рассчитывал он сильно блеснуть в Петербурге. Последнее обстоятельство его страшно озабочивало, и он только тогда успокоился, когда посмотрел, пересчитал и перепрятал свои зеленые пожитки. Посреди самых мучительных и жарких опасений послышался ему громкий голос Хлыщова:

— Мартын! поди найми мне карету!

Он открыл глаза. Был уже день.

«Нет, его, точно его голос!» — подумал он и, прокричав: — Сейчас! — пошел тихонько в комнаты.

— Не ходи сюда, не ходи! — закричал Хлыщов.— Ступай скорей за каретой!

— Куда прикажете нанимать?

— В баню ряди.

— Извольте запереть дверь,— проговорил Мартын, твердо уверенный, что теперь наконец уже Хлыщов выйдет и покажется.

— Хорошо, я запру! ты ступай и скажи, как пойдешь!

— Иду-с! — прокричал, одевшись, Мартын и приостановился.

Хлыщов подождал минуту.

— Ушел? — спросил он, подходя к своей двери.

— Иду! — отвечал, испугавшись, Мартын и поспешно вышел.

Вышел наконец и Хлыщов. Утро было ясное, солнце светило прямо в окна, и зеленое лицо нашего героя лоснилось и блестело под его лучами, как листы исполинского дерева.

Когда он отворил дверь в прихожую, торопясь поскорей запереться, чтоб кто не вошел,— собака радост-

но кинулась к нему; но вдруг она отскочила, окинула его свирепым взглядом, заурчала и наконц принялась лаять самым громким отрывистым басом, зверски оскаливая свои большие белые клыки.

Невыносимое уныние овладело нашим героем.

— Прометей, Прометей! Прометеюшка! — говорил Хлыщов самым ласковым голосом.— Перестань... Разве ты меня не узнал?

— Гам, гам, гам! — прыгая и ощетиниваясь, отвечала собака, и лай ее был такого свойства, что герою нашему ясно слышалось в нем:

— Не узнал, не узнал, не узнал,— да и знать не хочу!

«Даже и она не узнает»,— тоскливо подумал несчастный.

Собака продолжала лаять, и попытки его усмирить ее оставались напрасными. Бешенство наконец овладело им. Он прибил глупое животное, подошел к двери, повернул ключи и скорым шагом ушел в кабинет, предупреждая движение собаки, которая с громким лаем покушалась пробраться за ним.

Долго еще лаяла собака, пока Хлыщов рассматривал свое лицо в большое зеркало. Ничего нового не увидал он: оно было зелено, зелено так же, как вчера, еще, может быть, зеленее, и солнечные лучи, сообщавшие ему неприятный лоск, страшно бесили нашего несчастного героя...

Послышался стук в дверь... Хлыщов переменился в лице... Нет, подобного события, слишком желанного, не могло быть... Хлыщов просто испугался. Тут только увидал он, что сделал глупость, не приказав самому человеку запереть дверь и взять ключ.

«Вот теперь увидит!..— подумал он с ужасом,— развесив уши, станет тоже смеяться, пожалуй... разболтает... да еще если не он, а кто-нибудь другой?..»

И дрожь пробежала по его телу. Он не сообразил, что было еще слишком рано, чтоб мог прийти посторонний.

— Мартын, ты? — спросил он нетвердым голосом.

— Я-с, извольте отпереть.

«Ну, все равно, надо же будет...» — подумал Хлыщов и отправился в прихожую.

Собака опять залаяла. Хлыщов опять толкнул ее. Когда он отпер дверь и Мартын (одетый весь в зеленое) увидал его, трудно сказать, какое чувство сильнее овладело Мартыном: испуг ли, радость, недоумение? Верней, что все они охватили его в равной степени и выразились наконец в самом глупом, неопределенном хохоте, как основательно и предвидел Хлыщов, знавший хорошо натуру своего камердинера.

— Ну, чего смеешься! — сердито сказал Хлыщов.— Разве не случалось видеть? Ну, шел, мимо... плеснули... вдруг... нечаянно... прямо в лицо... плеснули... Вот! — заключил он, возвышая голос.— Ты смотри не болтай; если я узнаю, что ты хоть пикнешь...

— Как можно! — перебил Мартын.— Да вы бы, сударь, вымылись.

— Ну, вот и еду мыться. Смотри же, ни слова. Если кто придет, говори: дома нет. А если Степан Матвеич, скажи, не извольте, дескать, беспокоиться: сами обещали быть.

— Слушаю-с.

Одевшись и спрятав все лицо шинелью и шапкой, Хлыщов сел в карету и отправился в баню.

IX

Описывать ли подробно дальнейшие попытки Хлыщова, увы! так же неудачные, как и первая! Взяв особую комнату, он, разумеется, употреблял все усилия возвратить своему лицу настоящий цвет: мыл его и кипятком и холодной водой, тер и простым и греческим мылом, даже пробовал парить веником, раскалив каменку так, что в нумере его трудно было дышать. Видя бесполезность своих усилий, он наконец решился прибегнуть к банщику, надеясь, что постоянные упражнения внушат ему какие-нибудь новые и лучшие средства. И здесь первым делом нового лица, увидевшего *зеленого человека*, было, разумеется, расхохотаться глупейшим образом, к крайнему неудовольствию Хлыщова; потом пошли глупые и докучные расспросы. Потом бледный и даже (к удовольствию Хлыщова) зеленоватый малый рассказал ему несколько глупых чисто банных анекдотов о том, как у них отмывали раз двух чер-

номазых, должно быть, арапов, а другой раз африканца, и в заключение объявил, что смысть краску совершенно пустое, минутное дело. Обрадованный Хлыщов предался ему с полным доверием. Малый принес разной смеси, тер, мазал, пачкал, даже скоблил ножом его лицо и, наконец, исцарапав, объявил, что ничего сделать не может, что цвет Хлыщова, должно быть, природный, как у тех арапов, которыми их в прошлом году надули, поручивши отмыть.

— А вот,— прибавил он,— есть у нас... ходит часто сюда один персиянин, он все разными составами торгует, усы ли, бороду, волосы окрасить,— вот он так выведет непременно!

Несчастный хватается и за соломинку. Хлыщов велел привести и персиянина; тот тоже долго возился с его лицом, много пачкал, много тер, а окончилось всетаки тем, что с Хлыщова взяли препорядочный куш совершенно даром: он возвратился домой таким же зеленым человеком, каким поехал!

Тогда овладело им совершенное отчаяние. Уткнув зеленое лицо в подушку, лежал он как мертвый, не шевелясь и не издавая звука. Что́ ему было делать? Безобразие угрожало остаться надолго. Блестящая партия гибнет. Послезавтра — свадьба, а он... с какими глазами, с каким лицом покажется он к своей невесте? Нет, нет, она не увидит его таким... и никто не увидит!

И несчастный снова подтверждает Мартыну приказание никого не принимать!

«Ведь бывают же такие оказии! — думает он.— И надо же, чтобы попалась именно такая проклятая краска! Сколько раз случалось,— купишь вещь — в день, в два полиняет... а тут как нарочно: честность одолела!»

Он вспомнил красноречивое объявление г-д Дирлинг и К⁰, вспомнил зловещие слова красильщицы, наивно предлагавшей ему «попробовать» зеленую краску, и новый ужас охватил его, новые проклятия закипели в груди.

«Неужели она точно никогда не линяет?» — мучительно думал он, припоминая слова рокового объявления.

Весь день Мартын ходил около него на цыпочках; предлагал покушать, докладывал, что присылали от



Н. А. Некрасов. *1856.*



Дом-музей Н. А. Некрасова в Карабихе.

Черновой автограф одного из фрагментов стихотворения «Поэт и гражданин». *1856*.

Раструбиных, докладывал, что приходил сам Степан Матвеич,— Хлыщов не сказал ни слова! Жаль его было Мартыну: в мудрой голове своей переворачивал он разные способы, как поправить дело, даже был у него один способ верный, самый верный, но только он не смел сообщить его Хлыщову. Наконец сожаление взяло верх над страхом. Поставив, по приказанию барина, перед его кроватью стакан воды, он долго переминался с ноги на ногу и наконец сказал:

— Ах, сударь, как посмотрю я на вас... Вот вы изволите лежать, а проклятая все больше и больше впивается в кожу... после ее ничем не выскребешь...

— Ну, не твое дело! — сердито пробормотал Хлыщов.

— Сам знаю, что не мое,— отвечал Мартын.— Да ведь как подумаю, так просто плакать хочется. Вы попробуйте...

— Да уж пробовал, все пробовал,— перебил Хлыщов, тронутый участием камердинера и чувствуя наконец потребность вылить перед кем-нибудь свое горе, так долго сдерживаемое.— Уж каких средств ни употреблял: нет толку, только еще хуже...

— А вот я так знаю средство,— сказал Мартын.

— Как, ты знаешь средство? — воскликнул с живостью Хлыщов и вскочил, причем Мартын вторично увидал его зеленое, исцарапанное лицо.— И чего ты нарядился весь в зеленое! — прибавил сердито Хлыщов, осматривая его с отвращением,— разве не можешь другого платья надеть?

«Сам одел, а теперь сердится!» — подумал Мартын, пожимая плечами.— Да не могу-с: кроме старого сертука, все перекрасили...

— Ну, ну, пошел рассказывать,— перебил Хлыщов,— заговорил про средство, так про средство и говори; какое же средство?

— Вот видите, сударь... только вы не извольте сердиться... давеча в лавочке... так зашел разговор...

— Как? ты уж разболтал в лавочке?

— Как можно! я — ни-ни! А была тут старуха одна, старая-престарая. Вот про нее все говорят, что она все недуги, и заговоры, и порчу какую угодно выводит. Так и зовут ее — знахаркой.

Порасспросив еще, Хлыщов дал Мартыну позволение привести знахарку. Обрадованный Мартын духом доставил ее.

— С нами крестная сила! — проговорила протяжно костлявая беззубая старуха, увидав лицо Хлыщова, — сроду такого наваждения не привидывала. Испортили голубчика, сейчас вижу, злые люди испортили...

— Выведешь?

— Выведу, батюшка, выведу. Отчего не вывести? Только ты вот вели чашечку масла деревянного, да ложечку меду, да четверть фунта ладану росного...

Накупили разных снадобий, по требованию старухи, и она приступила к делу. Но роковая краска, к чести превосходного заведения гг. Дирлинг и К°, устояла даже против усилий знахарки!

После долгих пачканий, нашептываний и заговоров старуха наконец покачала задумчиво головой и сказала:

— Ни-ни, ничто не берет! Видно, уж подождать придется голубчику моему. Оно сойдет, само собой сойдет... Ты вот только потерпи: уж и недолго... дело к зиме... ох, к зиме идет! Знаешь, как первый снежок выпадет, ты первым-то снежком возьми да и умойся: оно сейчас как рукой снимет!

Измученный и взбешенный Хлыщов приказал выгнать глупую старуху, разбранил Мартына и снова упал в подушки своим несчастным зеленым лицом, вытерпевшим в короткое время столько страшных пыток.

Опять тихо и медленно потянулось время. Хлыщов молчал, даже не шевелился, испуская только по временам глубокие вздохи. Он все думал, что ему делать, как ему быть, и наконец решил, что всего лучше написать письмо к Раструбину и просить отсрочки. Но под каким предлогом? Содержание письма составляло предмет постоянных размышлений его в течение целой ночи. К утру оно было написано и сдано Мартыну с приказанием тотчас отнести. Затем Хлыщов заснул и проспал до двенадцати часов.

— Мартын! принеси мне чего-нибудь есть! — были первые слова его при пробуждении.

Он страшно проголодался.

— Чего прикажете?

— Бифштексу. А дверь запри и ключ возьми с собой.

Тотчас, как ушел Мартын, в дверь стали сильно стучаться. Хлыщов притаился и лежал, ни жив ни мертв; стук продолжался все громче и настойчивее. Предчувствие не обмануло его: в двери ломился Раструбин...

«Ну, быть беде!» — подумал Хлыщов.

И действительно, Раструбин поймал Мартына у двери, уличил, по бифштексу, что барин дома, и ворвался в прихожую.

— Леонард Лукич! Леонард Лукич! — кричал старик, входя в комнату, где находился Хлыщов.— Скажите, что́ с вами случилось? Шутите вы?

Хлыщов лежал, спрятав голову в подушку, и молчал.

— Или недовольны вы чем? — продолжал старик, усаживаясь подле него,— скажите откровенно... вы нас перепугали!

Хлыщов молчал.

— Ну, так — недоволен! Да чем же, ради бога, чем?

— Ох, нет,— глухо простонал Хлыщов,— как можно! Я столько обязан.

— Так что же? Отчего вы вдруг не хотите жениться?

— Не могу... покуда не могу.

— Да почему же?

— Отложите, Степан Матвеич, отложите только. Я болен.

— Болен? Ну, уж нет, плохо верится: а бифштекс?.. Ха, ха, ха! Полно шутить, почтеннейший!

— Я не шучу...

— Ну, а если нездоровится — так что ж — пиявочек! Да что с вами? Что вы лежите и лица не кажете?

Хлыщов молчал.

— Послушайте,— сказал старик, начиная терять терпение,— так не шутят... вы присватались к благородной девушке... дочери благородных родителей... получили согласие, назначена свадьба, родные повещены... и вдруг вы... знаете ли, что так благородные люди не делают, что так шутить честью девицы нельзя, что у ней есть защитники...

Старик горячился, Хлыщов молчал, не оборачиваясь и даже не шевелясь, и только испуская по временам глубокие вздохи.

— Что теперь будут говорить в городе? Ведь уж все знают, что вы жених, завтра назначена свадьба. Что ж вы молчите... Нет, молчаньем не отделаетесь!

— Не могу,— простонал Хлыщов.

Долго еще горячился старик, упрекал, грозил. Наконец слезы прошибли его; он переменил тон, стал просить, заклинать именем своих седин, честью дочери...

— И какая причина могла вас понудить переменить намерение? — со слезами говорил он.— Приданого, что ли, мало кажется? Ведь я только шутил, я шутил, Леонард Лукич: ведь дам ей не двести ассигнациями, а шестьдесят пять тысяч серебром. И, кроме того, ей же и дом в Мясницкой... я вам готовил сюрприз...

Хлыщов испустил глубокий, раздирающий стон.

— Что ж, женитесь?

— Не могу.

— Не могу! не могу! Да почему же не можете! Подумайте, что с ней будет... Я колени перед вами готов преклонить.

Старик рыдал и несвязными, прерывистыми словами продолжал умолять. Хлыщов не мог выносить долее.

— Да как же я могу, посудите сами, жениться на вашей дочери? — воскликнул он вдруг, вскочив совершенно неожиданно и показывая ему свое зеленое, лоснящееся, исцарапанное лицо.

Старик остолбенел. Превосходное изобретение гг. Дирлинг и К°, при всех своих несомненных достоинствах, конечно, никогда не производило такого страшного, убийственного эффекта, как в настоящую минуту!

Когда Хлыщов описал старику свое несчастие, сказав, разумеется, что попался совершенно невинно и нечаянно, вместо ускользнувшего приятеля, которому — что́ делать, оплошность! — помогал в интрижке с красильщицей, старик кинулся обнимать его.

— Так только-то? — воскликнул он радостно,— так вы на нас не сердитесь? и приданым довольны?

— Я никогда не смел и мечтать о другом счастии, как соединиться узами родства с таким достойным, благородным семейством.

— Ну так и горевать нечего,— заключил старик,— краску смыть, и конец!

— Я уж пробовал,— мрачно сказал Хлыщов и рассказал ему свои бесполезные попытки.

— Ничего, другое средство найдем! Вы говорите, краска новая, недавно изобретенная?

— Да.

— Ну, так они должны знать и противодействие!

— В самом деле! — радостно воскликнул Хлыщов,— я и не подумал!

— Мы их заставим. Я, слава богу, не первый год в Москве живу, имею связи. Мы заставим их,— заставим, да еще и проучим! не следует так оставлять.

— Зачем прибегать к таким мерам,— заметил Хлыщов, опасаясь, чтоб проделки его не вышли наружу,— дело пойдет в огласку, все-таки нехорошо, а лучше их припугнуть...

— И то правда,— сказал старик,— оно все-таки нехорошо, когда разнесется. Нечего терять времени! Ждите, а я сейчас приведу красильщика. Дирлинг, вы говорили?

— Дирлинг.

— Да и піявочек захвачу. Все-таки не худо. Они оттянут.

— Ну уж пиявки вряд ли помогут.

— Так, так! Вечно против пиявок! Ну, до свидания.

Старик ушел, а повеселевший Хлыщов позвал собаку и старался ее приучить к новому цвету своего лица. В полчаса удалось ему, с помощью остатков бифштекса и хлеба, дойти до того, что она уже не лаяла, а только урчала и скалилась, нечаянно заглядывая в лицо зеленого своего господина.

X

Представитель знаменитой фирмы Дирлинг и К°, находившийся налицо в Москве и носивший к фамилии своей прибавление: младший,— был сухой, высокий, угрюмый немец, много красивший ежедневно разных вещей, а носивший постоянно одну и ту же серую куртку с кожаным передником — в будни, и серый длинный сюртук — по праздникам. Отличительной чертой его характера была мрачная, сосредоточенная молчали-

вость, легко объясняемая удушливым воздухом мастерской, который достаточно было вдыхать в легкие и одним носом. Еще отличался он необыкновенной пунктуальностью во всех действиях. С лишком уже двадцать пять лет пил он водку ровно в девять часов, курил трубку в десять, в три и в одиннадцать, спать ложился в двенадцать. И ни разу еще не случалось, чтоб вошел он в свою мастерскую позднее осьми утра и оставил ее ранее двенадцати часов вечера, не будь даже вовсе работы. Потому Раструбину чрезвычайного труда, многих угроз и просьб стоило уговорить его отправиться с ним немедленно к Хлыщову.

Нет в мире художника, способного видеть равнодушно плод своей производительности. Следовательно, нисколько не удивительно, что первым чувством господина Дирлинга-младшего, когда зеленый наш герой явился ему во всем своем блеске, было удовольствие, ясно выразившееся в угрюмом его лице. Много представлялось ему случаев видеть утешительные доказательства превосходных свойств своего изобретения, которому не знал он равного в истории человеческих открытий, но такого резкого и оригинального примера еще не встречалось! Немец решительно был умилен.

— Как ловко забрал! — проговорил он, медленно-медленно осматривая лицо Хлыщова.— Вы, должно быть, много натирал и скоблил,— прибавил он, недовольный некоторыми неровностями в цвете, которых, по его соображению, не следовало ожидать при правильной просушке окрашенного предмета.

— Уж и мыл, и тер, и скоблил, так что измучился! — отвечал Хлыщов.— А все ничего не мог сделать. Вот как вы...

Немец самодовольно улыбнулся.

— Что ж, почтеннейший, видите, ваша помощь необходима,— сказал старик.— Сами настряпали, так теперь и расхлебывайте!

— Можете вы помочь? — тихо, с сильным биением сердца спросил Хлыщов.

Немец смотрел, смотрел, думал и наконец отвечал медленно и решительно:

— Никто не можно.

Хлыщов в отчаянии схватился за голову своими зелеными руками.

— Как нет? — запальчиво воскликнул старик.— Отчего нет? Нет, уж извините — вы не отделаетесь, краска ваше изобретение, и вы должны знать...

— Не горячитесь,— спокойно и мрачно отвечал г. Дирлинг-младший.— Краску изобрел не я, а мой брат, Франц Георг Дирлинг-старший. Чтоб вывести ее, надо составные части знать, а секрет у него: он поехал в Париж просить привилегию... Воротится будущей весной, тогда...

— Будущей весной!!!

Хлыщов вскрикнул, пораженный ужасом. Старик тоже, казалось, потерялся и отчаянно понурил голову. Минута была страшная, и собака, допущенная уже в комнату, довершила мрачный эффект. Напрасно думал Хлыщов, что она уже привыкла к нему. Точно, она старалась воздерживаться и лежала сначала смирно; но, всматриваясь с постоянным напряжением в его лицо, она понемногу начала щетиниться, вздрагивала, скалила зубы, наконец задрожала... и вдруг разразилась свирепейшим лаем, кинувшись с оскаленными зубами к своему несчастному хозяину!

— Уведи ее прочь, Мартын!.. Мартын! — кричал Хлыщов, зажимая уши.

Много угроз наговорил немцу Раструбин, убеждая его не упрямиться; но немец клялся, что ничего не может сделать. Видя, что угрозами его не проймешь, старик стал упрашивать, рассказал ему обстоятельства, при которых совершилось несчастное событие, унизился даже до лести, назвав заведение братьев Дирлинг и К° лучшим в Москве и похвалив в особенности их зеленое изобретение. Немец, очевидно, был тронут; чувство проглянуло в его угрюмом, неподвижном лице; но ответ его был все тот же:

— Не могу, подождите брата.

— А не поставить ли ему пиявок? — спросил вдруг старик, как будто озаренный светлой мыслию.

Немец подумал.

— Ах! Степан Матвеич, вы все с пиявками!

— Нет, пиявка не поможет.

— Ну так что же? Что же? — тоскливо приставал к г-ну Дирлингу старик.

— Пожалуй... если уж хотите,— сказал немец, ви-

димо искавший в голове своей способ помочь горю.— Пожалуй, попробовать...

— Что? — кидаясь к нему, спросил Хлыщов.

— Мое думанье,— нерешительно проговорил немец, взвешивая каждое слово,— мое думанье: пробуем перекрасить!

Старик взбесился.

— Что? перекрасить! Моего зятя перекрасить! Вы еще вздумали шутить?

— Я не шучу! — сердито отвечал немец; — а по вашей же просьбе предлагаю, как возможно! А не хотите, так мой почтенье!

И он хотел уйти и отворил уже дверь. Собака осторожно проскользнула в нее и тихо легла на полу. Хлыщов остановил немца.

— А в какой цвет? — спросил он тихо и кротко.

Дирлинг-младший подумал.

— В голубой можно.

— В голубой!

Хлыщов ударил своей зеленой рукой по зеленому лбу, при чем собаку видимо начала пробирать новая охота полаять.— В голубой! Хороша перемена!

— В голубой?!! — кричал старик.

— А не хотите в голубой,— отвечал немец,— так можно...

— Что?

— Можно оставить тот же цвет, только поразвести, сделать так — муаре...[1]

— Муаре!

Хлыщов вновь наградил себя ударом по зеленому лбу. Собака, подмечавшая каждое движение, не выдержала и подняла лай.

— Муаре! Муаре! — с отчаянием и негодованием повторял старик.— Муж моей дочери — муаре! прекрасно, благодарю... Нет, уж такие шутки...

— Я говорил вам, что я не шучу,— грубо возразил немец.— Нечего больше говорить,— продолжал он, уходя, и прибавил шепотом: «Пустой люд!»

Никто его не удерживал: старик в горячности ничего не видел, а Хлыщов справлялся с собакой, которая так рассвирепела, что чуть не искусала его. Немец так и ушел.

---

[1] С волнообразным отливом (от *франц.* moirê).

— Знаете что́, Степан Матвеич? — сказал Хлыщов, когда старик несколько успокоился.— Он говорил, что не знает составных частей, да ведь на то есть химики... а, как думаете? ведь они должны знать...

Старик одобрил его мысль, объявил, что у него есть даже знакомый знаменитый химик, и через час привез его. Визит химика был короток и также неутешителен. Осмотрев зеленого человека и отдав полную справедливость превосходным свойствам изобретения г-д Дирлинг и К⁰, он объявил, что состав краски новый, никому, кроме изобретателей, неизвестный, и потому сделать ничего невозможно, а лучше предоставить дело благодетельному действию времени.

Но к нему приставали: нельзя ли как-нибудь? чем-нибудь? сколько-нибудь? и тогда он сказал:

— Пожалуй, есть одно средство: можно попробовать. Но рыск, большой рыск... не советую! нельзя ручаться — глаза могут лопнуть.

С последним словом он ушел, оставив слушателей своих в глубоком ужасе.

Так кончились многочисленные попытки нашего героя уничтожить следы новоизобретенной привилегированной краски братьев Дирлинг и К⁰, не линяющей ни от воды, ни от солнца и сохранявшей навсегда свой первоначальный, густо-зеленый цвет с бронзовым отливом.

XI

Какого бы рода впечатление ни производили странные и горестные приключения зеленого человека, читатель не может не сознаться, что автор поступал с ним (разумей читателя, а не зеленого человека) великодушно. Многое, многое принесено в жертву краткости. Вовсе не развито внутреннее состояние героя со времени знаменитой окраски, бледно очерчен г-н Раструбин, еще бледнее г-н Дирлинг-младший, вовсе не очерчен характер химика, даже не приведено письмо героя к Раструбину... сколько поводов к упрекам со стороны строгого ценителя, сколько поводов к признательности со стороны простого читателя, любящего шутку, не переходящую известной границы! А как в виду в настоящем случае имеется читатель, а не строгий ценитель, име-

нуемый критиком, то автор решается быть до конца великодушным, почему и сожмет еще более последнюю главу своего рассказа.

Странные бывают истории, чрезвычайно странные и поразительные, но, к сожалению, разрешаются они всегда так, что рассказчику их под конец становится неловко, даже совестно. С горестию должны мы признаться, что дальнейшее развитие истории зеленого человека не представляет ничего особенного. Хлыщов, убитый окончательно последними попытками, преследуемый судьбой, обстоятельствами, угрызениями совести и даже собственной своей собакой, впал в отчаяние, близкое в помешательству. Раструбин еще крепился, но безнадежность прокрадывалась уже и в его сердце, к которому, думал он, смущенный его сильным биением, не минешь, никак не минешь приставить пиявок.

Единственной помехой к немедленному кровопусканию явилась новая, неожиданная надежда, вспыхнувшая в груди доброго старика. Ему казалось совершенно неправдоподобным, неестественным, чтоб злодей Дирлинг-младший не знал составных частей краски и не мог уничтожить ее. И он снова отправился к Дирлингу.

Он застал его перед целым котлом той самой жидкости, которая угрожала расстроить счастие его дочери. Г-н Дирлинг, покуривая коротенькую трубочку, систематически опускал в котел распоротые салопы, платья, шали, курточки и многое другое суконное, шерстяное, шелковое, желтое, красное, полосатое...

«И есть же дураки, которые позволяют пачкать свои вещи таким составом!» — думал Раструбин, глубоко ненавидевший уже зеленую краску.— Г-н Дирлинг! Я должен поговорить с вами без свидетелей!

Немец увел его в верхние комнаты. Там Раструбин объявил ему решительно, что будет жаловаться, поднимет процесс, если красильщик немедленно не поправит своего злодейского дела. Чтобы доказать законность своего вмешательства, он подробно раскрыл ему свои отношения к Хлыщову и объявил, что защищает в нем будущего своего зятя.

— Какой он вам зять! — с гневом воскликнул г. Дирлинг-младший, выслушав терпеливо его длинную речь.— Он низкий человек!

— Как, что такое? Вы смеете!..

— Да, низкий! Какой же другой станет чужую жену соблазнять, когда через день хотел идти под венец! Чего вам хлопотать...

— Да разве он?..

— А вы не знаете?

И г. Дирлинг-младший обстоятельно рассказал старику настоящую историю несчастного волокитства. В свидетели он представил даже свою жену, которая подробно и верно описала Хлыщова, по желанию старика, а в заключение принесла брошку, которую герой наш подарил ей, о чем мы забыли упомянуть.

— Я не хотела брать, а он оставил и ушел. Возьмите ее, мне не нужно!

Увидав брошку, старик не сомневался более. Он вспомнил, что дочери его хотелось иметь именно такую брошку и что герой наш вызвался купить ее. (Брошка изображала жука с золотыми точками и лапочками.) И догадка старика была справедлива: действительно, Хлыщов купил и нес брошку невесте, но, завернув к красильщице, не выдержал и навязал ей.

И вдруг вместо прежней ненависти старик почувствовал к превосходному изобретению г-д Дирлинг и К^0 такое глубокое расположение, что готов был перекрасить в зеленый цвет все свое имущество!

— Слава богу, что я в пору спохватился и не отдал дочери такому сорванцу! — воскликнул он, обнимая г-на Дирлинга-младшего и сожалея, что не может предложить своих объятий и г-ну Дирлингу-старшему, настоящему виновнику краски.— Ну, почтеннейший, извините! Напрасно вас осуждал: славно, славно вы сделали! Да неужели в самом деле краска ваша такая, что ничем уничтожить нельзя!

— Такая,— отвечал коротко и гордо немец.

— Ха! ха! ха!

Старик хохотал самым веселым и добродушным образом.

— Поделом, поделом ему! Пусть его повозится, пока кожа слезет и новая нарастет... Ха! ха! ха!

Он ушел, довольный и немцем, и собой, и красильщицей, а всего более превосходной краской г-д Дирлинг и К^0.

Но дома ждало его новое горе. Варюша, огорченная двухдневным отсутствием жениха, была грустна и желта, как воск. Когда отец объявил ей, что Хлыщов уже не жених ее, она упала в обморок. Напрасно потом старик обстоятельно рассказал ей низкий поступок Хлыщова, показал брошку, описал, даже преувеличил безобразие зеленого нашего героя: ветреная девушка, увлеченная рассказами о Петербурге, о блестящем родстве и знакомстве Хлыщова, об итальянской опере, ничего не хотела слышать и только кричала, что не пойдет ни за кого другого, что умрет, что не может жить без Хлыщова...

— Но ведь он уж теперь не такой, как был,— возражал старик,— совсем не такой: душа у него, как открылось, черная, а лицо... лицо зеленое, зеленое как арбуз... ха, ха, ха!

Варюша продолжала рыдать. Старик думал уж поставить ей пиявки; но вдруг ему пришло в голову другое лекарство.

— Хорошо же! — сказал он,— вот ты его увидишь, только уж смотри: понравится ли, нет ли — выходи! Я уж не посмотрю... ха, ха, ха!

Он ушел.

— Дома Леонард Лукич?

— Дома-с.

— Что делают?

— Да что-с? Изволют мыться. Мыло новое купили, с золой смешали.

— Ну, что ж?

— Да плохо-с.

Хлыщов сидел перед зеркалом. Зеленые щеки его были намылены. Он тер их щеточкой, какою чистят ногти. Против него стоял его дагерротипный портрет, снятый еще до рокового события. Несчастный по временам сличал — увы! разница была непомерная.

— Ну, любезный Леонард Лукич,— сказал Раструбин, входя к нему, самым дружелюбным голосом.— Свадьбу я отложил; насилу уговорил и уладил. Так теперь другая беда, дочь в отчаянии; непременно хочет вас видеть. Он, видно, говорит, умер.

— Как же мне?.. Сами посудите.

— Ничего. Я уж немного их, знаете, приготовил. Надо, надо... поверьте, ничего.

— Но благоразумно ли будет, в таком...

— Что лицо! Сами знаете, когда искренно любишь... притом дело все-таки преходящее: ну, увидит так, увидит потом и иначе: вот каким молодцом!

Он щелкнул по дагерротипу.

— Увольте, Степан Матвеич,— сказал умоляющим голосом зеленый человек.— Уладьте как-нибудь.

— Невозможно, невозможно! пожалейте ее. Она вас так любит.

— Ну, пожалуй,— нерешительно сказал Хлыщов, тронутый последним замечанием.— Надобно же проститься. Только знаете, Степан Матвеич, нельзя ли так... в сумерки... и свеч не подавать.

— О, разумеется, разумеется! просто по-домашнему. Вот теперь семь часов. Я пойду домой, а вы оденьтесь, да так в восемь и приходите.

— И никого чтоб посторонних.

— Разумеется. Ну, прощайте.

— Только уж вы приготовьте, пожалуйста. Расскажите.

— Рассказал уж... да, расскажу непременно, непременно!

Старик ушел, а Хлыщов принялся одеваться. Двухчасовые приготовления с дороги, когда он готовился явиться к невесте в первый раз и мучительно заботился о ничтожном красном пятнышке на носу, ничто в сравнении с теми усилиями, какие употреблял он теперь, чтобы придать благовидность своей особе. Но трудно было достигнуть успеха. Во-первых, лицо, нечего уж и говорить! а во-вторых, почти все платье его было перекрашено в зеленую окраску. Досадный зеленый цвет то и дело подвертывался.

— Ну вот! разве нет другого? — с негодованием воскликнул он, когда Мартын подсунул ему зеленый шарф.— Вечно глупости делаешь!

И невинный шарф полетел под стол.

Та же история повторилась с жилетом.

Повязав платок и выпустив полисоны, он посмотрелся в зеркало. Сочетание белого с зеленым сильно не понравилось ему, и в самом деле было нехорошо. Он спрятал воротнички — стало почти не лучше, но он оставил так.

— Ну, что? — спросил он, одевшись наконец совершенно, у Мартына.— Как: странно?

Он боялся употребить более точное выражение.

— Оно странно, точно странно! — отвечал Мартын.— Только ничего: цвет все же хороший!

— Хороший! — с горькой иронией повторил Хлыщов.— Ты, братец, правду говори: хуже такого цвета и не выдумаешь, так?

— Э, сударь! такие ли цвета прибирают в разных живописных обозрениях!

Посмотревшись еще раз, два и три в зеркало, выпустив снова и снова спрятав воротнички, обтянув зеленые руки перчатками (о! как ему хотелось сделать то же с лицом), Хлыщов сел в карету и поехал к Раструбиным.

«Просижу не больше пяти минут, а потом уж не покажусь, пока не сойдет»,— думал он.

Увы! он не предчувствовал, что визит его будет последним!

Жестоко, бесчеловечно поступил с ним хитрый старик. Как только прозвенел колокольчик, тронутый дрожащей рукой зеленого человека, гостиная г. Раструбина осветилась двумя лампами и целой дюжиной свеч. Несчастный вошел — и ноги его подкосились; он хотел воротиться, но старик самым дружелюбным образом обхватил рукой его шею и повлек свою жертву к середине комнаты.

— А, почтеннейший, почтеннейший! — кричал он.— Насилу дождались... ну, спасибо!.. жена, дочь! вот вам любезнейший наш Леонард Лукич. Как видите, и жив, и здоров, и красив. Ха, ха, ха!

И он подтащил его к дамам. Нечего и говорить, эффект был удивительный: превосходное изобретение гг. Дирлинг и К° и здесь, как всегда, с честью поддержало свою заслуженную славу, и даже, благодаря множеству свеч, блистательнее, чем когда-нибудь...

Поликсена Ираклиевна вскрикнула и совершенно безумными, дикими глазами впилась в зеленое лицо, искаженное признаками глубокого страдания. Варюша упала в обморок. Черненькие дети г. Раструбина прыгали вокруг Хлыщова с криками:

— Зеленый, зеленый, зеленый!

— Папенька!.. Степан Матвеевич!.. милостивый государь! Что вы со мной сделали? — глухим, полным удушающего страдания голосом произнес наконец Хлыщов, начиная догадываться о страшной истине.

— Ничего, ничего... ну, понятно, первое впечатление: ведь, почтеннейший мой, и вы, я думаю, в первый раз не без удивления увидали... ха, ха, ха!

— Я не о том говорю! — возразил обидчиво Хлыщов.— Кто не знает, что... что... несчастие, которое...

Он задыхался и не мог говорить.

— Сестрица, сестрица! посмотри: зеленый, какой зеленый! — кричали дети, тормоша сестру.— Ха, ха, ха!

Дети прыгали и хохотали.

Варюша взглянула: смех невинных малюток был заразителен — она тоже расхохоталась.

— Что, хорош твой жених, хорош? — воскликнул г. Раструбин.— Хочешь за него выйти? а? ха, ха, ха!

И он тоже расхохотался. Все хохотали. Соседние двери растворились. Появилось несколько лиц, более или менее знакомых Хлыщову. Хохот поднялся — *гомерический.*

— Пиявочек, пиявочек! — кричал старик.— Поверьте, самое лучшее средство, почтеннейший. Оно и тем хорошо, что кровь поусмирит — у вас она такая горячая. Ха, ха, ха!

— У нас в Персии,— говорила Поликсена Ираклиевна, сдерживая густой, певучий свой смех,— случается, красят волосы, красят и лицо, но цвет, цвет...

— Я никогда не думал,— заговорил ошеломленный Хлыщов,— чтоб несчастие достойно было такого... такого... (он не докончил своей мысли). Конечно, большое несчастие, но неужели... неужели одно лицо могло так изменить дружеское расположение... приязнь даже, можно сказать. Сколько видим примеров в истории... сколько было даже великих людей с телесными недостатками... но не одна же наружность?.. Кажется, прежде всего душевные качества, душа...

— Душа? — подхватил старик,— ха, ха, ха! знаем мы, какая у вас душа! А красильщица?

— Варвара Степановна! — воскликнул несчастный.— Неужели и вы?.. неужели те чувства, которые, можно сказать, соединяли наши сердца...

Она ничего не отвечала, но, продолжая хохотать, принесла брошку с изображением известного жука, показала ее несчастному и бросила...

Он все понял и испустил странный, раздирающий крик... Ему стало вдруг душно, невыносимо душно. Он рванулся из объятий Раструбина, которого рука все еще покоилась на его плечах, и побежал к двери.

Его проводили громким, всеобщим хохотом...

XII

Так кончились приключения Хлыщова. Он воротился в Петербург, и первый человек, попавшийся ему тут, был г. Турманов, ехавший в великолепной коляске.

«Видно, выиграл! — подумал Хлыщов.— Так в жизни: один отыграется, а другой попадет в такой лабет, в такой лабет, что, просто, хоть пропадай...»

С месяц не мог от никуда показаться. Наконец в исходе сентября в первый раз радость посетила его: собака узнала его,— и надо было видеть, в каком восторге она была! Еще через месяц следы краски были уже едва заметны. Его начали узнавать и люди. Гуляя раз в отдаленной улице (в многолюдные он не смел еще показываться), он встретил шедших под руку г. Турманова и того приятеля, к которому писал из Москвы известное читателю письмо.

— А! Хлыщов! Хлыщов! — кричали они,— насилу воротился!.. ну, что, женат?

— Нет,— отвечал он сухо.

— А что же?

— Да так... невеста не понравилась...

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

КУЗ(Ь)МА ПЕТРОВИЧЬ(Ъ) МИРОШЕВ. *Русская быль времен Екатерины II. В 4-х частях. Сочинение М. Загоскина. Москва. 1842.*

1842 год богат романами. Страшно перечесть! «Автомат», «Человек с высшим взглядом», «Эвелина де Вальероль», «Солнечный луч» (без последней части), «Идеальная красавица» (в «Библиотеке для чтения»), «Два призрака» и, наконец, «Мирошев» — всё романы! И все они вышли в 1842 году, который только еще начался. Семь романов в два месяца! Богатство, хоть бы и не в нашей тощей литературе! Как не порадоваться, как не понадеяться, что между ними есть чего почитать! Имена всё большею частию известные — *Калашников, Кукольник, барон Брамбеус, Загоскин!* Давайте, давайте сюда их произведения! Мы будем читать, будем наслаждаться, будем хвалить. И вот мы хватаемся за романы, развертываем их, разрезываем, читаем, читаем внимательно, терпеливо... и что ж?.. Один из них потчует нас чувствительными тирадами, от которых веет холодом и глушью сибирских снегов; другой, обещавший научить нас выйти в люди, выводит на свежую воду наше терпение; третий запутывает тысячу узлов, закидывает нашу память множеством происшествий, беспрестанно завлекает наше любопытство и очень редко его удовлетворяет, заставляет ждать чего-то необычайного и оканчивает роман тремя свадьбами, забыв о некоторых с умыслом закинутых намеках, которые не предсказывали подобной развязки; четвертый... но о четвертом, пятом и шестом в свое время; перейдем к седьмому, то есть к «Мирошеву».

Время Екатерины II! Как оно близко к нам и как оно полно для нас интереса! Частный быт, семейная

жизнь наших прадедов и прабабушек, дедов и бабушек, отцов и матерей наших! О, как это любопытно, как увлекательно! Десять лет жизни за частный быт их, за одно слово правды об них, об наших милых бабушках и достопочтенных дедушках! Где, где они? Покажите нам их скорее. Мы бросимся к ним на шею, мы расцелуем их или, правильнее, расцелуем страницы той книги, которая нам их нарисует... Моя бабушка, говорят, была хороша, как Эсмеральда, умна, как книга; она так хорошо пела, так искусно плясала и так мастерски водила за нос своих обожателей... Покажите, покажите мне ее. Покажите мне женщину того времени! Ваш дедушка, говорят, был человек важный, правил умами, заседал в сенате, был близок к императрице... Ах, пожалуйста, пожалуйста — скажите же, каков был он, какова была его частная жизнь, его привычки, страсти, наклонности! Нарисуйте нам государственного сановника того времени! Вы нас очень обяжете! Покажите нам наших дедушек и бабушек! Мы раскупим ваш роман в неделю и примемся читать его с жадностию. Начинаем. Сердце наше бьется, руки дрожат... что-то будет? Увидим, увидим!

Отец Мирошева был богат, но женился на княжне, которая вышла за него потому, что ей *нечего было есть*, и тем сделал себя несчастным на всю жизнь. Жена мучила его, разоряла и наконец довела и себя и его до нищеты, в которой они и померли. Кузьма Петрович, сын их, герой романа, был в то время из петербургского кадетского корпуса выпущен в офицеры и по сему случаю заказал себе мундир немецкому портному за сто рублей, за что дядька его Прохор сильно разгневался.

«Ах, батюшка-барин,— говорит он,— что это вы так опростоволосились! Легко вымолвить — сто рублей! Да этак он, разбойник, в три года каменные палаты выстроит... Да вы бы с ним хоть поторговались, сударь!

— Что ты, Прохор, ведь *немцы не торгуются*.

— Не торгуются! Полноте, батюшка Кузьма Петрович! Ну вестимо, с вами какой торг, что запросил, то и дасте. Нет, он меня бы попробовал. *Намнясь*, зашел я в *гамазею* купить банку помады. Немец просит гривну, а я ему грош. Он и говорить не хочет. Я посулил еще копейку да и вышел вон. Подождал — не зовет назад; вот я опять к нему.— Бери, мусье, пятак! — А он кричит по-своему: пошел вон! Я еще денежку надбавил, а он меня по шеям из лавки. Я повременил, да в третий раз к нему.— Хочешь, мусье, шесть копеек? — Он было опять гнать меня из

гамазеи, да нет — шутишь! Я уперся в притолоку, да и кричу — бери семь! Ну что ж, сударь? Ведь отдал за семь копеек!»

Прохор пошел к немцу и выторговал тридцать рублей. Кузьма Петрович оделся и начал служить. В Пруссии, куда пришел его полк, Прохор, по незнанию немецкого диалекта, выражался *чрезвычайно выразительною пантомимою*. Одному офицеру нужно было молока, но хозяин не понимал его и подавал то картофель, то пиво. Позвали на помощь Прохора:

«— Послушай, брат, швернот,— сказал он,— мой не надо бир, понимаешь — нихц бир!

— Вейн? — проговорил немец.

— И не вейн; нам не надо ни биру, ни вейну. Ты давай нам молока. Твой понимай — молока?

— Их ферштее них! — сказал немец, покачивая головою.

— Экой, швернот, бестолковый! Ну вот — смотри!

Тут Прохор *стал на четвереньки и заревел коровою*. Немец побежал и принес жареной говядины.

— Нихц, нихц! — закричал Кондратьич.— Эх, не знаю, как по ихнему-то молоко зовут. А вот постойте, разом поймет! Эй, хозяин, нам надо вот что — смотри!

Прохор стал на колени и *сделал вид, как будто бы доит корову*».

Подлинно чрезвычайно выразительная пантомима! Немец побежал в погреб и принес молока... Очень хорошо. Странно только, зачем Прохор, русский человек, говорит языком исковерканным на немецкий лад; разве острит, затейник! Нам кажется также, что он мог бы гораздо проще объясниться с хозяином: стоило только пойти вместе с ним в погреб и указать на молоко... Но тогда бы не было этой сцены, которая так остроумна, так оригинальна и так живо рисует нравы русских времен Екатерины II.

Больше в Пруссии никакого замечательного разговора не случилось. Мирошев вышел в отставку и отправился в Москву служить по статской службе. Вот они едут; на пути встречается им деревня, которая очень нравится Мирошеву; они в ней останавливаются отдохнуть. Прохор принимается есть, а Мирошев идет прогуляться по барскому саду. От слуги он узнает, что деревня недавно лишилась помещицы и в доме живет только ее воспитанница Марья Дмитриевна. Мирошев, осматривая дом, случайно увидел ее и — вы содрогае-

тесь! — влюбился. Он бродит около деревни, думая о своей страсти,— навстречу ему Прохор.

«— Каково, сударь, поместье?
— Прекрасное!
— Ну что, сударь, если б это поместье было наше?
— И полно, Прохор! охота тебе вздор говорить.
— Да почему же и не поговорить, Кузьма Петрович. Ведь от этого нашей казны не убудет. А что, батюшка, если б в самом деле эта деревня была ваша, ведь вы бы тогда уж не поехали в Москву искать себе места?
— *Помилуй, зачем?*
— Не правда ли, ведь от добра добра не ищут?
— Разумеется, я навсегда бы здесь остался!
— И были бы счастливы?
— О, совершенно счастлив!
— Так извольте же быть счастливы! — закричал таким нелепым голосом Кондратьич, что Мирошев вскочил с лавки».

Видите ли, какой сюрприз! Деревня принадлежала тетке Мирошева; тетка умерла, детей не оставила — стало быть, имение поступает ему... Все радуются, крестьяне поздравляют и кланяются в ноги. Но вот беда. Мирошев в комнате покойницы находит черновое завещание, писанное ее рукою, по которому выходит, что она хотела сделать наследницей свою воспитанницу. Вот оказия непредвиденная, поразительная до *невероятности!* Мирошев объявляет Марье Дмитревне, что она владетельница Хопровки, а не он. Тут начинается сцена, написанная по всем правилам десяти тысяч китайских церемоний. Она не берет имения, и он не берет; она говорит: «не надо»,— и он: «не надо»; он говорит: «я не умру с голоду: я пойду служить»; она отвечает: «и я не умру: я пойду в монастырь».

«— Как! — вскричал Мирошев: — вы хотите *покинуть мир?*
— Да для чего же я в нем останусь? Здесь я сирота, а там у меня будут и мать и сестры.
— Но кто же станет заботиться о счастье здешних крестьян? *и пр.*
— Вы, Кузьма Петрович. Это имение принадлежит вам.
— Следовательно, я имею право отдать его кому хочу.
— Только не мне... Ради бога, не мне!»

Тут следует длинная тирада, в которой нищая сирота до того убедительно доказывает, что ей не нужно имения, что автор невольно восклицает:

«Что же была Марья Дмитревна, когда, устремив на Мирошева свои *небесно-голубые* глаза, она просила у него как милости *дозволить ей остаться бедною сиротою*? О, в эту минуту она *не походила на существо земное! Ей недоставало только крыльев, чтобы быть ангелом небесным*».

В самом деле так; мы совершенно согласны с автором. Только... это очень старо: мы встречали это уже тысячу раз во всех чувствительных романах... Ну, да кто старое помянет, тому глаз вон! — Мирошев не выдержал.

«— Если вы не желаете,— сказал он, *заикаясь*,— владеть *одним* имением покойной моей тетушки, то согласитесь, по крайней мере, владеть им вместе со мною.

— Как вместе с вами?

— Да, Марья Дмитревна! Если вы хотите, чтоб я не отказался от этого наследства, то должны... вместе с ним... отдать мне вашу руку.— Больше этого Мирошев не мог сказать ничего потому, что язык его перестал двигаться».

Сирота, которой недоставало только крыльев, чтоб быть ангелом небесным, согласилась на брак. Когда совершилась свадьба, Мирошевы зашли на могилу своей тетки — и что же? Розовый куст, который посадила на ней Мария и который давным-давно засох и завял, теперь вдруг снова расцвел.

«— О, матушка, матушка! — закричала Мария, упав на могилу своей благодетельницы: — я понимаю тебя; *ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастию*».

Первой части конец.

Между первою и второю частию проходит восемнадцать лет, самое достаточное количество времени для того, чтоб вырастить новую героиню вместо той, которая уже вышла замуж. Авось вторая будет лучше первой! По обыкновению всех китайских романов, начинается тем, что семейство Мирошевых с гостями в один прекрасный вечер *пьет чай на открытом воздухе под столетним дубом, которого ветви осеняют счастливцев, подобно*... Но довольно, вы знаете остальное. Разговаривают о том, о сем, и между прочим о французской водке.

«— Да не угодно ли вам чаю-то с французской водкой?

— Как-с, с французской водкою-с?

— Да, ведь этак, я думаю, можно?

— То есть, изволите видеть, это уж будет не чай, а французская водка, разбавленная чаем?

— Разумеется!»

Варя влюблена, и влюблена, как следует всякой героине порядочного романа, в *Владимира*. И вот как она выражает страсть свою:

«О, я так долго скрывала эту тайну в душе моей! Я не смела поверить ее даже этим *деревьям*, не смела даже вслух одна, ночью сказать: *«Владимир! я люблю тебя!»* Пора уже облегчить мое сердце: оно все изныло. Слушай, Дуняша. Да, я люблю его. *Но эта любовь... О, как она ужасна!* Она не радость, не блаженство... Нет! это *ад со всеми его муками*. Когда меня ласкает отец и мать, *я ненавижу, презираю себя*. В ту самую минуту, когда я читаю в глазах их всю беспредельную любовь *к их дочери...* Я чувствую... Не гляди на меня, Дуняша! Да, *я чувствую, что я люблю его больше отца и матери»* и т. д.

И не подумайте, чтобы тем кончилось... Нет, она говорит еще две страницы сряду так же отборно, так же чувствительно! Преобразованная девица; видно, хорошо риторику знает и пиитике обучалась! Разлучник-отец услал Владимира в Воронеж, где у него есть невеста. О, горе Вареньке, о, горе читателям! Сколько слез, вздохов, сколько страниц сентиментальных! Вскоре какая-то Агриппина Вертлюгина, из ревности, ложно уведомляет Вареньку, что Владимир женился. Книга валится из рук! Ряд самых трогательных, самых плаксивых, самых *жалких* сцен, которых прочесть не станет никакого терпения, вытекает из рокового известия. Наконец Варя занемогла и была уже *на краю гроба;* вы ждете, что она умрет, что роман кончится. Вдруг приезжает какой-то доктор, привозит ей письмо от «него»; он верен, он ее любит! Она выздоравливает. Слава богу! Между тем по соседству живший управитель графа Р*** Курочкин сватал Вареньку за своего сына и получил отказ. Это его взбесило, и он подал просьбу на Мирошева, обвиняя его в неправильном владении землею. Документы на эту землю, говорит автор, сгорели, и Мирошев действительно их не имел. Таким образом Мирошевым угрожает неминуемая нищета. Кузьма Петрович сильно огорчился, отправился в Москву хлопотать по своему делу, и тем кончилась третия часть.

Дорогой Мирошев встречает старого приятеля Костоломова и вместе с ним приезжает в белокаменную. Он останавливается в Зарядье. Дело его идет плохо: какой-то подьячий брал с него деньги, опивал, объедал его, и впоследствии оказалось, что дело даже не у него в столе, а у другого, который объявляет, что оно решится не ранее, как через три месяца. Мирошев в отчаянии; тут же подоспела нужда; денег нет, есть нечего. Пришел Костоломов и повел его сбедать, не сказывая, куда именно. Приходят в богатый дом; стол накрыт на множество особ; везде серебро, хрусталь, фарфор; служат официанты, богато одетые. У стола толпится множество гостей, большею частию в мундирах. Ждут хозяина.

«Два ливрейные лакея растворили двери приемной залы; из внутренних комнат показалась большая толпа гостей, в числе которых много было генералов и знатных господ в богатых французских кафтанах. Впереди шел высокого росту сутуловатый старик, особенно замечательный по необычайной простоте и даже странности своего наряда. Наружность этого старика была весьма привлекательна: кротость, доброта и ум изображались во всех чертах худощавого лица его, а особливо в глазах и улыбке, исполненной неизъяснимой приятности. На нем не было никаких орденов, кроме андреевской звезды.

— Вот хозяин! — шепнул Костоломов Мирошеву».

Тут нет никакого волшебства. Русские бары в старину любили делиться своим богатством со всеми. У некоторых из них был так называемый *общий стол*, за которым мог обедать даром всякий порядочно одетый бедняк. За такой-то стол попал Мирошев. Подле него сидел какой-то молодой человек в драгунском мундире, который казался ему подозрителен. Когда обед кончался, Костоломов сказал Мирошеву, что хозяин дома — граф Р***, тот самый, с которым у него тяжба. Можете представить, в какое отчаяние пришел несчастный Кузьма Петрович! Он схватил шапку и побежал вон: в прихожей остановил его официант и спросил, как его фамилия. Мирошев побледнел, смутился и наконец, дав ответ, опрометью побежал на улицу. Хохот лакеев проводил его из прихожей. На другой день пришел какой-то человек и отдал Прохору сверток, в котором было завернуто одиннадцать серебряных ложек. Мирошев немало изумился странному подарку и, наконец, слу-

чайно узнал, что ложки присланы от графа Р*** по следующей причине. Когда Мирошев обедал у графа, с прибора его пропала ложка; по смущению, с каким он объявил свою фамилию, лакеи приняли его за вора и доложили о его поступке графу. Граф велел отнести ему остальные одиннадцать ложек, желая, чтоб у него была их полная дюжина. Итак, Мирошева почитают вором! Он унижен, убит; положение его ужасно. Костоломов берется помочь ему. Как нарочно, в тот же вечер он встречает Ваньку Каина, полицейского сыщика воров. На Каина напали три дюжие разбойника и хотели поколотить его, но Костоломов спас Каина. В благодарность он просит сыскать того, кто украл ложку. Ее украл тот самый подозрительный человек в драгунском мундире, который на обеде сидел рядом с Мирошевым; зовут вора Тришкой. Самая ложка найдена. Граф, желая загладить обиду, нечаянно нанесенную честному человеку, приглашает Мирошева к себе, извиняется, прекращает процесс и вдобавок дарит ему четыреста душ. Счастливый отец возвращается в свое семейство, и роман кончается благополучно.

Вот новое произведение г. Загоскина. Мы старались сколько можно короче ознакомить читателей с его содержанием; по крайней мере, можем уверить, что мы представили все главное... Ну, что же, читатели, узнаете ли вы тут своих дедушек и бабушек? Как вам нравится Мирошев, добродетельный, чувствительный чудак, который, получив пятьдесят душ, до того обрадовался, что бросил службу и прожил целый век бесполезно? Как вам нравится Варенька, которая выражается такими отборными фразами? Как нравится вам Марья Дмитревна, которой недостает только крыльев, чтоб сделаться ангелом небесным? Как вы находите Прохора, который с немцами объясняется чрезвычайно выразительною пантомимою? Типы, решительно типы! Какие же типы?.. А вот сейчас узнаете... Во многих романах есть *добродетельный резонер*, который говорит не иначе как нравственными сентенциями; есть *злодей-разлучник*, который силою своей железной воли разрушает благие начинания добра; есть *дева чудная*, которая вздыхает, плачет, говорит сентиментальную дичь и, наконец, умирает, произнося в последний раз заветное имя, или выздоравливает и выходит замуж. Есть

влюбленный юноша, который грезит только о ней, хочет стреляться, топиться, резаться и, наконец, сходит с ума или женится на своей возлюбленной. Все эти лица в главных чертах одинаково выводятся в романах, изменяясь только в подробностях, разнясь только частными оттенками. Соедините эти главные черты с изменяющимися подробностями в одно лицо, и выйдет тип добродетельного резонера, злодея-разлучника, девы чудной и т. д. Именно так сделано и в «Мирошеве». Вы не узнаете тут ваших бабушек и дедушек; вы узнаете тут только старых знакомцев, с которыми встречались в разных романах разных сочинителей и даже в «Рославле» и «Тоске по родине» того же автора. Как прежде, автор описывает вам странные костюмы, фигуры толстяков с лысинами, горбами и большими носами; действующие лица кстати и некстати разговаривают, часто только для того, чтоб сказать острое словцо; в патетических сценах они говорят *перерывающимся* или *задыхающимся* голосом; в решительные минуты произносят: *ах, всплеснув руками*. Первая часть туда и сюда; в четвертой также есть некоторое движение; но вторая и третья из рук вон скучны. Обе они состоят в описании любви Варвары к Владимиру и ссоры Мирошева с Курочкиным. Как хотите, а описывая так длинно подобные вещи, нельзя поддержать интереса, который едва, едва несколько возбуждается в начале второй части. Но пора кончить; найдутся, верно, такие люди, которые, прочитав роман, согласятся с нами, и будут, напротив, такие, которым он очень понравится; желаем, чтоб последних было как можно больше.

ОЧЕРКИ РУССКИХ НРАВОВ, ИЛИ ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА И ИЗНАНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА. *Сочинение Фаддея Булгарина. 1) Противоположности: Русская боярышня 1643 года и Русская барышня 1843 года 2) Извозчик-ночник. 3) Русская ресторация. Издание М. Ольхина. Санкт-Петербург. 1843. В тип. Э. Праца. В 4-ю д. л., 46 стр.*

Странное и плачевное зрелище представляет в настоящее время так называемая русская литература! Приглядевшись к ней хорошенько, нельзя не согласиться, что она с каждым днем падает более и более... Нач-

кем хоть с Москвы. В Москве совсем нет литературы; там выходит единственное ежемесячное издание, которое называется «Москвитянин» и относит себя к роду журналов; но неужели это в самом деле журнал?.. Если и журнал, то уж, конечно, не русский, а скорее всесловенский, потому что преимущественно наполняется материалами, служащими к раскрытию древнего славянского быта, на которые и обращено все внимание трудолюбивых его издателей. Означенные материалы дают «Москвитянину» полное право на название сборника славянской старины или, пожалуй, альманаха, но нельзя не согласиться, что большая часть условий, соединенных с современным понятием «журнала», или совершенно забыта издателями, или пренебрежена до крайности. Много ли еще явлений, которые, кроме альманаха, о котором мы говорим, давали бы <повод> подозревать, что в Москве существует литература? Обыкновенно к новому году издает роман г. Загоскин, где торжествует грубый, аляповатый комизм, основанный на необыкновенно длинных носах, толстых животах, сравниваемых с сороковыми бочками, лысых головах, огромных табакерках, поговорках лакеев, коверканье немцами русского языка и т. п. Вслед за г. Загоскиным издает роман замоскворецкий Вальтер Скотт, г. Воскресенский,— роман, наполненный лицами и происшествиями, возможными разве на луне, роман, в котором герой непременно или черкес, или разбойник, или, по крайней мере, мечтатель и поэт,— роман приторный, пошло-чувствительный, растянутый длинными отступлениями и обращениями к «почтеннейшим» читателям и «милым» читательницам,— обращениями, сквозь которые невольно проглядывает добродушное довольство автора самим собою... Вот и всё... Затем выступает ряд книг, производимых г. Федотом Кузмичевым и К^{0}, от которых сердце кровью обливается у всякого сколько-нибудь чувствительного к успехам родной литературы человека...

Немного больше московской представила в последнее время и петербургская литература. Кроме собрания сочинений Н. Гоголя, где есть несколько совершенно новых, истинно прекрасных произведений, кроме известных уже большею частью публике стихотворений Лермонтова, вышедших в трех частях,— на что указа-

ли бы мы, если б кто спросил нас: какие из новых книг сто̀ят того, чтоб заплатить за них деньги?.. Их нет, должны были бы отвечать мы. Униженно сознав свою немощность, отказавшись от благородных усилий обращать на себя внимание публики посредством самой себя, наша литература превратилась в торговый дом, в рынок, где казовым концом замысловато разложены гнилые товары для привлечения покупателей; она кинулась на мелочи и совершенно погрязла в них; она прибегает к картинкам, к роскоши типографской, к поразительно диким заглавиям, к пышным объявлениям, надевает шутовской колпак на людей некогда почетных, гонит за вдохновением старых, выписавшихся сочинителей в трактиры и харчевни, наконец, забыв и стыд и сан, пляшет пред публикою вприсядку,— и все для того, чтобы заставить публику бросить ей несколько грошей, которые сделались ее единственною целью, ее кумиром, ее губителями!.. Из всех изданий, выходящих отрывочно, на одно только можно указать как на достойное внимания и поощрения: мы разумеем добросовестный перевод Шекспира, предпринятый г. Кетчером в 1841 году и деятельно подвигающийся вперед. Все остальное, что мы разумеем под именем отрывочных изданий, состоит из картинок, более или менее удачных, и текста, насильно навязываемого сочинителями публике при картинках,— такого текста, которого без картинок публика не только не купила бы, но даже не взяла бы, если б сочинители сами платили ей за это... В<о> главе заготовителей означенного товара, то есть текста для картинок, красуется известный и опытный сочинитель г. Булгарин, и текст его, под названием, которое мы привели в начале статьи, приложенный к картинкам г. Тимма, есть одно из удивительнейших произведений отрывочной литературы. «Деньги» г. Балакирева-Полевого и «Физиология влюбленного» гг. Полякова и Фурмана — ничто в сравнении с новыми очерками г. Булгарина...

Трудно выразить, до какой степени вяло, мертво, жалко то, что с явным и тяжким напряжением насильственно вытянул г. Булгарин к картинкам из своего воображения... Самый жаркий поклонник его,— если только у него есть еще жаркие поклонники,— не нашел бы в новых его очерках искры одушевления, тени мыс-

ли... Кажется, видишь, читая «Очерки», как сочинитель ходил, по русской пословице, за каждым словом в карман, подбирая словечко к словечку и широко зевая за своей мозаикой. Картины бледные, безжизненные, как небо от земли далеки от действительности; веселость старческая, мешковатая, любезность ребяческая, остроумие натянутое, тяжелое, аляповатое, наконец жалкие и забавные похвалы самому себе и слабые, бессильные придирки к тем, кого он почитает своими врагами,— вот элементы, из которых состоит новое произведение г. Булгарина.

На стран. 41 статьею «Русская ресторация» г. Булгарин вводит читателя в грязную и сальную харчевню, где происходит следующий разговор:

«— А что, господа! — сказал один из гостей,— читали ли вы последнюю книжку *Отечественных записок*? — Прекрасная *философия*, преважная статья! — А ты понимаешь философию? — Как же! нас учили в семинарии, только не доучили... Абсолют есть *ничто*, а в ничто *все*!.. Удивительно, как учено и высоко! — Это что-то походит на мой карман! — возразил другой.— Выпьем же *травничку* за философию и ученость.— Выпьем.— И опять выпили.— А уж критика — чудо! — примолвил первый гость,— всем сестрам по серьгам!.. Я особенно радуюсь, что досталось порядком этому Ф. Б.! — Да разве он написал что-нибудь новое? — Нет, да ведь он там всегда *на наковальне*... написал или не написал, все равно, отдувайся и за себя и за других!.. Спасибо за то *Отечественным запискам*! — Да за что ты так не любишь Ф. Б.? — Как его не ненавидеть!.. Ведь он литературными своими трудами заработал себе деревеньку!..»

Не считая нужным защищаться против того, что говорят об «Отечественных записках» в трактирах герои *травничка* и *перцовки*, мы заметим только, что гнев г. Булгарина на «Отечественные записки», к ужасу нашему, с часу на час возрастает. Что бы ни написал г. Булгарин, куда бы ни перенес действия своего «сочинения», о чем бы ни заговорил он с<о> своими читателями,— «Отечественные записки» тут как тут. Г. Булгарину не пишется, пока дело не дойдет до «Отеч. записок»... Невольно повторишь вместе с г. Булгариным пословицу: «Что у кого болит, тот о том и говорит!..»

Картинки г. *Васи* (так под ними подписано) Тимма, для которых г. Булгарин составил столь вялый, плохой текст, стоили бы лучшей участи. Впрочем, одной из них мы хорошенько не понимаем. На ней изображен

господин весьма подозрительной наружности, в бекеше, в картузе, и рядом с ним извозчик: не разберешь — извозчик ли у г-на подозрительной наружности просит денег или господин подозрительной наружности у извозчика. Что за охота рисовать такие отталкивающие физиономии, и притом в очерках *русских* нравов!..

НОВОСЕЛЬЕ, *часть третья. Санкт-Петербург. 1846. Издание Александра Смирдина. В 8-ю д. л., 506 стр.*

У меня есть приятель, которого я уважаю от души. Не заботясь о том, что волнует людей, он только думает об обеде. Обед у него всегда удивительный; обедают обыкновенно девять человек; десятым бы он родного отца не пустил. Как-то на днях я у него обедал. Тут был и англоман Ч., и ученый С., и вечно веселый Б., и алхимик О., и художник Г., и литератор С., и ветеран петербургских гастрономов, мудрец по учености, художник по влечению, тот, чья душа забыла состареться с годами. Об обеде и говорить нечего — хозяин был доволен. После обеда развалились по разным кушеткам и креслам и закурили; но скоро собеседники мои разошлись; кого увлек преферанс, кого бильярд. Я остался один. Оставшись один, сам не знаю отчего вспомнил я об милой княжне и начал об ней думать. Я не влюблен в нее; она княжна древнего рода, мать ее штатс-дама... вся петербургская знать ей сродни; у ней так много брильянтов, она так недоступно величава, так холодна и так богата. Я не влюблен в нее... я боюсь ее... мы с ней большие приятели, говорим, по обыкновению, о пустяках. До сих пор я до нее самой не добрался. Жизнь ее, мысли, чувства, душа — все это загадка... Мне иногда кажется, что в этой женщине должны быть два существа: одно ангел, другое кукла. Куклой она, может статься, старается быть. Но кто знает, найдется, может быть, человек, для которого она захочет быть ангелом... Бог знает куда бы унесли меня мои мечтания, если б не пришел хозяин и не стал звать меня на бал: «Может быть, вы и увидите там кого-нибудь... понимаете?..» — прибавил он, щуря левый глаз.

Я повиновался, и через несколько времени мы уже подъезжали к иллюминованному подъезду великолепного дома. Бал как бал. Кареты, кучера, цветы, ливреи, ковры, обнаженные плечи, люстры, мундиры и фраки. Душно, жарко. Я стал в уголку танцевальной залы, где танцы обращались в давку; недалеко от меня стояла княжна, бледная, с развитыми локонами. Она посмотрела на меня так, как никогда не смотрела. Я бросился к ней. Она танцевала с адъютантом, которого светская молва давно уже провозгласила ее женихом. Я знал его за эгоиста с приятной наружностью и вялой душой; я боялся его для княжны. Я притаился за ними и начал прислушиваться. Они говорили о любви, о супружестве. Он говорил, что женщина должна быть во всем свободна; что одно влечение сердца может быть ей законом; что муж не должен быть взыскателен, если только приличие соблюдено и свет не восстает и не злословит. Княжна отвечала с какой-то грустной покорностью. Мне стало холодно, я хотел бежать. Но кадриль кончилась; я взглянул на красавицу, и мне показалось, что она зовет меня, манит к себе ласковым, обворожительным взором. Я подошел и низко поклонился.

— Я, кажется,— сказала она едва внятно,— танцую с вами следующую.

— Если вы не забыли вашего обещания,— отвечал я, хотя и не думал ее ангажировать. Потом я стал бродить по гостиным. Куда я ни подходил, везде слышал разговор о свадьбе княжны с адъютантом. Не зная, что делать, я подошел к большой картине, висевшей на стене. Картина изображала Орлеанскую деву, в полном вооружении, перед образом; свеча, стоявшая на столе, освещала ее лицо; темные кудри вились по плечам... она молилась. Желая узнать имя живописца, я нагнулся ближе к рамке, уперся рукою в стену. Вдруг обои раздвинулись, и я увидел небольшую потаенную дверь. Как не заметил я ее! Куда ведет этот выход? Сердце мое стукнуло от предчувствия. Дверь тихо отворилась. Я вошел в маленькую комнату, обитую голубым штофом и слабо освещенную дрожащим сиянием алебастровой лампады. В углублении рисовалась знакомая мне тень и слышались рыдания. «Что с вами?» — закричал я и бросился вперед.— «Вы меня презираете?» — сказала она.



И. С. Тургенев, В. А. Соллогуб, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. И. Панаев. *«Русский художественный листок», 1857, № 34.*



Н. А. Некрасов. *Начало 1860-х годов.*

«— Неправда,— воскликнул я.

— Не извиняйтесь. Зачем? Иначе и быть не могло. Вы видели существо холодное, бездушное; вы приняли меня за то, чем я *должна* быть. Вы не виноваты. Однако мне жаль оставить вас в заблуждении. Выслушайте меня. Поймите меня, простите меня. Я никогда не была ребенком; я родилась в гостиной. Когда я еще была маленькая, меня уж наряжали и водили после обеда показывать гостям. Потом выучили меня танцевать и возили на детские балы, где я уже знакомилась с большим светом в маленьких размерах. Я плакала, когда другие дети были лучше моего одеты, когда я не танцевала с сыновьями важных и богатых отцов; я охорашивалась, вертела плечиками; я хотела уже нравиться; я смеялась над дурными экипажами, над старомодными платьями, над безобразием, над бедностию; я гнушалась всего, что не льстило моему самолюбию; я не умела еще любить, а уж умела презирать. За мной следила, как тень, французская гувернантка, которая заставляла меня держаться прямо, не говорить громко, не выражать моих мыслей и чувств, и бог знает чему учила меня, потому что сама ровно, кажется, ничего не знала. Поймите, что я вам говорю... Я никогда не была ребенком. Я не знала ни первых ласок, ни детской свободы, ни душевного простора при созерцании природы. В городе, на даче, я везде привыкала к шуму, к светским толкам, которые я сперва и не понимала, но в этих толках было что-то завлекательное, ядовитое, так что других уж и слушать не хотела. Мне развратили воображение, моим чувствам не дали хода, мне испортили рассудок. И поверите ли, во мне, право, было много *хорошего*... я, кажется, могла бы сделаться *хорошей* женщиной. Зачем родилась я наследницей богатого имения? Когда я стала заметно подрастать, меня вдруг заперли на несколько лет и стали выдерживать для вступления в свет. Меня от всех прятали, не позволяли никаких удовольствий, ни любимых моих балов, ни театра, ни даже гуляний по Невскому проспекту. Мне вдруг отказали во всем, к чему я привыкла. Вступление в свет сделалось для меня минутой освобождения от несносного затворничества. Я думаю, узник в темнице не ожидает так своего помилования, как я ожидала моего первого выезда. Наконец пришла пора. Меня нарядили в белое платье, сказали, что говорить и что слушать, кому приседать и кому не кланяться, словом, я готовилась к жизни, как актриса готовится к какой-нибудь роли. И приемы и слова — все было заготовлено, все было определено заранее».

Я узнал, что и она меня любит, но «нам должно расстаться,— сказала она,— меня выдают за человека, которого я ненавижу... Матушка, родные, свет — все, все против нас!»

— Все возможно! — воскликнул я пламенно.

«Нет,— говорила она... задыхаясь и как бы изнемогая от внутренней борьбы...— Нет... один против их всех!.. ты не можешь одолеть, ты погибнешь. Я не отдам тебя им... Нет... знаешь... лучше уж убежим... Убежим со мной на край света... подальше, по-

дальше, чтоб они не могли бежать нам в погоню... чтоб и следа они не могли найти, а то, я знаю, они нас воротят, и тогда они разорвут нас на части. Пойдем скорей... Умрем, если надо... Но умрем вместе. У этой комнаты есть тайный выход... Мы еще успеем спастись. Скорей! скорей! Только... Слышишь ли... шаги... Они идут... идут... идут!..— И обезумев от страстного волнения, судорожно обвила она руки свои около моей шеи и повлекла меня за собой к потаенной двери. Вдруг дверь с треском растворилась, и у входа показалась маленькая старушка, княгиня, в токе, с перьями до потолка; за ней шел адъютант на цыпочках и толпились все родные княжны, все бальные гости...»

Княжна упала в обморок. Я остолбенел от ужаса; волосы мои стали дыбом. Княгиня схватилась за ноги и начала смеяться; за ней последовал адъютант и все, все прочие... Смех их наконец сделался так резок, так громок, что я не вытерпел — и *проснулся*. Кругом меня хохотали собеседники нашего холостого обеда.

«— Ну, брат... порядочно ты выспался! — весело сказал мне проигравшийся хозяин.— Скоро одиннадцать часов. Мы все собираемся на бал... Не хочешь ли и ты с нами?

— На какой бал? — закричал я так дико, что мои приятели снова рассмеялись.

— Да проснись же, братец,— отвечал хозяин.— Нынче бал у старушки княгини Р... по случаю помолвки княжны с известным всему миру адъютантом.

— Говорят,— подхватил кто-то из гостей,— оба так счастливы, что глядеть на них весело. И вообразите, какой странный случай: никто не знал, что они несколько лет влюблены друг в друга».

Таково содержание новой повести графа Соллогуба «Бал *(из записок Леонина)*», которою открывается «Новоселье». За нею следует повесть г. Кукольника... «Старый хлам». Необходимо, хотя и выйдет плохой каламбур, сказать, что повесть вполне соответствует своему названию... Бывало, повести г. Кукольника из времен Петра Великого читались жадно, потому что отличались действительно многими достоинствами; мы первые с любопытством следили за ними и отдавали им полную справедливость в нашем журнале. Но или материал истощился (что, впрочем, едва ли основательно), или г. Кукольник разучился писать интересные повести, или уж, как говорит г. Голядкин-старший, просто случай вышел такой,— последние повести г. Кукольника из времен Петра Великого совсем не то, что первые; некоторые даже так бесцветны и скучны, что,

читая их, беспрестанно думаешь, не раскрыл ли ошибкой какую-нибудь повесть г. Кукольник из жизни итальянских художников,— а известно, что̀ такое повести г. Кукольника из жизни итальянских художников и в каких случаях могут быть они прописываемы врачами как надежное медицинское средство... Один почтенный отец семейства на смертном одре завещал своему сыну быть благонамеренным и не читать повестей из жизни итальянских художников, и на последнем настаивал даже гораздо сильней, чем на первом. Именно к такому разряду относится новая повесть «Старый хлам». Хоть имена в ней все русские и действующие лица говорят о Петре и событие отзывается истинным событием времен Петра Великого, но читатель читает и дочитывает (если только дочитывает) повесть в полном убеждении, что прочел повесть из жизни итальянских художников. Автор как будто сам предвидел такое плачевное обстоятельство, и, чтоб хоть чем-нибудь резко оттенить свои лица, навел на них какой-то особенный семинарский колорит... Мы назвали колорит новой повести семинарским и сейчас покажем, почему так назвали. Вот, например, как говорит Мак-Стефенс (нужно заметить, что усилие г. Кукольника придать своим лицам оригинальность, дошло здесь до того, что он даже Мак-Стефенсу, жившему в Лондоне и, сколько нам известно, никогда не бывшему в бурсе, придал тот же часто упоминаемый колорит),— вот как он говорит: «Умереть с голоду!.. За то, что *в тайниках природы я* открыл ее новую силу... За то, что *попечительная натура* моими устами этой же столице, целому миру — *изволит поведать* одну из благодетельных тайн своих...» Лилла, дочь Мак-Стефенса, *купно* с матерью своею Бетси, носит на себе тот же колорит; даже на всем содержании повести лежит тот же колорит, и только «Иллюстрация» и в ней в особенности *«Переписка»* могут дать более ясное понятие о той новой, оригинальной манере писать, какую обнаруживает г. Кукольник с некоторого времени. Манера прекрасная, с которой нельзя не поздравить г. Кукольника: он в ней неподражаем!.. Но скажем несколько слов о содержании «Старого хлама». Петр Великий, в бытность свою в Лондоне, заказал Мак-Стефенсу паровую машину, оставив у него в науку двух русских молодых людей. Много времени прошло, пока машину успели

привесть к концу; дочь Мак-Стефенса успела вырасти и расцвесть, а один из учеников, Иван Семеныч, успел в нее смертельно влюбиться. Но вот машина готова, уложена в ящики; Лилла, не любившая, впрочем, Ивана Семеныча, по приказанию отца вышла за него замуж, и вот уже счастливый Иван Семеныч с машиной, с молодой женой и старым дядькой Онисимом плывет в Россию; но буря разбила судно о скалы Швеции. Узнав, что он русский, его задерживают в одной крепости. Коменданту понравилась Лилла, и Иван Семеныч очутился в тюрьме, а Лилла сделалась комендантшею. Об Онисиме забыли. Долго шли переговоры о мире. Наконец трактат состоялся; надо было освободить пленных; все русские обрадовались и поспешили в отечество; один Онисим печален — барин его умер, изведен злыми людьми; но пусть он не печалится — г. Кукольник справедлив, и хоть не вполне восторжествует у него добродетель, но порок будет, непременно будет наказан. Вот Онисим решился отправиться в отечество и идет в последний раз поклониться могиле барина:

«Издалече увидел он странное зрелище. На темени его (?) скалы шла веселая пирушка; офицеры угощали комендантшу, которая с матерью и детьми приехала с этой отвесной скалы поглядеться в бездну, полюбоваться видом красивой шкуны... Старик ожил, завидев чужих на дорогой скале; быстро взошел по ступеням собственной работы и как привидение остановился посреди пирующих... Все смутились; Лилла отскочила на самый край скалы...

— И после смерти не дает покоя! — сказал старик страшным голосом.— Марко Степаныч! (так переводил Онисим: Мак-Стефенс) Марко Степаныч! Где же твое проклятие...

— Проклятие...— успела вскрикнуть Лилла и оступилась. Бетси заметила опасность, бросилась к Лилле, схватила ее за платье, и преступная дочь увлекла преступную мать в бездну морскую... Офицеры бросились вниз; со шкуны отправили матросов, но море не отдало своих жертв. Во время общей суматохи один только Онисим стоял покойно на скале; попутный ветер заиграл его длинными желтыми волосами; со шкуны в рупор позвали Онисима; он упал на могилу, поцеловал и перекрестил землю, и веселый, как будто в жизни с ним никогда ничего грустного не случилось, сел в родную лодку. Шкуна раскинула крылья и ушла, когда весь город с комендантом своим ожидали, не отдаст ли море Лиллы и Бетси».

Ни тени мелодрамы! Естественно, оригинально, поразительно ново!.. И после того есть люди, которые

осмеливаются тоже писать романы и даже нисколько не стараются в них подражать г. Кукольнику, а идут своей дорогой, понимая по-своему естественность, оригинальность, художественность... Чудаки! Недаром «Иллюстрация» удивляется их дерзости... Еще бы не удивляться!.. Бедные, они потчуют публику все одним супом,— вначале суп, в середине суп, под конец суп... у них нет и на столько смысла, чтоб понять, что одно кушанье приестся; — только г. Кукольник понял тайну романа и очень хорошо знает, что если сначала хорошо суп, так за ним всего лучше соус, а там жаркое, и так далее, и что в промежутках не худо чего-нибудь шипучего, трескучего,— вот тогда и выйдет роман хоть куда... Но, впрочем, тех, кто хочет знать подробный рецепт хорошего, истинно художественного, непогрешительного романа, отсылаем к «Иллюстрации».

Доскажем содержание повести. Ящики с машиной прибыли в Россию, когда уже великого ее преобразователя не было на свете. Их свалили в сарай, наложили на дверь печать, приставили часового, и ящики простояли так до царствования императора Александра. Когда отперли сарай, нашли сгнившие куски дерева, перержавевшие железные колеса, поршни и шестерни. Уцелел только кусок пергамина, на котором не без труда разобрали, что «старый хлам» есть паровая машина, сделанная в Англии по заказу Петра, Царя Московского в 177... последнего числа нельзя было разобрать.

«Мой мячик» — статья г. Хмельницкого, из водевильных каламбуров составлена с примесью добродушного философствованья на манер известного русского философа г. Галича,— словом, статья, едва ли стоившая чести и один раз быть напечатанною, появляется в печати в нынешнем году уже *во второй раз*... В первый раз часть ее была напечатана в «Невском альманахе» на 1846 год... Для чего делаются такие вещи? Показалась ли издателю статья столько занимательною, что ее не худо и повторить?.. Но и в таком случае нет обычая печатать напечатанное, и притом в однородном издании, и в том же году. Перепечатка в одном только случае имеет смысл — когда статья первоначально явилась в журнале, у которого нет читателей, да и то надо, чтобы она носила в себе полное оправда-

ние своего вторичного появления. Или, как говорится, на издательском-книгопродавческом наречии, «не хватило материальцу», при сильном желании сделать книгу потолще? Но нужно было подумать, что ведь если публика и не заметит, в чем дело, то ей укажут, и тогда толстота, из которой вы так хлопотали,— качество действительно почтенное, если произошло естественным образом, без насильственных мер,— вместо пользы, обратится во вред книге... Другая статья того же автора — «Римский карнавал 1844» — не представляет ровно ничего нового, как большая часть дорожников и всяких путевых записок, издаваемых русскими путешественниками, большими охотниками доводить до всеобщего сведения, что они тоже путешествовали...

Статья В. Луганского (Даля) «Русский мужик» — единственная статья в целой книге, которую можно прочесть не только один, но несколько раз с чрезвычайным удовольствием. Мы приведем несколько отрывков:

«У помещика было заведено, что, кроме сухой и квашеной зелени и кореньев, все обрезки и оборки овощей солились, и солень эта шла для приправы, в людские щи; это привар хороший. Староста почесал голову, оглянулся на других ребят и сказал:

— Да на что их мыть...

— Как на что? Разве ты так, с песком, и будешь есть, как свинья?

— Никак нет; оно бы, конечно, можно, власть ваша, батюшка; а не то, так ребята говорят, хоть бы ее и вовсе, пожалуй, не солить... ведь квашенина есть...

— Как так? кто ж это говорит?

— Да и все то же говорят, да оно, власть ваша, сударь,— я так только что сказал милости вашей.— Примолвка эта показывала, что сметливый староста сам начал догадываться, что он крепко заврался.

— Это что ты, Феклистов, соврал, разве у нас впервые так было заведено? а какие щи, скажи мне, лучше — на одной квашенине или с прибавкой солени?

— Да, оно известно, конечно, с соленью щи как будто послаще будут, повкуснее.

— Так что же, стало быть, вам лень собрать обрезки в одно место, свалить их в чан да посолить? их лучше небось затоптать под ноги? а?

Помещик берет старосту Феклистова за чуб; староста, высокий, здоровый и догадливый мужик, становится на колени, чтобы барину сподручнее было управляться, затем барин раскачивает голову Феклистова во все стороны слегка, без сердцов, спокойно, и читает ему длинное наставление, какая польза вообще от овощей, как они поддерживают здоровье крестьян, которые без

них иногда сидят на одном хлебе; напоминает ему, как мужики сначала ни за что не хотели разводить картофеля, называя его чертовым яблоком, как дворня в застольной кидала его под стол и тешилась тем, что его и собака не ест,— а как потом, через год, нельзя было уберечь гряд, таскали картофель сырой, не спелый, изрывали по ночам гряды, как свиньи, выкопав на гривну, а изгадив на рубль; припоминал ему, как в соседней деревне, и в другой, и в третьей, была та же возня, и как и теперь там крестьяне всю зиму едят в похлебке картофель; указал на разницу пищи между порядочными хозяйственными крестьянами, у которых водится всякая всячина,— и упрямыми и дураками, которые, под предлогом недосуга, не хотят разводить огородов, потому что у отцов и дедов их огородов не было,— и лучше согласны сидеть на мякине, чем приняться за разводку овощей. Во все это время помещик поматывал головой старосты кругом, против солнца, и хозяин головы этой, попав раз в лад и меру такого однообразного движенья, предупреждал его без труда, забегал головою вперед, так что рука помещика почти следовала за головою старосты, а не водила ее. Девять человек зрителей стояли спокойно и слушали, улыбаясь, довольно пристально, что говорил помещик.

— Ну, понял ли ты все, что я тебе говорил, Феклистов?

— Понял, батюшка; как же не понять?

— Расскажи же ты мне теперь все это.

Феклистов начал рассказывать по-своему, все еще стоя на коленях; говорил с убежденьем и с уверенностию — иногда только немного сбивался, и помещик, подрав его как бы шутя, за чуб, поправлял и заставлял переговаривать снова.

— Хорошо. Скажи ж мне: в первый раз ты все это от меня слышишь?

— Нет, батюшка Степан Денисыч, не в первый, много слышали мы добра от вашей милости.

— Рассуди ж ты теперь сам меня с собою, кто прав, кто виноват?

— Я, батюшка, виноват, известное дело.

— А за что же я, дурак, об тебя руку в плече вымолол?

— Виноват, батюшка Степан Денисьевич, глупость наша все это делает,— и поклон в ноги.

— А еще ты сказал мне, что все так думают, как ты, правда ли это, ребята?

— Нет, батюшка, никак нет, нет,— отвечали в голос все зрители.

— За что же ты — а еще староста! оговорил понапрасну других? а? Вот так вы всегда делаете: один выйдет из кучи, кричит за всех, уверяет, что все заодно, все-де так говорят, все такие ж дурни, как и он, а те стоят, развесив уши, разинув рты, да слушают; подайся я на пустословие твое, так бы и точно, может быть, все за тобой; подери я тебя за чуб, да припомни тебе, что и как было оговорено и сделано прежде,— все от тебя прочь, а ты остался в дураках один.

— Так, батюшка Степан Денисыч, истинно справедливо!

Мужики разошлись по другим работам, и весь день только и было толку о том, как барин в подвале молол старостой песок

и говорил об овощах, о солени; все обвиняли старосту и соглашались, что барин прав.

Что же вы думаете, многие последовали в домашнем хозяйстве этому примеру, убедившись в справедливости советов помещика и в пользе разводки овощей? Ни один; толковали только о том, кабы господь уродил побольше хлебца, а что будут есть они, коли хлебец не уродится,— об этом речи не было».

Вот другая сцена:

«Сидят во вторник на святой неделе крестьяне, с бабами, девками, ребятами, на завалинках; святая была ранняя, только что земля отошла; день тепленькой; все в нарядной одежде, а праздновали святую плохо, потому что едва дотянули животы до весны; урожай был больно скуден; полдеревни ели барский хлеб да барский картофель.

— Эхма! братцы,— сказал один, подергивая плечами, на которые накинул сверху синий кафтан свой,— эхма! вот когда б сеять — так сеять!

— Да, самая бы пора,— подхватил другой,— сочная земля стала, отошла вся!

— Что ж делать станешь — власть господня!

— Таки вот сердце радуется, как выйдешь за околицу: два дождичка послал господь — сверху припекло землицу — рыхлая, мягкая — мокрота вся впилась, вниз ушла — так бы вот, кажись, сам лег да глыбой укрылся, вырос бы, ей-богу, вырос!

— Как быть, стало, так богу угодно. Даст хлебца, так даст, хоть и на той неделе посеем; а не даст, так не даст. Все во власти господней.

— Оно вестимо так; да вот, как не даст бог дождя-то, опять не станет хлеба, коли милости господней не будет, да солнышко пойдет тебе пропекать пашню, да сушить во всю неделю, да и на той неделе то же — так вот, брат, тогда хлеб, у кого есть, хоть не носи в овин сушить, а в землю, пожалуй, кинь — все одно, высохнет, и ростка не даст тебе ни одного.

— Эка дура выросла на селе,— право, дура! а еще мужик называется! вот тебе бы для праздника всем миром намять затылок как следует, так не стал бы вперед молоть, что на язык ни попало! Ну, что толковать пустяки, горло драть, равно на облаве? Что ж, ты теперь, что ли, пахать да сеять пойдешь, на святой неделе?

— Пахать... кто говорит пахать теперь... про это нечего говорить, что пахать... я говорю, что вот хоть на людей сошлюсь, об этаку пору самая бы благодать, что земля, вишь, сырая, а не то, чтоб теперь пахать да сеять; кто тебя зовет? Господь с тобой, я тебя не звал пахать; известное дело, кто ж пойдет о такую пору — чай не на то дал господь святую неделю. Вот, что бог даст, разве на фоминой.

Таким образом крестьяне наши просидели на завалинках всю неделю, опоздали посевом, вспоминали круглый год, какая-де на святой пора была для посева! эх, какая земля рыхлая да сочная была! тужили, что господь бог опять не дал урожая, почесали головы, похлопали руками о бока — и полезли к зиме на печь да на полати».

Приводим еще следующую сцену:

«Народ вообще в деревне этой был порой не одинаков; как нанесет поветрием: то смирен, то с норовом. Например, барин приказал старосте, чтоб ни один мужик и ни одна баба не смели держать свиней, овец и телят в жилой избе, а чтоб к зиме у всех были теплые закуты, на что и отпустить им лесу. Староста три недели кричал с мужиками, а потом пришел доложить барину, что мужики *не согласны* на это. Барин спросил старосту: в своем ли он уме? Этот вопрос озадачил Феклистова, и он взялся сперва за голову, сперва правой рукой, а там левой, и старался разрешить вопрос этот, зарывая пальцы как можно глубже в космы. «Разве я спрашивал у них согласия? Отвечай, Феклистов, и не гляди на меня столбняком — посылал, что ли, я тебя собирать согласие?»

— Нет, сударь, про это нечего и говорить; за этим делом не посылали.

— А коли не посылал, так на что же ты принес мне того, чего мне не нужно?

— Эка, подумаешь, кака притча сталась,— проговорил Феклистов про себя, потупив глаза в землю: он и сам не понимал теперь, как же-де это сталось, что пришел он и стал говорить путно, а как только сказал, выпустив слово,— выходит бестолково; посылали меня за одним, подумал он, а я принес другое, а казалось все одно...

— Так поди же, друг ты мой любезный, и не делай вперед дела по-своему, а по-моему; согласия я не спрашивал, и его мне не нужно, а чтоб закуты были.

Мир рассудил, что барин прав, и потому, хотя и нехотя, и без согласия, да стал, однако ж, понемногу выводить скот из жилых изб.

Но не всегда и не все обходилось так мирно, бывали и другие примеры. Настала весна, после зимы, о которой мы говорили, и мужики, протолковав целую зиму между собой о том, что вот-де крещатовским легче, они все на оброке, у них нет барщины, вздумали также идти на оброк. Все толки шли об этом на таком основании, будто дело это вполне от них зависит, а не от барина. На третий день святой приходят гурьбой на барский двор, смирно, тихо, не пьяные, потому что в деревне кабака не было,— и засылают стариков вызвать барина. Барин выходит, думает услышать что-нибудь путное и слышит ни с того ни с сего: отпустите нас на оброк. Доказав им бестолковость этой просьбы в коротких словах, он хотел было узнать, откуда эта выдумка взялась,— но вместо того слышит только одно и то же настойчивое и безотчетное требование; никакое убеждение не действует; крестьяне объявляют наконец положительно, что они, так же точно, как и крещатовские, хотят платить по 30 руб. с тягла, а на барщину не хотят. Воля ваша, мы перед вашей милостью согрубить не смеем, да только уж вы нас отпустите; мы против вашей милости, батюшка Степан Денисьич, идти не можем, а уж только вы нас на оброк отпустите; мы не желаем на барщину ходить, а на оброк согласны. «С ума, что ли, вы сошли? кто же будет тут землю пахать, кто хозяйничать?» — «Уж про то не знаем, кто останется,

поработает, на это воля ваша; а нас, батюшка, отпустите». Убедить их нельзя было ничем: потолковав еще долго, помещик сказал им положительно, что не отпустит, и ушел.

Все крестьяне собрались идти в город, к исправнику.

— Ступайте ж, коли так,— сказал спокойно Степан Денисьич, рассудив, что надо иногда русскому человеку помирволить и этим его проучить; — ступайте к исправнику, а я вас провожу.

Гурьбой крестьяне отправились в город, вся деревня просится у исправника на оброк; а барин велел заложить свою бричку и обогнал их уже на пути. Он отыскал исправника, предупредил его во всем, и сам ожидал свою ватагу. Дорогой крестьяне поободрились; им казалось, что они правы кругом и чуть не святы; они сговорились не поддаваться, не уступать, требовать оброку.

Исправник собрал их перед двором своим, выслушал и стал толковать им, что они, видно-де, рехнулись; что оброк или барщина зависит от помещика, а не от них, и что им требовать ни того, ни другого нельзя. «Слушаем, батюшка,— был ответ,— да, воля ваша, уж мы на барщину не пойдем».— «А коли так,— сказал исправник,— так я вас выведу на барщину. Ты, говорун, поди-ка сюда первый,— а затем и другой, и третий, и таким образом человек десяток на выбор тут же на месте были наказаны.— Ну, еще, что ли, есть охотники,— спросил исправник,— так выходите сюда, скорей, мне некогда!» Мужички мои все гурьбой повинились, согласились беспрекословно, что они затеяли вздор, уверяли, что это и в первый и в последний, и другу и недругу закажут, что, домой пришедши, даже ребят всех пересекут, пусть-де помнят отцовскую вину и глупость и сами на нее глядя казнятся, обещали идти беспрекословно на барщину и сдержали слово; поблагодарив за науку, отправились они чинно домой, вышли на утро в поле и жили вперед со Степаном Денисьичем в ладах и в дружбе».

Статья «Два отрывка из записок о Риме» принадлежит к тому же роду статей, как и «Римский карнавал в 1844 году», и к ней можно приложить то же, что сказали мы об отрывке г. Хмельницкого...

Статья г. Булгарина «Поездка в Грузино в 1824 году» замечательна, между прочим, как новое доказательство, что никто пламеннее г. Булгарина не любит правды и не обладает такою и всегдашнею готовностию умереть за правду. Не верите — прочтите новую статью. Сверх того, она доказывает, как много замечательных в каком бы то ни было отношении людей, которые были друзьями г. Булгарина,— что, впрочем, по скромности, составляющей, как известно, одну из важнейших человеческих добродетелей, сочинитель доводит до сведения публики не ранее, как тогда, когда знаменитый друг уже тлеет в могиле, безгласен и безответен... Умер Пушкин, писавший, между прочим, в одно время полемические статьи под псевдонимом Феофилакта Ко-

сичкина,— и публика тотчас узнала из «Северной пчелы», что не было у него человека столь близкого и сердцу его столь любезного, как г. Булгарин. Умер Грибоедов — то же. Вот еще и недавно повторилась та же история с Полевым. Но обратимся к настоящей статье. Вообще вся она есть новое доказательство добродетелей сочинителя; добродетели его здесь выказываются резче и определеннее, чем где-нибудь. Оно и понятно: чем более о чем-нибудь толкуешь, тем более приобретаешь навыку и искусства, и почтенный мистер Пексниф, в романе Диккенса «Мартин-Чодльзвит», под конец поет еще влажнее и слаще, чем вначале. Когда приходится говорить о г. Булгарине, нам также не о чем более говорить, как о достоинствах его; итак, будем говорить о достоинствах г. Булгарина; но чтоб не пропал букет, постараемся говорить, по возможности, его собственными словами. «Фамилиярности я не люблю с старшими и гнушаюсь фанфаронством, которое не чтит ни лет, ни заслуг, ни звания, но не умею также играть ни роли лакея, ни серальского немого, ни бездушного льстеца. В жизни моей я имел случай быть *в близких сношениях* с несколькими не только *сильными людьми,* но истинно *великими мужами»* (стр. 203). Когда г. Булгарин прибыл в Грузино, граф Аракчеев, изволите видеть, не обратил вовсе внимания на прочих своих гостей, а подошел прямо к г. Булгарину и, сказав: «А! очень рад любезному гостю!», взял его под руку и повел в комнаты. «Можно представить себе, в каком я был положении! Я в первой паре перед всеми, иду с ним рука об руку как будто старый приятель и товарищ!» (стр. 205). Но г. Булгарин, однако ж, нисколько не возгордился и приписал, по свойственной ему скромности, ласку графа намерению его дать урок прочим гостям. *«Не в темя я бит!»* — заключает он, отдавая справедливость своей догадливости. Мы почитаем последнее замечание излишним... Впрочем, что останавливаться на мелочах! Пропустим даже все лестные комплименты, которые говорил г. Булгарину граф Аракчеев, сравнивший его, между прочим, даже с Цицероном (так рассказывает г. Булгарин...), и переходим к следующему факту. Граф предложил выпить за здоровье г. Булгарина, и затем «посыпались снова шутки, между которыми я (г. Булгарин) открыл весьма

важное для меня обстоятельство, что *я оклеветан был перед графом*, и притом самым гнусным образом, насчет моего образа мыслей». Спеша оправдаться, г. Булгарин воскликнул: «С моим образом мыслей я никогда не скрываюсь, не скрывался и до гробовой доски не стану скрываться, не по излишеству благоразумия, а по характеру. *Если б мне нравился образ правления Северо-Американских Штатов, то не обинуясь я поехал бы в Америку и поселился бы в ней...»* (стр. 209).

Здесь можно бы многое сказать, но мы только напомним читателям, что г. Булгарин написал о любви к отечеству целые томы... Затем г. Булгарин начал рассказывать о своих военных похождениях, «от Лапландии до скал Гибралтара», и не удивительно, что всех заинтересовал,— потому что, как сказал покойный Полевой в «Литературной газете» (№ 1): «чьего любопытства не возбудит жизнь человека (г. Булгарина), который родился поляком, воспитан в русском кадетском корпусе, после покорения Польши был в русской службе, сражался в русских рядах, увлечен потом судьбою под знамена Наполеона, бился под орлами его в Испании и, когда смолкли битвы, променял саблю на перо, сделался сперва польским, а потом русским литератором?» и проч.

Но довольно. Всем известно, что г. Булгарин стоит на страже русского языка, которого чистота для него всего дороже. Это видно и из настоящей статьи, где, между прочим, на стр. 211, найдете такую фразу: «В одном конце залы, по правую сторону, *выходя из столовой, стоял стол»* и проч. Многим могло б показаться странным, каким образом стол *выходил* из столовой, да еще в то же время и *стоял*, если б из «Парижских писем», печатающихся в «Северной пчеле», не было видно, что г. Греч находится теперь в Париже. Итак, ничего не остается более, как поблагодарить г. Булгарина за посильное усердие... Русские литераторы наперерыв искажают русский язык, и не будь г. Булгарина, чистота русского языка погибла бы невозвратно! А еще находятся люди, которые осмеливаются отрицать заслуги г. Булгарина!..

Две повести г. Гребенки, «Черты из частной жизни Боченочка» и «Пиита», показались нам слабее прежних

повестей того же автора, обладающего несомненным дарованием.

Статья Полевого «Записки книгопродавца», крошечный отрывок, не представляющий ничего особенно замечательного. В «Новоселье» есть еще другая статья Полевого, под названием «Тимон Афинянин», *вольные очерки из драматической повести Шекспира*, в стихах...

Стихи! Кстати о стихах. В «Новоселье» также есть и стихи. Поэты-вкладчики следующие: гг. Бенедиктов, Губер, Дуров, Слепушкин, Струговщиков и некто, скрывавшийся под тремя звездочками и напечатавший в «Новоселье» отрывок из XXXIII песни Дантова «Ада». Стих перевода до того дубоват, что, как говорят актеры, когда им приходится произносить дурные стихи, «язык ломается». Мы думаем, что лучше не переводить Данта, чем переводить его такими стишищами. Кроме нескольких подражаний Данту Пушкина, мы не знаем на русском языке ничего, что бы давало хоть малейшее понятие о Дантовой поэзии... Стихи г. Губера были бы превосходными стихами, если б не страдали недостатком дельного и оригинального содержания, а форма — удивительная. В одном из них («На чужой могиле») автор не шутя сетует на людей, что они скоро забывают умерших и не любят посещать их могил, заставляя бедных мертвецов лежать и тлеть в одиночестве... Вот, в самом деле, великое преступление!

> Спящий в гробе мирно спи,
> Жизнью пользуйся живущий!..

Одно стихотворение г. Дурова («Когда трагический актер») было бы недурно, если б его не портил последний куплет, совершенно лишний, да еще и плохой. Впрочем, оно уже было напечатано в «Невском альманахе» и здесь бог знает зачем является во второй раз. Стихи Слепушкина забавны. Но то, на чем преимущественно остановится внимание читателя, которому попадется в руки «Новоселье», чем он будет поражен, разбит наголову, опрокинут, подавлен,— бесспорно, стихотворение г. Бенедиктова «Три искушения», которое потому здесь выписывается с строжайшею точностию.

> В дни пылкой юности, в разгуле бытия,
> Я знал три гибели,— знал три предмета я
> Всесокрушительных: то очи огневые,
> Да кудри темные, да перси наливные

Те очи... небо в них являлось; но оно
В две черных радуги бровей облечено;
Сокрыв свою лазурь и яркий блеск денницы
За облаками вежд, за иглами ресницы,
Под сводом гордого, лилейного чела —
Мрачилось, гневное; таинственная мгла,
По прихоти, его мгновенно покрывала,
Струила дождь и град, и молния метала.

Те кудри черные... их страшно вспомянуть!
Те кудри... целый мир в них мог бы утонуть,
Когда б они с главы упали вдруг разлиты
И бурей взвеяны; — извиты, перевиты,
Как змеи лютые, они вились, черны,
Как ковы зависти, как думы сатаны.

Та черная коса, те локоны густые,
Их волны, пряди их и кольца смоляные,
Когда б раскинуть их, казалось бы, могли
Опутать, окружить, обвить весь шар земли,
И целая земля явилась бы черницей
В глубоком трауре, покрыта власяницей.

Те перси юные... о! то был дивный край,
Где жили свет и мрак, смыкались ад и рай;
То был мятежный край смут, прихотей, коварства;
То было бурное, взволнованное царство,
Где не могли сдержать ни сила, ни закон
Сомнительный венец и зыблющийся трон; —
То был подмытый брег над хлябью океана,
Опасно движимый дыханием вулкана;
Но жар тропической, но климат золотой,
Но светлые холмы страны заповедной,
Любви неопытной суля восторг и негу,
Манили юношу к таинственному брегу.

Вот так стихи! Вот так поэзия!.. Очи — *небо*, брови — *радуги*, вежды — *облака*, ресницы — *иглы*, все чело — *свод неба*, повитый мглой, из которой струится *дождь* и *град* и блещут *молнии*... А в кудрях *целый мир* мог бы утонуть,— шутка сказать, целый мир!.. Извиты, перевиты, *как змеи лютые*, черны, как *новые зависти*, как *думы сатаны*. Да то ли еще... те кудри... Но лучше повторим: не грех и повторить!

Та черная коса, те локоны густые,
Их волны, пряди их и кольца смоляные,
Когда б раскинуть их, казалось бы, могли
Опутать, окружить, обвить весь шар земли,
И целая земля явилась бы черницей
В глубоком трауре, покрыта власеницей...

Каково? Что может быть сильней, образней, грандиозней?.. Но позвольте!.. я что-то странное чувствую! Чувствую я в себе страстное желание, может быть, даже призвание воспеть... что бы вы думали?.. кудри! кудри, воспетые г. Бенедиктовым... Конечно, дерзость неслыханная, но уже раздумывать поздно — я ничего не слышу, ничего не вижу... я пою...

Те кудри черные... когда б отрезать их,
Преступно посягнув на их несокрушимость...
Соткать на них чехол из нитей дорогих —
В нем бешеных кудрей сковать необозримость,—
И, взбив перину ту, в длину и ширину,
Чрез степи жаркие, чрез влажную волну,
Чрез горы и леса, послать ее по миру,—
Все человечество могло б на них заснуть,
В душистом их пуху блаженно утонуть,
И — гордо близостью к надзвездному эфиру —
Увидеть райские, пленительные сны
Про кудри черные, как думы сатаны,
Как ковы зависти, про очи огневые,
Про радугу бровей и перси наливные...

Нет! не то, далеко не то!.. Воображение отказывается выдумать что-нибудь грандиознее картины целого мира, опутанного одною женской косой и оттого превратившегося в черницу в глубоком трауре... Куда *новой, натуральной* школе!.. далеко ей до таких картин!.. Она умеет только списывать действительность, даже не принимая на себя труда сколько-нибудь украшать ее... Вот то ли дело *старая риторическая* школа!.. Вообще, стоит прочесть III том «Новоселья», чтоб убедиться в превосходстве *старой риторической* школы пред новой *натуральной!..*

Сверх этих статей, в «Новоселье» напечатана драма С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова» и фламандская быль покойного П. А. Корсакова «Да здравствует покойник!». Драма вышла и отдельною книжкою, поэтому и мы поговорим о ней отдельно, а о статье «Да здравствует покойник!» ничего не скажем по известному присловью о покойниках: de mortuis aut bene aut nihil... [1]

---

[1] о мертвых или хорошо, или ничего (*лат.*).

МОСКВА, *поэма в лицах и действии, в 5-ти частях,*
Н. В. Сушкова. Москва. 1847.

С некоторого времени русский читатель непростительно изменился: он сделался положителен, сух, черств — словом, равнодушен к стихам. У него была душа нежная и чувствительная: он проливал токи слез, читая не только «Чернеца» и «Наталью Долгорукую», но и все без разбора подражания им, пел заунывным голосом «Черную шаль», был столько нежен и сострадателен, что даже принимал живое участие в одной преступной деве, которая «под вечер ненастной осенью шла в пустынных местах»

И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках,—

участие, которое, при его неукоризненной нравственности, должно было стоить ему много внутренней борьбы и муки... Стремления у него были самые возвышенные, превыспренные: он бескорыстно уносился за поэтом *туда*, утопал в эфире и не спорил с поэтами, твердившими ему, что смерть лучше жизни, а только сожалел о бедности и мелочности натуры своей, которая как-то все тянула его к презренной земле и заставляла беречь здоровье. Вкус у него был многосторонний и желудок страшно вынослив: плавные размеренные строфы ласкали его младенческий, неизбалованный слух, с самоедским аппетитом глотал он все, что ни предлагали ему: и поэмы, и повести, и романы в стихах, и драматические фантазии, и послания, и сказки, и даже мистерии,— глотал великодушно и добродушно, даже не подозревая, что совершает беспримерные в истории человечества подвиги...

И мистерилось тогда поэтам,— были они в великом почете и с каждым годом плодились и множились...

Но читатель вдруг круто повернул на прозу — и поэтов не стало. Перевелось оно, племя многочисленное и самоцветное, и скоро не останется от него и следов... Надобно постараться, пока еще не поздно, спасти его от забвения; не то потомство, пожалуй, и не поверит, что в одном государстве в одно время могло существовать такое множество поэтов, что было бы очень прискорбно для русского гения... Какие люди бы-

ли они? что делали? откуда вели свой род? Несомненно, что потомство уже настало для них, и говорить о них теперь самое время...

Еще не очень давно в русском государстве, богатом всякими дивами, на каждом шагу попадались юноши, которых в наше время зовут вообще романтиками,— идеальные юноши. Племя было многочисленное и самоцветное, и от него-то вели свой род покойные русские поэты. Идеальные юноши отличались презрением к земле, на которой, по их словам, было им и тесно и душно, и рвались всё туда... куда? — тайна, которую унесли они с собою; будучи добрыми и смирными малыми и только с виду страшными,— потому что не имели привычки стричь и причесывать волосы,— они громили проклятиями толпу, презренную, тупую чернь, и в каждом человеке видели врага, с которым будто бы нужно было им бороться (известно, однако ж, из достоверных источников, что никаких битв, кроме карточных, бильярдных и шахматных, они не вели); изредка покучивая и даже иногда предаваясь просто пьянству, они считали долгом своим показывать пренебрежение к вещественным благам жизни, и человек, обнаруживший при них аппетит, навсегда становился в глазах их ничтожным и пошлым. Все они были большие охотники и мастера проклинать судьбу свою, но если верить им,— горячо любили свои страдания и жадно желали их *для того, чтоб не дать очерстветь душе;* они полагали, что призвание их — страдать, и если невзначай чувствовали себя весело, приходили в отчаяние: за самих себя, за достоинство своих *глубоких* и *высших* натур делалось им стыдно. И в книгах и в жизни любили они все необыкновенное, исключительное,— и ничто простое, как бы оно ни было поразительно в простоте своей, им не нравилось. Сильно наклонные к дружбе, дружбу понимали они совершенно по-своему: дружба их начиналась с того, что два существа, влекомые друг к другу таинственной симпатией, сперва признавались во взаимной дружбе, потом клялись в верности, как водится, до гроба и за гробом, на словах или даже и на бумаге, для чего у них водились альбомы, памятные книжки дневники. Затем уже подружившиеся входили во взаимные права свои, права тоже особенные: друг, по их понятиям, был такой человек, которому безнаказанно,

даже с несомненной надеждой на участие, позволялось всегда и во всякое время пересказывать (*переливать в душу*) мелкие досады и неудачи свои, огорчения и ропот раздражительного самолюбия. Любовь тоже играла немаловажную роль в их жизни, но любовь особенная, не похожая на обыкновенную. Возвращаясь после дружеских попоек обыкновенно утром на другой день, они тем не менее пылали вулканическою страстию к недоступным (непременно недоступным) красавицам. Но такая любовь их никогда не заходила дальше подавленных вздохов, долгих, красноречивых взглядов, много — пожатия руки. После двух-трех посещений тотчас являлось где-нибудь в печати стихотворение, в котором под словом: «к ней» — выставлялись иногда довольно нескромно начальные буквы имени их красавиц; слух разносился, что такой-то влюблен в такую-то, доходил до семейства красавицы, и к поэту становились благосклоннее или выгоняли его из дому; в последнем случае для него наступал истинный праздник: он принимался страдать в разлуке. С понятием о любви у идеальных юношей нераздельно соединялось опять-таки страдание: оттого разлука и все возможные препятствия в любви для них всего важнее. Им непременно нужно жаловаться на счастье и проливать чашу мщения... Можно поручиться, что, исчезни вдруг все препятствия, не один идеальный юноша тотчас бежал бы от предмета своего обожания, точно так же, как непременно бежал бы он, если б обожаемая им бледная и задумчивая дева (идеальные юноши влюбляются только в дев бледных и задумчивых) вдруг сделалась весела и румяна... Небрежность в костюме, между прочим, составляла их отличительную черту: редкие находили нужным вычищать за ногтями, а содержать в порядке подбородок и голову вовсе не было принято. Нечего и говорить вам, что почти все они писали, и писанья их опытный глаз тотчас узнавал по трем каким-нибудь буквам с точками или звездочками, неизбежно торчавшими под заглавием; без таких посвятительных букв не явилось у них ни строки, так что можно было даже подумать, что они и писали для того, чтоб выставлять заветные буквы... Писали они, разумеется, большею частью стихи. В стихах воспевали свои страдания — измену милой, смерть матери, одиночество — словом,

все очень обыкновенные страдания, проклинали судьбу и человечество, бранили землю, рвались к небу... Впрочем, если хотите оживить в памяти их стихотворения, я, пожалуй, покажу вам на деле, какие стихотворения они писали. Не угодно ли прочесть?

МОЙ ЖРЕБИЙ

Давно от участья, от ласковой речи
Меня отучило коварство людей.
Слова их — отрава, лобзанья — картечи,
Объятья — тяжелые груды цепей.

Кто вырвал надежду из девственной груди?
Кто день моей жизни во мрак погрузил?
Всё братья родные! всё люди да люди!
Но видит всевышний, что я им не мстил.

Я все перенес! Мне ничто не обидно!
Давайте мне больше тяжелых работ.
Я труженик мира! я раб беззащитный! —
Пусть ломятся кости! пусть льется мой пот!

Я хитростных козней вражды не разрушу,
Тяжелого бремя не сброшу с плечей:
Пусть хлад отчужденья терзает мне душу,
Пусть я забавляю моих палачей.

Пускай все отнимут — наперсники злости!
Мне в голову камень — не сетую я!
Мне в пищу обломок оглоданной кости,
Покров погребальный — одежда моя!

Не с острым кинжалом в карательной длани,
Не с грозным укором на бледном челе,
С надеждой веселой под тучей страданий
Я твердой стопою пройду по земле.

Роптанья не вырвет мирская забота:
Томиться я буду с улыбкой в устах,
Чтоб каждая капля кровавого пота
Блаженства зерном мне взошла в небесах!..

«Пленной мысли раздраженье!» — скажет, улыбнувшись, читатель.— Так! таланта у них не было,— слова нет. Теперь господин *Новый Поэт*, снабжающий нашу «Смесь» своими трудами, десятками пишет такие стихотворения и нисколько не метит за них в бессмертные. Но не вините слишком строго бедного идеального юношу прежних лет, добродушно считавшего себя поэтом...

Не в обычном расположении духа оставался он, складывая свои стихи... Сердце у него билось ускоренным, неровным биением, и какой-то сладко-томящий огонек шевелился и перебегал в груди, все разгораясь и разгораясь; часто, прочитывая громко какую-нибудь удавшуюся строфу, он чувствовал, как, поднявшись откуда-то, будто с самого дна взволнованной и сладострастно-млеющей груди,— одна за другой бежали к его глазам и навертывались на них слезы... Как же ему было сомневаться в своем призвании?

Редко, но писывали идеальные юноши и прозой. В прозе, как и в стихах, ни на минуту не удалялись они от всегдашней темы своих писаний — самих себя. Проза их ужасна.

«...Меня зовут чудаком... Чудак! Приговор бессмысленный, бессмысленно повторяемый! В нем сказалась ты вся, тупая, близорукая чернь! Кто же чудак для тебя: кто не о щах да о каше твоей весь свой век думает? Ведь и Шекспир для тебя — пьяный дикарь, а Байрон — безумец, и Камоэнс, которого уморила ты с голоду,— все чудаки, сумасброды!.. А ты?.. ты лучше их, ты разумная, ты безупречная! Посмотри на себя: твои плоские, болезненные лица наводят уныние; твои глаза, впалые, как свинцовые, смотрят тупо и робко, и ни чувства, ни мысли, ни благородного порыва не прочтешь в них, не подглядишь в телескоп... Как стадо бессмысленное, суетишься и мечешься ты на пастбище жизни, торопясь наперебой насытить прожорливое чрево свое,— твоя забота единственная, вне которой нет для тебя ни стремлений, ни деятельности! На что ж тебе сердце, страсть, чувство — все божественные дары, присущие благородной человеческой природе? Ты позабыла, что они есть у тебя, или, лучше сказать, у тебя и нет их, потому что ты и не знала и никогда не узнаешь, что они есть у тебя... Не узнаешь! потому что когда посреди тебя явится человек с искрами божественного огня в груди, с печатью тайны на челе и с пророческим глаголом в устах,— высокий избранник, призванный пробудить в тебе коснеющие силы души, воззвать тебя к жизни обновленной и разумной, ты, бесчинствуя, дико хохочешь, ты бросаешь каменьями в своего заступника и учителя, называя его сумасбродом! И бродит он наг и нищ посреди тебя, непонятый и отверженный, терпя позор и невежественное глумление,— и, призванный благовествовать и учить,— сходит в преждевременную могилу с проклятиями!.. И тогда вдруг откуда ни возьмутся у тебя и смысл и чутье: как бешеный бык, ревешь и мечешься ты, разрывая на себе одежды свои, и в диком отчаянии посылаешь ты к небу безумную мольбу — возвратить великого! Но тщетны безумные моления... Еще из могилы слышатся тебе громовые проклятия, подымающие волос на преступной главе твоей, и в священном трепете удаляешься ты от праха, оскорбленного твоим поздним участием, твоим непрошеным состраданием!.. А там через неделю, через день один — все снова забыто, и новый

камень в руке твоей... Бедный поэт! Жалкий избранник! скиталец иного, лучшего мира! Такова участь твоя на земле... И ни в ком ни искры участия, ни от кого слова надежды и утешения!.. Участие!!. Утешение!!!...»

Смешно, но остерегитесь слишком смеяться: такою прозою писалась бо́льшая часть книг двадцатых и тридцатых годов, именно тех книг, которыми вы преимущественно восхищались... Не верите, так я, пожалуй, когда-нибудь приведу факты... Но куда же вдруг исчезли поэты? Не берусь досказывать вам их плачевную участь, но вот чем обыкновенно кончали и кончают идеальные юноши вообще... Иные из них навсегда остаются в утешительном убеждении, что они непоняты; в то время, когда все вокруг них движется, изменяется, они все те же: все ту же воспевают измену милой и все так же тщетно добиваются к ней внимания; совершенное равнодушие публики для них не более, как новое доказательство задушевной мысли: «я непонят!», которая, наконец, овладевает ими совершенно, ожесточает их. Ничего не может быть в мире несноснее подобного существа, мелко, раздражительно самолюбивого; в их присутствии душно, с ними нельзя спорить, нельзя говорить; они во всем видят другой какой-то смысл, подозревают оскорбление. Из таких-то людей образуются обыкновенно полчища задорнейших и безрассуднейших гонителей всего нового, как бы ни было очевидно его превосходство над старым. Всякий успех времени они почитают личною обидою для себя. Добрые, но ограниченные вначале, они нередко под конец прибегают к таким средствам, от которых отскочили бы с ужасом в то время, когда еще вопль уязвленного самолюбия не заглушал в них голоса рассудка и совести,— и тогда-то становятся предметом посмеяния и заслуженного презрения всех и каждого. Другие же (и бо́льшая часть), своевременно выкинув из головы школьные бредни (под именем школьных бредней на языке солидных людей разумеются всякие стремления и цели, вне положительных житейских стремлений и целей), делаются чиновниками и очень быстро идут вперед, потому что уже общее правило, что если идеальный юноша сделается чиновником, то в способности обнаруживать совершенную благонамеренность и вообще заискивать благорасположение начальства заткнет

за пояс даже человека, прозябающего в департаментах и канцеляриях, как говорится, с малых когтей. Есть даже мнение, что из идеальных юношей и всяких романтиков выходят очень часто тончайшие плуты. Как бы то ни было, вдруг возникает в них страсть к разным почетным украшениям, и они не пропускают случая, даже искусно изыскивают средства обременять себя ими, уверяя, впрочем, что носят их единственно по необходимости. Карманные дела их также принимают надлежащий ход. По чувству ли семейных обязанностей и влиянию жен (все они люди женатые — чаще по расчету, чем по любви, и все под башмаком жен), или уже семя будущего плода хранилось в самой натуре их,— почему бы то ни было, презрение к вещественным благам вдруг сменяется в них чем-то совершенно противоположным. Нельзя надивиться быстроте, с какою возникают у них многоэтажные домы, дачи и значительные поместья. О стихах, разумеется, нет и помину; теперь, в свою очередь, они называют стихи и вообще всю литературу школьными бреднями, занятием людей праздных, ни к чему дельному не способных; но не без удовольствия говорят о своих старых грешках, давая заметить, что если б хотели, то и на литературном поприще не уступили бы никому. Некоторые, впрочем, до самой смерти удерживают за собою звание литераторов, напоминая о себе в десять лет раз каким-нибудь мадригалом, апологом или эклогою, которая, попавшись нечаянно в какой-нибудь новой книге, вдруг переносит удивленного читателя лет за тридцать назад. Если б мы писали физиологию такого рода чиновников, то следовало бы еще заметить, что подобные господа навсегда удерживают за собою право суждения и резких приговоров над литературными произведениями и что мнения их, как людей, которые сами когда-то писали и, следовательно, не хуже никого другого смыслят в литературе, весьма уважаются, особенно в том ведомстве, которое находится под их начальством или в какой-нибудь от них зависимости. Перед концом жизни, когда стукнет пятьдесят лет служебной деятельности бывшего поэта, теперь важного человека, и благодарные подчиненные, сложившись по красненькой, зададут ему пир в ознаменование столь радостного события,— в последний раз ярко вспыхивает литера-

турная слава бывшего поэта, ярко вспыхивает, как лампада, готовая погаснуть. Произносится речь, в которой, по исчислении гражданских и служебных добродетелей хозяина, исчисляются его литературные труды, его заслуги отечественной словесности. Раскрывается книга, богато переплетенная. Снова являются на свет божий красоты красноречия и поэзии, уже несколько десятков лет никого не восхищавшие, исторгают восторженные рукоплескания, вызывают слезы на глаза умиленных чиновников, подчиненных хозяина. Пьют здоровье хозяина-литератора, подарившего и среди важных служебных занятий родную литературу несколькими благоуханными цветами своей музы, которые ежеминутно будут напоминать его имя и вместе с гражданскими доблестями дойдут до отдаленного потомства. Снова читают. Спрашивают себя: где в наше время найти образчики такого красноречия? такого стиха? Сожалеют об упадке новейшей литературы, о дурном направлении, о пренебрежении образцов. Снова пьют. Снова произносят речь, обнимают хозяина, благоговейно внимают каждому его слову, и хозяин с головы до пяток торжествует...

Но бо́льшая часть идеальных юношей, начав Петербургом и мечтами о высшей деятельности, оканчивают деревнею и халатом. В деревне способ препровождения времени их различен. Я знал одного помещика, который, проснувшись поутру, задавал себе такой вопрос: «не поехать ли сегодня к Петру Иванычу?» — И затем продолжал так: «в самом деле, я давно у него не бывал; сосед хороший; я думаю, сердится... Ванька, одеваться!» Одевшись, помещик переходил в другую комнату, где уже был накрыт завтрак и стоял изрядный графинчик водки. «Здравствуйте, Петр Иваныч»,— говорил он и вслед за тем продолжал голосом воображаемого Петра Иваныча: «А! любезнейший сосед! Как поживаете? Очень рад дорогому гостю... Ну, чем вас потчевать?.. Не угодно ли водки?» — «Отчего же и не выпить?» — говорил помещик своим голосом и выпивал рюмку. «Ну, как я рад, что вас вижу,— продолжал он голосом Петра Иваныча; — да что вы не садитесь, совсем не кушаете ничего? да выпейте еще рюмочку!» — «Не много ли будет?» — отвечал помещик своим голосом и выпивал вторую рюмку. Затем, между

разговором, Петр Иваныч обыкновенно убеждал его выпить третью, четвертую, пятую, шестую. Помещик пил и, наконец, выпивши, по убедительной просьбе Петра Иваныча, еще рюмочку на прощанье, насилу добирался домой, то есть в другую комнату, где тотчас и засыпал... На другой день он так же точно делал визит другому соседу — Карпу Степанычу, на третий Луке Прохорычу и, разнообразя таким образом деревенское свое существование, достиг преклонной старости, ни разу не поссорившись ни с одним соседом... Но с утра он смотрел на жизнь кисло, иногда предавался воспоминаниям и плакал... В юности он был романтик<...>

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выпуски 1-й и 2-й. СПб. 1847.

Слова нет! Настоящее положение русской литературы совсем не так печально, как многие думают. Умные люди утверждают, что оно даже очень хорошо. Русская литература поумнела и быстро вступает в период зрелости,— так говорят умные люди и доказательства приводят основательные: она не производит стихотворений, она отказалась от изображения сильных, могучих и клокочущих страстей, громадных личностей; Звонские, Лирские, Гремины совсем вывелись в ней; место их заняли Петровы, Ивановы, Сидоровы; мещанская слабость изображать большой свет с графами и графинями, мебелью от Гамбса и Тура, духами от Марса и мороженым от Резанова также проходит в ней. Она даже шагнула дальше, с некоторого времени начала обнаруживать храбрость неслыханную... Живым ключом забился в ней новый родник, из которого она прежде гнушалась черпать; цель ее стала благороднее и дельнее чем когда-либо... Отказавшись от изображения бурь и волнений, без сомнения возвышенных и глубоких, возникающих в благовонной атмосфере аристократических зал, при громе бальной музыки и ослепительном освещении, она не гнушается темных дел, страстей и страданий низменного и бедного мира, освещенного лучиной. Теперь в ней уже не редкость произведение, в котором не встретите вы не только князей, графов и

генералов, но даже лиц, имеющих обер-офицерский чин,— и она умеет такими произведениями не отталкивать, но привлекать к себе публику... Мир старух, желтых и страшных, посвятивших себя гнилому тряпью, вне которого нет для них ни интересов, ни радостей, ни самой жизни, стариков сердитых и мрачных; женщин жалких и возмущающих, которые протягивают руку украдкой и краснеют или делаются жертвой позора и нищеты; детей бледных и болезненных, которые дрожат и скачут от холода, выгнанные на свет божий нуждой из сырого подвала,— темен и страшен такой мир, и много надобно было нашей литературе, недавно еще щепетильной и чопорной, передумать и пережить, чтобы решиться низойти до него,— приподнять хоть немного завесу, скрывающую его мрачные тайны, и она приподняла ее... Сделав великий шаг твердо и сознательно, она не смущается позорными упреками, которые, к стыду нашего времени, сыплются еще на нее из разных углов, за то, что занимается она предметами *ничтожными и унизительными для нее, роется в грязи*... Она сама знает, что ее теперешние герои — нередко люди, которых привычки грубы, страдания обыкновенны до пошлости, страсти неблаговоспитанны, в которых нет ничего романтического и привлекательного, скорей много отталкивающего, но она знает также, что они люди... Деликатных и благовоспитанных порицателей, которые торжественно объявляют таких людей нестоящими внимания, а картины их быта не возбуждающими ничего, кроме отвращения,— она и слушать не хочет! Она знает их вкус: забвения подавляющей действительности — обмана хотят они, но его-то и не дает она им; напротив, она как нарочно взялась возмущать их спокойствие, портить пищеварение...

Слова нет, литература поумнела, но... интересных книг выходит все-таки мало, и те, которые кричат: «читать нечего», почти правы... Публика не то чтоб вовсе равнодушна к русской литературе, но и не слишком-то занимается ею — и винить публику было бы грешно. Редко является произведение, которое самим делом напомнило бы публике о существовании русской литературы, ее процветании, возмужалости и других похвальных качествах, охотно за нею теперь признаваемых. «Современник» радуется, что ему в настоящее время

посчастливилось представить на страницах своих два такие произведения: мы говорим о романе г. Искандера «Кто виноват» и о романе г. Гончарова «Обыкновенная история», о которых говорит теперь весь Петербург. Но много ли в год является таких произведений? Даже каждый ли год является по одному такому произведению?.. А между тем потребность к чтению усиливается. Люди сметливые пользуются такою потребностью и недостатком собственно русских книг, способных удовлетворить ее, и издают переводы. Переводные романы расходятся — и сметливые люди не в накладе... И что же тут дурного? Публике нравится читать переводы, сметливым людям нравится издавать их; все, кажется, в порядке вещей... дело простое и законное... Не странно ли после того читать при объявлении об ином издании переводов рассуждение об испорченности и развращении вкуса публики, дурном направлении литературы, и уверение...— в чем бы вы думали?.. — что новое издание поставило себе целью исправить вкус, изгнать дурное направление, одним словом: спасти литературу и публику от конечной погибели?.. Да полно, такую ли цель поставило себе новое издание?.. Нет, между прочим и потому, что если б и действительно погибал вкус, то исправление его зависит не от таких мер... Ничего нет дурного, трудясь хотя бы и над переводом романов, желать себе вознаграждения за труд от тех, кто нуждается в переводах,— поэтому мы прямо скажем, что цель всех подобных изданий — надежда на хороший сбыт, доставляющий вещественную прибыль... К чему же превыспренные разглагольствия, столь неуместные? Зачем добровольно делать себя смешным? к чему набрасывать тень чего-то дурного на дело, конечно довольно ничтожное, но совершенно невинное, усилием представить его в другом виде? <...>

ХОЛОСТЯК, ***комедия в трех действиях, Ив. Тургенева.***

Четырнадцатого октября происходил в Александринском театре спектакль, выходящий из ряда обыкновенных: шел бенефис одного из любимейших артистов как московской, так и петербургской публики — М. С. Щеп-

кина, и в бенефис этот давалась в первый раз новая русская комедия «Холостяк», соч. И. С. Тургенева. Талант г. Тургенева хорошо известен читателям «Современника». До 1847 года г. Тургенев, начавший свое поприще стихами, не имел определенной физиономии как писатель, и можно сказать, что известность его в литературе началась с «Записок охотника», появившихся в 1847 году в «Современнике». В них талант его определился резко. В прошлом году г. Тургенев попробовал свой многосторонний талант в комедии, и опыт был удачен; с той поры он постоянно пишет комедии, и кроме напечатанных уже и известных публике пиес «Где тонко, там и рвется» и «Холостяк», нам известны еще две комедии г. Тургенева, из которых одна, под названием «Завтрак у предводителя», скоро будет дана, как мы слышали, на Александринском театре. Наконец пятое, недавнее произведение г. Тургенева, комедия в пяти актах «Студент», уже обещано автором редакции «Современника», и мы скоро надеемся представить эту комедию нашим читателям.

Некоторые утверждают, что комедия есть настоящий род г. Тургенева, что талант его собственно лучше всего проявляется в комедиях. Мы думаем, что талант г. Тургенева такого рода, что он может примениться до известной степени ко всякому роду: хотелось ему писать рассказы, он писал рассказы, и чем же хуже проявлялся его прекрасный талант в «Записках охотника», чем в комедиях? вздумалось писать комедии, и он пишет комедии, и комедии его нравятся; даже когда г. Тургеневу приходила, бывало, охота писать стихи, талант его и тут не терялся совсем, а иногда даже проявлялся блистательно. В этой многосторонности таланта г. Тургенева, по нашему мнению, скрывается и слабая сторона его, о которой поговорим при случае. Как бы то ни было, несомненно, что г. Тургенев столько же способен к комедии, сколько и к рассказу или роману, и если он решился писать комедии, а не рассказы и повести, то тут мы видим одно преимущество: русская повесть еще имеет на своей стороне несколько дарований, а хорошие комедии, как известно всем, появляются у нас так редко.

В прошлой книжке «Современника» в «Письме о русской журналистике» было сказано подробно о литера-

турных достоинствах и недостатках «Холостяка»; поэтому нам остается сказать теперь только о сценической стороне комедии и о том, как выполнили ее артисты.

Главный недостаток, много повредивший полному успеху комедии и замеченный всеми,— растянутость, недостаток почти неизбежный в каждом первом произведении для сцены и за который, следовательно, нельзя винить автора. В первом акте почти нет ничего лишнего, но второй утомил зрителей. Начинается он монологом, в котором Вилицкий высказывает свое колебание: жениться на Маше ему уже не хочется после того, как светский друг его фон Фонк нашел и Машу и всё семейство ее слишком недостойными великой чести породниться с Вилицким; отказаться и страшно и совестно. Приходит фон Фонк с греком Созоменосом (лицо, заметим мимоходом, на сцене совершенно лишнее, чего не кажется в чтении), и Вилицкий, прося его совета в своем затруднительном положении, опять отчасти пересказывает то, что уже высказал в первом своем монологе. Первый акт начинается монологом слуги, развалившегося в барских креслах, второй кончается тем, что слуга ложится на господский диван отдохнуть, с соответствующими прибаутками. Эти две сцены произвели неприятное впечатление, напомнив Осипа (в «Ревизоре»). Мы уверены, что автор совершенно не рассчитывал посмешить ими, а поместил их потому, что так действительно бывает в жизни; и в чтении они проходят совершенно незаметно; но автор не расчел, что на сцене их будет произносить актер, и как подобную роль в десять слов нельзя дать хорошему актеру, то, следовательно, плохой актер; что он, пожалуй, вообразит, что собственно от его роли зависит успех или падение всей пьесы, и постарается, чтоб роль вышла как можно поэффектнее. Таким образом из мимолетных десятка слов выйдет нечто торжественное, на чем зритель поневоле приостановит свое внимание, хотя приостановить тут его внимание автор не желал, да и причины не было. Избежание подобных неприятностей, часто обращаемых поверхностными судьями в вину самой пиесе, приобретается только знанием сцены, и часто даже той сцены в особенности, где играется ваша пиеса. Сделаем еще следующее замечание; оно, пожалуй, ничтожно, но по-

казывает, как должен быть осторожен иногда автор, пишущий для сцены. У г. Тургенева часто попадаются несколько тривиальные фамилии. «Где вы остановились?» — «В доме Блинниковой».— «С кем вы приехали?» — «С купцом Сивопятовым» и т. п. Из этого выходит вот что: актер, встретив в своей роли подобную фамилию (особенно, если роль незначительна и досталась плохому актеру), чаще всего думает, что автор вставил ее с намерением рассмешить; поэтому он произносит ее с особенным ударением,— раек хохочет, а образованный зритель, не вникнув в дело, сожалеет, что автор прибегает к такой избитой манере остроумия! Конечно, подобные мелочные промахи могли бы легко быть предупреждены при личном присутствии автора на репетициях пиесы, но г. Тургенева в Петербурге нет. Обращаясь к главному недостатку пиесы — растянутости, заметим еще, что третий акт начинается рассказом, в котором Мошкин передает своему другу Шпундику то, что уже известно зрителю из второго акта; да и самая роль Мошкина (Щепкин) не чужда длиннот и повторений, которые несколько ослабляют производимое ею впечатление.

Вот причины, по которым «Холостяк» не имел того полного и блестящего успеха, которого заслуживал по драматическому содержанию своему и по прекрасному его развитию.

Напрасно стали бы мы искать их в равнодушии публики к комедии, благородной и тонкой, в неуменьи оценить тихое и искусное развитие события, не бросающегося в глаза, но поразительного по своей естественности; нет, публика с явным интересом и удовольствием следила за ходом пиесы, и всё хорошее было замечено и одобрено громкими рукоплесканиями; жаркие толки и споры о новой комедии можно было слышать в партере и коридорах театра, по окончании пиесы, каких не услышите после десятка новых самых эффектных французских водевилей. Ясно, что сочувствие к русской комедии в публике существует: явись настоящая русская комедия — и не увидишь, как полетят со сцены, чтобы уже никогда не возвратиться, жалкие переделки и подражания, бесцветные и безличные, натянутые фарсы и т. п. Еще более порадовало нас сочувствие к русской комедии в наших актерах,—сочувствие, которого нель-

зя было не заметить в представление «Холостяка». Ни тени той самоуверенной небрежности, которая встречается при исполнении фарсов и водевилей, не заметили мы при исполнении «Холостяка». Артисты, видимо, принялись за дело с уважением, подобающим русской комедии, и исполнили его превосходно. Особенно поразил нас г. Максимов, игравший роль Вилицкого, весьма трудную и представляющую много поводов к фарсам, до которых г. Максимов большой охотник в водевилях. Но ни одного фарса, к радости и удивлению многих, не выкинул здесь г. Максимов, доказав тем, что может, если захочет, обходиться и без фарсов. Он играл просто и естественно. Борьба мелкого самолюбия с остатками порядочного чувства, еще сохранившегося в душе Вилицкого, была передана им прекрасно в первом акте; так же хорошо был произнесен начальный монолог второго акта. Можно находить в его игре недостатки; но нам кажется, что трудно сыграть лучше эту роль, столь понятную в чтении и столь трудную, даже местами невозможную для полной передачи на сцене; мудрено дать вполне уразуметь и проследить зрителю, не приготовленному чтением пиесы, внутреннюю мелкую драму, обнаруживающуюся обыкновенно во внешности чуть заметными случайными признаками да игрой физиономии, как и сделано у автора. Подобные характеры лучше улегаются в повести. Как бы то ни было, во всяком случае г. Максимов исполнил свою роль хорошо.

Г. Мартынов исполнил роль Шпундика с искусством и успехом тем более замечательными, что роль его одна из самых незначительных.

Г. Каратыгин 2-й прекрасно сыграл роль фон Фонка, франта и резонёра, гнушающегося бедностью и презирающего низший круг, откуда он сам недавно выскочил. Презрительные улыбки, ужимки и гримасы, поднимание плеч, сатирическое подергивание носа и всей физиономии, беспрестанное охорашивание собственной особы, которая ежеминутно боится замараться от прикосновения окружающих ее плебеев,— всё это было в игре г. Каратыгина и производило непритворный смех.

Г-жа Самойлова 2-я верно передала роль простой русской девушки Маши, а г-жа Линская неподражаемо

хорошо выполнила роль Катерины Савишны Пряжкиной, вдовы и кумушки пожилых лет. Рассказ о знакомстве с генеральшей Бондаидиной вышел у ней художественно верен. У г-жи Линской талант самобытный и оригинальный, особенно поражающий естественностию, по которой она не может быть сравнена ни с кем, кроме г. Мартынова; на сцене она как будто дома, и в голосе ее часто звучат ноты, которые вдруг переносят вас в действительную жизнь, напоминая вам множество сцен и фраз, бог знает когда и где виденных и слышанных. Это признак таланта первостепенного.

Наконец мы дошли до самого бенефициянта, игравшего главную роль старика Мошкина, влюбленного, без собственного ведома, в свою воспитанницу и сватающего ее за другого. Роль эта, как ни трудна она, совершенно по силам и в духе таланта Щепкина. Весь третий акт с самого того места, где начинаются опасения старика за участь своей воспитанницы, был торжеством Щепкина... рукоплескания не умолкали, и этот акт, отдельно взятый, имел огромный успех.

Заключим нашу статью благодарностью бенефициянту за то, что он подарил публику в свой бенефис новой русской комедией, и вместе с тем не забудем поблагодарить просвещенную дирекцию театров, давшую ему средства поставить на сцену эту комедию.

РУССКИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПОЭТЫ

I

Современное состояние русской поэзии.— О стихотворениях, присылаемых в редакцию «Современника».— Некоторые из этих стихотворений.— Два новые стихотворения Н. Огарева.— Стихотворение Т. Л.— Г. Ф. Т—в и его стихотворения (1836—1840).

Стихов нет. Немногие об этом жалеют, многие этому радуются, бо́льшая часть ничего об этом не думает. Но отчего нет стихов? Причина очевидна. В этом роде литературы преимущественно и прежде всего обращает на себя внимание форма. Чем труднее достижение чего-

либо, тем более в наших глазах выигрывает достигающий. Но трудность выражения или формы обуславливается, разумеется, кроме личности писателя, степенью развития и обработанности языка. Чем менее обработан язык, тем труднее подчинить его формам, требуемым от того или другого рода литературных произведений; по мере же постепенного развития и совершенствования языка постепенно исчезает и трудность выражения, так что изящная форма уже перестает быть достоинством, а делается необходимым условием всякого литературного произведения.

Наша литература, возникшая и укрепившаяся в самое короткое время, находится уже на той степени, когда изящная форма почитается не достоинством, а условием необходимым. Лет десять тому назад, даже и меньше, весьма охотно прощали отсутствие содержания и даже смысла за несколько удачных выражений, гладкость и благозвучие. Стоит только припомнить времена гг. Марлинского и Бенедиктова, когда форма составляла первое условие, а содержание едва ли входило в число условий, необходимых для литературного произведения. Это преимущество, отдаваемое форме в ущерб содержанию, отчасти и было причиною той вычурности, которою отличались оба эти писателя. Несколько лет тому назад, при оценке литературного произведения, прежде всего обращали внимание на слог, потому что хороший слог был явлением редким; теперь же почти не говорят о слоге, потому что все пишут более или менее хорошо. Пушкин и Лермонтов до такой степени усвоили нашему языку стихотворную форму, что написать теперь гладенькое стихотворение сумеет всякий, владеющий в некоторой степени механизмом языка; и потому гладкость и правильность стиха не составляют уже в наше время ни малейшего достоинства, а так как стихотворная форма непременно стесняет автора, не выкупая недостатков его произведения, то весьма понятно, что проза, более доступная по форме, представляет более простора его уму, взгляду на вещи и наблюдательности, на которые обработанность языка не имеет влияния и которые составляют неотъемлемую, личную принадлежность писателя...

Вот главная причина, почему нет стихов вообще. Почему нет хороших стихов, тому другая причина: нет

поэтических талантов или их слишком мало и они также обратились к прозе. Это явление тоже нередко. В этой самой книжке «Современника» в обозрении литературы определили мы до некоторой степени разницу между направлением нынешней литературной эпохи и той, которая ей предшествовала. То была эпоха литературного бескорыстия, когда писали «из чести лишь одной»; и даже бывали такие авторы, которые сами платили за честь увидеть свое имя в печати. Мы сами можем насчитать десяток таких повестей, за которые теперь платили бы если не на вес золота, то гораздо более, чем на вес серебра, и которые тогда печатались даром. Теперь эпоха положительная. Каждый литератор, естественно, хочет извлечь наибольшую выгоду из своего таланта, а при всеобщем равнодушии к стихам и при невозможности много писать стихами, конечно, проза представляет более удобств в этом отношении. Писатель, чувствующий в себе искру поэтического таланта, десять, пятнадцать лет тому назад непременно раздувал бы ее, сколько возможно, лелеял бы свой талант, как говорили в старину, и плодом этого было бы, конечно, несколько более или менее удачных стихотворений. Все бы читали и хвалили; может быть, к ним писали бы музыку и пели бы их, автора же величали бы поэтом, и он был бы совершенно счастлив; ему ничего более не было бы нужно, и он знал, что ничего более и добиться нельзя. Но поэту нашего времени этого мало. И, сознавая, что в наше время только поэтический талант, равный пушкинскому, мог бы доставить автору и Славу и *Деньги*, он предпочитает распорядиться иначе: поэтическую искру свою разводит он на множество прозаических статей: он пишет повести, рецензии, фельетоны и, получая за них с журналистов хорошие деньги, без сожаления видит, как поэтическая способность его с каждым годом уменьшается, как даже самая форма, которою он овладел было в значительной степени, делается ему с каждым годом менее доступною и, наконец, представляет ему трудности непреодолимые. Дело сделано: в литературе одним поэтом меньше, а вместо двух-трех десятков стихотворений публика получила несколько повестей, рецензий и фельетонов. В нашей литературе есть несколько таких примеров.

Публика не в накладе; двух-трех десятков стихотворений, пропавших таким образом, также не очень жаль; но дело в том, что у кого-нибудь из таких авторов, добровольно отказывающихся от поэтического поприща, может быть, развился бы значительный и самобытный поэтический талант, если б они продолжали раздувать свою поэтическую искру. А поэтический талант, хоть и не обширный, лишь бы самостоятельный, стоит десяти талантов повествовательных, потому что такие таланты редки во всех литературах. В доказательство приведем хоть нашу: у нас немало можно насчитать талантливых беллетристов, а поэтов, даже и второстепенных, весьма мало.

К числу причин малого количества стихов в настоящее время должно отнести и дружные осуждения журналистики, каким, часто без разбора, подвергались у нас стихи в последние годы. В применении к предшествовавшей стихотворной эпохе, когда люди без таланта и призвания угрожали наводнить всю литературу плохими стихами, это было хорошо, даже необходимо. Но нам кажется, что теперь, когда дело уже сделано, нужно более снисхождения, более внимания к появляющимся поэтам. Наши журналы смотрят и приучили смотреть своих читателей на всякую новую книжку стихов так недружелюбно, что может случиться, что и человек весьма умный, чувствующий в себе поэтический талант, побоится выступить со своими стихами в такое невыгодное для поэтов время. А одна возможность подобного случая нас пугает. Как ни толкуют о положительности нашего времени, мы уверены, что хороший поэт был бы совсем не лишний в настоящей русской литературе: между любителями чтения всегда есть люди (и мы имеем слабость принадлежать к числу их), которым недовольно одних романов и повестей, как бы они ни были хороши, у которых просто есть слабость, обратившаяся в потребность, время от времени прочесть новое хорошее стихотворение и которые, за недостатком хороших, радехоньки иногда прочесть даже чуть-чуть порядочное стихотворение... да и в каком сердце не найдется струнки, которая не отозвалась бы на прекрасную поэтическую мысль, изящно выраженную? Слушаем же мы Гризи и Марио, наслаждаемся ими, даже говорим,

что жить без них не можем; ведь все это те же стихи, поэзия, только в других формах,— и кто иначе думает, тот не понимает ни поэзии, ни итальянской оперы и истинно не наслаждается ею.

Итак, потребность стихов в читателях существует несомненно. Если есть потребность, то невозможно, чтоб не было и средств удовлетворить ее. Поэтических талантов даже не так мало у нас, как многие думают, и настоящая цель этих статей есть именно показать, что еще недавно поэтов с истинным талантом у нас являлось гораздо более, чем привыкли считать. Только в последние несколько лет (менее десяти) незаметно в этом отношении приращения, может быть отчасти вследствие причин, изложенных выше. Прежде чем перейти к нашей задаче, скажем несколько слов о том, в каком состоянии находится русская поэзия в настоящую минуту.

Читатель сам знает, что теперь она очень бедна. Отдельно стихов выходит очень мало; лучшие журналы наши вовсе не печатают стихов; стихотворения, помещаемые в журналах второстепенных, большею частью тоже посредственные. В редакцию «Современника», как и во все редакции журналов, присылаются нередко стихотворения; если авторы, не видя своих произведений напечатанными, думают, что мы считаем их всех без исключения людьми без таланта, то мы спешим успокоить их: в некоторых из присланных к нам стихотворений заметны признаки таланта несомненного; не печатаем же мы их, во-первых, потому, что таких стихотворений мало, а во-вторых, и главное, потому, что, обнаруживая талант, почти ни одно из этих стихотворений не обнаруживает самобытности. Это не мешает автору писать их: совершенствуя свой талант, он может достигнуть самобытности,— но мешает дельному журналу печатать их. Мы, однако ж, готовы с удовольствием замечать все хорошее и пользуемся этим случаем, чтоб привести здесь некоторые из полученных нами стихотворений,— разумеется, такие, которые сами по себе имеют достоинства, оправдывающие их помещение, и которые дают повод надеяться чего-нибудь получше от авторов их в будущем. В этом отношении первое место занимают два следующие стихотворения г. Н. Сп. Вот они:

1

Я все еще стараюсь как-нибудь
Свою печаль и сердце обмануть
И думаю, что слух пронесся ложный,
Что это все один обман безбожный,
Что переменится ужасная молва,
Что все еще ты, ангел мой, жива,
Что ты сама молву пустую слышишь
И скоро мне, смеясь, о том напишешь
И скажешь так: «Тебя мне было жаль,
Не правда ли? Ну что ж, твоя печаль
Прошла теперь? Ты сердцем стал спокоен?
Иль все еще пустой молвой расстроен —
И панихиды служишь обо мне,
И думаешь, что в райской стороне
Душа моя витает и порою,
Незримая, ношусь я над тобою.
И что ж, скажи, тогда душа твоя
Шепнула ли тебе, что близко я?»
И дни бегут, и все как бы в надежде
Жду от тебя я писем, как и прежде.
Но жду напрасно я,— и самому
Порой мне будто странно, почему
К тебе я сам не напишу ни слова,
И все еще мне кажется, что снова
Когда-нибудь мы встретимся с тобой,
И снова я услышу голос твой,
Увижу взор твой, полный чудной власти,
И неги, и любви, и томной страсти.
О многом мне расскажешь ты тогда,—
И вспомним мы прошедшие года,
Минувшие восторги и страданья,
И сладость первого и робкого свиданья,
И прежние надежды и мечты...
Но между тем в сырой могиле ты.
Без жалости тебя разрушит тленье,
И, может быть, в то самое мгновенье,
Когда с такой любовью и тоской
Я о тебе мечтаю, ангел мой,
Могильный червь твое уж сердце точит,
Холодный дождь твою могилу мочит,
Кругом тебя пустынный, дикий вид,
И буря над твоей могилою шумит.

Н. Сп.

2

Как птичка, весь день распевая,
Была ты беспечна, резва, весела,
Казалось, от неба, от светлого рая
Ты радость на землю с собой принесла.

И музыкой нежной звучал голосок;
Твой смех был так чудно приятен и звонок,
Ты сердцем была настоящий ребенок,
А с виду роскошный и дивный цветок.

Уста, оживленные детской улыбкой,
Дышали такой тишиной,
Как будто на землю зашла ты ошибкой,
Не зная забот и печали земной.

Но мать твоя втайне вздыхала глубоко,
Едва доставая насущный трудом,
И в грязь, и в ненастье, и в холод жестокий
В салопишке ветхом ходила пешком.

Охотно она бы легла уж в могилу,
С тобою лишь было расстаться ей жаль,
В любви к тебе черпая бодрость и силу,
Сносила она терпеливо печаль.

Бывало, ты спишь, и чудесные грезы
Играют румянцем горячих ланит;
А мать, подавляя в душе своей слезы,
Чуть свет уж давно за работой сидит.

Купивши ценою бессонниц, страданий,
Дарила тебе она скромный наряд —
Предмет твоих давних, невинных желаний;
Ты шла в нем к обедне, был весел твой взгляд.

Но время пришло роковое, и очи
Задумчивей стали, и бедный твой ум
Все понял. Исчезнули сладкие ночи,
И сердце заныло под тяжестью дум.

В ваш угол явилась нежданная сваха,
Мать думала долго — и рада была...
Всю ночь ты проплакала с тайного страха
И замуж за старого плута пошла.

Твой муж ростовщик был и грубый и грязный,
Тебя наряжал из своей кладовой.
Надела ты жемчуг и перстень алмазный,
Была ты сыта и не зналась с нуждой.

Бывало, ты в гости оденешься пышно,—
И мать на тебя с умиленьем глядит;
А ночью ты плачешь незримо, неслышно:
В душе твоей горечь, и мука, и стыд.

Без грусти, охотно легла б ты в могилу
Лишь бедную мать становилося жаль.
В борьбе изнывая, крепясь через силу,
Глубоко ты в сердце скрывала печаль.

Н. Сп.

Прочитав эти прекрасные стихотворения, читатель поймет сказанное нами выше о недостатке самобытности в наших начинающих поэтах. Если г. Сп. сумеет избежать подражательности, чего мы искренно желаем, он произведет что-нибудь действительно замечательное.

Недурны также следующие два стихотворения, принадлежащие г-ну Сол-ну.

1

Пока неопытен, покамест сердцем молод,
Не чувствуешь, как вкруг твоей души,
Как ветер вкруг листов, колебля их в тиши,
Уж носится тревожный жизни холод;
Все кажется: семья волнений и забот
Натешится над нами и пройдет,
Как туча темною, бесплодной полосою
Иль разразясь минутною грозою.
Но вот за годом год, и голова седеет,
И гаснет сердца жар, и разум холодеет;
Начнешь печали жизни примечать,
Как лом в костях, по осени, в ненастье;
Придет забота страсти укрощать,
Поменьше верить в будущее счастье,
Надеяться не станешь и порой,
Как улыбнется жизнь, с сомненьем покачаешь
До срока поседевшей головой,
И недоверчиво счастливый миг встречаешь.

Так в знойный летний день, на небеса смотря,
Смотря на тихий лес и дремлющие воды,
Все думаешь — неверен сон природы;
Все кажется — угаснет вот заря.
И обнесется свод небесный черной тучей,
Меж спящих роз промчится вихрь летучий,
Как конь невзнузданный; нежданный грянет гром,
И туча хлынет проливным дождем,
Примнет посев на глади поля злачной
И иссечет цветы и плод дерев прозрачный.

Вл. Сол-н

2

Ты молода еще, покамест не буди
Мечты тоскливые в младенческой груди;
Страшися их: они обманут иль встревожат
Невинных чувств еще отрадный сон,
Сердечный пламень, может быть, умножат;

А без утрат, бог весть, пройдет ли он?
К чему ж спешить, напрасно волноваться?
Итак, мы жизнию не тешимся давно,
На радость скупы мы; и — больно сознаваться —
Нам грусть и радости едва ль не все равно;
Из нас у каждого в груди болеет рана;
А между тем еще мы не успели жить...
Но сердцем и умом исчахнули так рано,
Что трудно нам и мыслить и любить.

Вл. Сол-н

Если в первых двух стихотворениях довольно явно влияние Пушкина и автора нескольких стихотворений, рассеянных по журналам и сборникам, который теперь уже стихов не пишет, то на последних двух нельзя не заметить влияния Лермонтова.

Наконец г. Лизандер, поэт, пишущий уже давно и уже издавший книжку стихов, прислал нам несколько новых своих стихотворений для помещения в «Современнике». Мы помещаем из них следующие:

1

ДОРОГА

Не одна в полях дорожка пролегает,
Не одна холмы и рощи огибает,
Не одна вдали синеет, извиваясь,
С синевой небес сияющих сливаясь.

Много их по свету люди проложили:
Горе, труд, любовь, измена их торили;
Проторив, по ним толпами шумно бродят:
Счастья ищут все по всем, да не находят.

Не одной дорожкой торною ходил я;
Не одну из них синеющих любил я,—
Да пора тех дней дорожкой прокатилася...
Лишь одна из них давно мне полюбилася.

Не бежит она по рощице зеленой;
Не глядит она в стекло речного лона;
И не пашней бархат луга обегает;
И не холм, цветами убранный, ласкает.

Все бежит она пустынными полями,
По горам нагим, сыпучими песками,
Нечем, с ней, глухой, очам полюбоваться:
Сердце, сердце с ней не может распрощаться...

Как по ней одной все лето проходил я,
Накатал ее, глухую, наторил я:
Да с зимы по ней уж больше не хожу я,—
Только в даль ее, задумавшись, гляжу я.

Не один по ней ходил я в лето знойное,
Не одна по ней нога шла беспокойная:
Как со мной по ней ходила ножка нежная,
А в руке была все ручка белоснежная.

Не один по той дорожке и езжал я,
Не один ее в то лето накатал я:
Все мы с милою дорожкой той каталися
Да во тьме ночной, обнявшись, целовалися...

Как и с тех ночей она мне полюбилася...
Да и та пора дорожкой прокатилася:
Занесло поля снегами и метелями,—
А без милой дни все тянутся неделями.

И один уж я дорожкой тою снежною
Не хожу: все вдаль гляжу с тоской мятежною,
О бывалых днях безмолвно вспоминаючи
Да метелей шум, задумавшись, внимаючи.

Не шумят они, не воют вьюги шумные,—
Не шумят — поют под сны мои раздумные:
Шепчут, шепчут мне знакомыми признаньями,
Веют, веют мне горячими лобзаньями...

2

В забвении нежном на грудь мою тихо поникнув,
Она меня долго и нежно лобзала;
А сердце мое, уж давно от забвенья отвыкнув,
Под звуки лобзаний тоской замирало.
Печально глядел я на лик ее чистый и нежный,
Печально лобзал я чело молодое:
Я знал, что страдать ей за счастье любви неизбежно,—
И больно мне было за сердце родное...

И думал я: «ангел! не вечно же будет хранима
Любовь твоя тайной немой и глубокой.
Незримое ныне все ж станет когда-нибудь зримо
Для взоров толпы равнодушно-жестокой.
Тогда осуждать прогремит ее гордое право
Холодной насмешкой, обидной молвою,—
И ты, *друг бесценный*, гонимый и зло и лукаво,
Поникнешь в стыде и в слезах головою».

И думал о том я, что нежно, что страстно люблю я,
О том, что она меня пламенно любит;
Что, нежно любимой, ее разлюбить не могу я
И, нежно любима, она не разлюбит...
Я думал... И, страстно лобзаньям ее отвечая,
Грядущего власти молился безмолвно,
Чтоб все, что́ в нем сладко, все ей отдала роковая,
А мне — что́ в нем слез и страдания полно.

В первом стихотворении поражает напряженность тона и странная смесь простонародных выражений с книжными. Второе — прекрасно, жаль только, что оно также не чуждо тяжелой напряженности и книжных оборотов.

Если мы приведем здесь еще две небольшие пьесы автора «Старого дома», «Сторожа» и нескольких других превосходных стихотворений, которые всегда останутся памятны любителям стихов, то вот будет и все, что может в настоящее время редакция «Современника» представить своим читателям по части стихов.

1

FATUM

Вхожу я в церковь: там стоят два гроба,
Окружены молящимися оба.
Один был длинный гроб, и видел в нем
Я мертвеца с измученным лицом,
С улыбкою отчаянья глухого,
И кости лишь да кожа — так худого.
Казался он не стар, но был уж сед,
Как будто б он погиб под ношей бед.
Бледна, как он, и столько же худая,
Стояла возле женщина, рыдая,
И дети нищие на мертвеца
Смотрели с детской глупостью лица.

А гроб другой был мал, и в нем лежало
Дитя — так тихо, будто б задремало.
Отец и мать у гроба, и вокруг
Одетых в траур было много слуг.
Печально мать-красавица молчала,
То плакала, то тяжело вздыхала;
Отец в себя казался углублен
И все шептал: зачем он был рожден?

И я тоски не в силах был сносить;
Я вышел вон и в лес ушел бродить,
И ветер выл, и тучи тяготели,
И, на корнях треща, качались ели.

2

ЗАБЫТО

Я ему сказала:
«Возвратился, милый!
Дни прошли и годы —
Я не позабыла.

Я все так же, так же,
Как в ту ночь, что — знаешь? —
Все люблю, как прежде,
Так, как ты желаешь».

Он пожал плечами,
Не сказал ни слова,
И хотел он тут же
Удалиться снова.

Я его схватила,
Я его держала
За руки, за платье,
Все не отпускала,

Пала на колени,
Целовала руки,
Ноги целовала
Плакала от муки.

Он взглянул мне в очи:
Тут мне показалось,
Что меня он любит,
Что в нем сердце сжалось.

Он взглянул мне в очи,
Отвернулся снова,
И прошел он мимо,
Не сказал ни слова!

Те, которые помнят стихотворения г. Огарева, согласятся с нами, что приведенные нами пьесы — далеко не лучшие из его произведений; но мы поместили их потому, что пришлось к слову, и потому еще, что любители таланта г. Огарева, конечно, не без удовольствия прочтут и эти стихотворения.

Наконец есть у нас еще стихотворение, дорогое нам по личным нашим воспоминаниям. Может быть, потому оно нам очень нравится.

Один, опять один я. Разошлась
Толпа гостей, скучая. Вот и полночь.

За тучами, клубясь, несутся тучи,
И тяжело на землю налегли
Угрюмо неподвижные туманы.
Не спится мне, не спится... Нет! во мне
Тревожные, напрасные желанья,
Неуловимо быстрые мечты
И призраки несбыточного счастья
Сменяются проворно... Но тоска
На самом дне встревоженного сердца,
Как спящая холодная змея,
Покоится. Мне тяжело. Напрасно
Хочу я рассмеяться, позабыться,
Заснуть, по крайней мере: дух угрюмый
Не спит, не дремлет... странные картины
Являются задумчивому взору.
То чудится мне мертвое лицо,—
Лицо мне незнакомое, немое,
Все бледное, с закрытыми глазами,
И будто ждет ответа... то во тьме
Мелькает образ девушки, давно
Мной позабытой... Опустив глаза
И наклонив печальную головку,
Она проходит мимо... слабый вздох
Едва заметно грудь приподнимает...
То видится мне сад — обширный сад...
Под липой одинокой, обнаженной,
Сижу я, жду кого-то... ветер гонит
По желтому песку сухие листья...
И робкими, послушными роями
Они бегут все дальше, дальше, мимо...
То вижу я себя на лавке длинной,
Среди моих товарищей... Учитель —
Красноречивый, страстный, молодой —
Нам говорит о боге... молчаливо
Трепещут наши души... легким жаром
Пылают наши лица; гордой силой
Исполнен каждый юноша... потом
Лет через пять в том городе далеком
Наставника я встретил... Поклонились
Друг другу мы неловко, торопливо
И тотчас разошлись. Но я заметить
Успел его смиренную походку,
И робкий взгляд, и старческую бледность...
То, наконец, я вижу дом огромный,
Заброшенный, пустой — мое гнездо,
Где вырос я, где я мечтал, бывало,
О будущем, куда я не вернусь...
И вот я вспомнил: я стоял однажды
Среди высоких гор, в долине тесной...
Кругом ни травки... Камни все да камни,
Да желтый, мелкий мох. У ног моих
Бежал ручей, проворный, неглубокий,

И под скалой, в расселине, внезапно
Он исчезал с каким-то глупым шумом...
Вот жизнь моя! подумал я тогда.

. . . .

Но гости те... Кому из них могу я
Завидовать? Где тот, который смело
И без обмана скажет мне: «я жил!»
Один из них, добряк здоровый, глуп
И знает сам, что глуп... ему неловко;
Другой сегодня счастлив: он влюблен
И светел, тих и важен, как ребенок,
Одетый по-воскресному... другой
Острит или болезненно скучает...
А тот себе придумал сам работу,
Ненужную, бесплодную,— хлопочет
И рад, что «подвигается вперед»...
Тот — юноша восторженный, а тот —
Чувствителен, но мелок и ничтожен...

. . . .

Мне весело... но ты меж тем, о ночь!
Не медли — проходи скорей и снова
Меня предай заботам милой жизни.

1844 *Т. Л.*

Вот все поэтические богатства, которые в настоящее время находились в распоряжении редакции «Современника». Представив их разом своим читателям и загладив тем несколько долгое непомещение стихов в нашем журнале, мы переходим к главному предмету статьи — к русским поэтам.

Выше мы сказали, что поэтических талантов у нас не так мало, как мы привыкли считать.

Собственно, публика считает у нас за последний литературный период пять поэтических имен: Пушкина, Жуковского, Крылова, Лермонтова, Кольцова; некоторые причисляли к ним г. Бенедиктова, но о таковых не следует упоминать. Что касается до первых пяти, то они действительно могут быть названы светилами русской поэзии, из которых каждое светит своим собственным светом, не заимствуя ничего у другого. И нет человека на Руси, сколько-нибудь читающего, который не знал бы их. Их стихотворения много раз прочитаны. Любители стихов в отчаянии: читать нечего! Как нечего? Мы решительно утверждаем, что думающие так ошибаются, и сейчас готовы назвать вам целый десяток поэтов, которых можно читать с наслаждением; надо только уметь

взять у них то, что могут они вам дать, надо только подходить к ним осторожно, не сердиться и не отворачиваться сразу, наткнувшись на неудачную рифму, пошлую мысль или что-нибудь подобное. У редкого из людей, пишущих стихи,— разумеется, за исключением положительно бездарных,— нет чего-нибудь, в чем он не был бы хорош; умейте же найти эту сторону, проследите ее в вашем поэте, отделите от всего остального, и он доставит вам несколько минут наслаждения. Но, надо сказать правду, на такие тонкости наши любители стихов не мастера; резкий поэтический талант или даже поэтическая уродливость всегда бывают ими замечены, ибо обозначаются крупными чертами. Но если хорошая сторона поэта не бросается прямо в глаза, а дается только после внимательной приглядки, если притом она заключается в нежных и тонких оттенках, всегда нелегко уловимых, а тем более если она заслонена резкими недостатками автора в попытках другого рода, как это часто случается,— тогда нет сомнения, что поэт не будет замечен. Даже и самая критика пройдет мимо его хорошей стороны, поглумившись только над слабою. Вот почему при появлении своем наделал много шуму, даже заслужил от одного критика титул гения г. Бенедиктов, и *вовсе не был замечен* другой поэт, явившийся почти в одно время с ним и обнаруживший в десять раз более истинного таланта,— поэт, к которому мы и переходим теперь, не распространяясь более в изложении цели наших статей: до некоторой степени мы уже выразили ее, полнее же раскроется она сама собою, по мере наших бесед с читателем.

В 1836 году Пушкин основал новый журнал «Современник». Основание этого журнала и появление первых его книжек сопровождалось в нашей литературе весьма замечательными толками, спорами и событиями, о которых мы скоро будем иметь случай говорить в особой статье. Теперь же переходим прямо к нашему делу: с третьего же тома в «Современнике» начали появляться стихотворения, в которых было столько оригинальности, мысли и прелести изложения, столько, одним словом, поэзии, что, казалось, только сам же издатель журнала мог быть автором их. Но под ними весьма четко выставлены были буквы «*Ф. Т.*»; носили они од-

но общее название: «*Стихотворения, присланные из Германии*».

Прежде всего скажем, что хотя они и присылаемы были из Германии, но не подлежало никакому сомнению, что автор их был русский: все они написаны были чистым и прекрасным языком, и многие носили на себе живой отпечаток русского ума, русской души. Подпись Ф. Т — в, вместо Ф. Т., появившаяся вскоре под одним из них, окончательно подтвердила, что автор их наш соотечественник. Сделав это замечание для тех, которых могло бы испугать заглавие стихотворений, мы продолжаем. С тех пор (с 1836) время от времени продолжали появляться в «Современнике» стихотворения за этою подписью, до 1840 года включительно. С 1841 года мы уже не встречали этого имени в «Современнике»; в других журналах оно также не появлялось, и можно сказать, что с того времени оно вовсе исчезло из русской литературы. Неизвестно наверное, обратило ли оно на себя какое-нибудь внимание публики в то время, когда появилось в печати, но положительно можно сказать, что ни один журнал не обратил на него ни малейшего внимания.

Между тем стихотворения г. Ф. Т. принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии. Г. Ф. Т. написал очень немного; но все написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства. Мы уверены, что если б г. Ф. Т. писал более, талант его доставил бы ему одно из почетнейших мест в русской поэзии.

Главное достоинство стихотворений г. Ф. Т. заключается в живом, грациозном, пластически верном изображении природы. Он горячо любит ее, прекрасно понимает, ему доступны самые тонкие, неуловимые черты и оттенки ее, и все это превосходно отражается в его стихотворениях. Конечно, самый трудный род поэтических произведений — это те произведения, в которых, по-видимому, нет никакого содержания, никакой мысли; это пейзаж в стихах, картинка, обозначенная двумя-тремя чертами. Уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина,— дело величайшей трудности.

Г. Ф. Т. в совершенстве владеет этим искусством. Вот несколько стихотворений, которые подтверждают нашу мысль:

1

УТРО В ГОРАХ

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.

2

СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

Уже полдневная пора
Палит отвесными лучами,
И задымилася гора
Своими черными лесами.

Внизу, как зеркало стальное,
Синеют озера струи,
И с камней, блещущих на зное,
В родную глубь спешат ручьи.

И между тем, как полусонный,
Наш дольный мир, лишенный сил,
Проникнут негой благовонной,
Во мгле полуденной почил,—

Горе, как божества родные,
Над усыпленною землей
Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.

3

ПОЛДЕНЬ

Лениво дышит полдень мглистый;
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

4

Песок сыпучий по колени.
Мы едем: поздно, меркнет день;
И сосен по дороге тени
Уже в одну слилися тень.

Черней и чаще бор глубокий...
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.

Все эти стихотворения очень коротки, а между тем ни к одному из них решительно нечего прибавить. Распространяйтесь в описании подобного утра, полудня или ночи («песок сыпучий по колени») хоть на нескольких страницах, вы все-таки не прибавите ничего такого, что бы говорило уму читателя более, чем сказано здесь осьмю строчками. Каждое слово метко, полновесно, и оттенки расположены с таким искусством, что в целом обрисовывают предмет как нельзя полнее. Нечего уже и говорить, что утро г. Ф. Т. не похоже на вечер, а полдень на утро, как это часто случается у некоторых и не совсем плохих поэтов. Два заключительные стиха последнего стихотворения, подчеркнутые нами, одни составляют целую превосходную картину. Кто не согласится, что рядом с ним эти похожие стихи Лермонтова:

И миллионом темных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветки каждого куста,—

значительно теряют в своей оригинальности и выразительности. Вот еще превосходный пример удивительной способности г. Ф. Т. охватывать характеристические черты картин и явлений природы.

5

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею
И как предчувствие сходящих бурь —
Порывистый, холодный ветр порою;
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.

Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым; жаль, что он написал слишком мало. Нечего и говорить о художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его — перл, достойный любого из наших великих поэтов. Вот еще два стихотворения г. Ф. Т. в этом же роде:

6

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей,
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой.

Ничего не прибавляем в похвалу этому стихотворению. Заметим только одно, что, несмотря на всю разность содержания, оно напомнило нам стихотворение

Лермонтова «Белеет парус одинокий», которому оно, по нашему мнению, нисколько не уступает по своему достоинству.

Одною из лучших картин, написанных пером г. Ф. Т., почитаем мы следующее стихотворение:

7

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят —

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет;
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед».

Весна идет, весна идет —
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!

Сколько жизни, веселости, весенней свежести в трех подчеркнутых нами стихах! Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч,— когда любуешься и едва показавшейся травкой, и только что распускающимся деревом, и бежишь, бежишь, как ребенок, полной грудью впивая живительный воздух и забывая, что бежать совсем неприлично, не по летам, а следует идти степенно, и что радоваться тоже совсем нечего и нéчему... Это стихотворение напоминает нам другое, в котором также дело идет о весне. Мы приводим его здесь:

ВЕСНА

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом,
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Светло озарены,
И в душу мощно просятся
Блистательные сны.

Первые шесть стихов прекрасны; последние два бледны и вычурны. Вслед за ними идут опять четыре прекрасные стиха:

Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ — чему-то рад!

За этими стихами опять следует строфа весьма плохая и вычурная:

Дитя тысячеглавое,
Не знает он, что в нем
Приветно-величавое
Зажглось святым огнем.

Стихотворение оканчивается следующими четырьмя стихами, опять прекрасными:

Что жизни тайной жаждою
Невольно жизнь полна,
Что над душою каждою
Проносится весна!

Последние два стиха превосходны. Стихотворение это принадлежит г. Фету. Как жаль, что оно испорчено несколькими неудачными стихами; но у г. Фета этот недостаток довольно нередкий. Со временем мы будем подробно говорить здесь о г. Фете. Теперь возвращаемся к г. Ф. Т—ву.

ВЕСНА

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чела морщины,
И сердце как ни полно ран,—
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены,
Что́ устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе,—
Своим законам лишь послушна,

В условный час слетает к нам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею,
О том не ведает она.
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея;
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет...
И страх кончины неизбежный
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман,
И ринься бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Выше мы говорили о тех стихотворениях г. Ф. Т—ва, которые содержанием своим представляют только «картину» и более ничего. Приведенное же теперь превосходное стихотворение составляет переход к тем, в которых к мастерской картине природы присоединяется мысль, постороннее чувство, воспоминание. В этом отношении мы можем указать на следующие стихотворения:

9

Давно ль, давно ль, о юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу,
И как эдем ты растворенный,
Доступен был мне, пришлецу?
Давно ль — хотя без восхищенья,—
Но новых чувств недаром полн,
И я заслушивался пенья
Великих средиземных волн!

И песнь их, как во время óно,
Полна гармонии была,

Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла.
Они все те же и поныне,
Все так же блещут и звучат;
По их лазоревой равнине
Родные призраки скользят.

Но я, я с вами распростился:
Я вновь на север увлечен;
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон.
Здесь воздух колет. Снег обильный
На высотах и в глубине,
И холод, чародей всесильный,
Один господствует вполне.

Но там, за этим царством вьюги,
Там, там, на рубеже земли,
На золотом, на светлом юге,
Еще я вижу вас вдали:
Вы блещете еще прекрасней,
Еще лазурней и свежей,
И говор ваш еще согласней
Доходит до души моей.

10

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,—
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Последние четыре стиха удивительны: читая их, чувствуешь невольный трепет. Наконец вот еще стихотворение, которое принадлежит к лучшим произведениям г. Ф. Т.— ва, да и вообще всей русской поэзии:

11

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край;
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,—

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и с замком, и с тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Прочитав это стихотворение, читатель, конечно, согласится с нами в том, что сказали мы о таланте г. Ф. Т — ва; нет сомнения, от такого стихотворения не отказался бы и Пушкин. Не входим в подробный разбор этой пьесы и не отмечаем лучших стихов ее, предоставляя это самим читателям. Любовь к природе, сочувствие к ней, полное пониманье ее и уменье мастерски воспроизводить ее многообразные явления — вот главные черты таланта г. Ф. Т. Он с полным правом и с полным сознанием мог обратиться к непонимающим и неумеющим ценить природы с следующими энергичными стихами:

12

Не тó, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик,—
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чудных сил?

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах.

Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела;
Про них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними,
В беседе дружеской, гроза!

Не их вина; пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы! души в нем не встревожит
И голос матери самой!

Да, мы верим, что автору этого стихотворения понятен и смысл и язык природы...

Другой род стихотворений, встречаемых у г. Ф. Т., носит на себе легкий, едва заметный оттенок иронии, напоминающий — сказали бы мы — Гейне, если б не знали, что Гейне под пером наших переводчиков явился публике в самом непривлекательном виде. Как бы то ни было, мы просим при чтении следующих ниже стихотворений вспомнить, что они писаны около пятнадцати лет назад, когда еще ни о самом Гейне, ни о подражателях ему в русской литературе не было и слуху.

13

С КАКОЮ НЕГОЮ

С какою негою, с какой тоской влюбленной
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем!
Бессмысленно-нема... нема, как опаленный
Небесной молнии огнем!

Вдруг, от избытка чувств, от полноты сердечной
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц...
Но скоро добрый сон, младенчески беспечный,
Сходил на шелк твоих ресниц,—

И на руки к нему глава твоя склонялась,
И матери нежней тебя лелеял он...
Стон замирал в устах... дыханье уровнялось,
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,
Что будущность для нас обоих берегла...
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась
Иль в сон иной бы перешла.

14

И гроб опущен уж в могилу,
И все столпилося вокруг.
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух.

И над могилою раскрытой,
В возглавии, где гроб стоит,
Ученый пастор, сановитый,
Речь погребальную гласит.

Вещает бренность человечью,
Грехопаденье, кровь Христа;
И умною, пристойной речью —
Толпа различно занята...

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей,—
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой...

15

ИТАЛЬЯНСКАЯ VILLA

И, распростясь с тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь —
Блаженной тенью, тенью элисейской,
Она заснула в добрый час.

И вот уж века два тому иль боле,
Волшебною мечтой ограждена,
В своей цветущей опочив юдоле,
На волю неба предалась она.

Но небо здесь к земле так благосклонно!
И много лет и теплых южных зим
Провеяло над нею полусонно,
Не тронувши ее крылом своим.

По-прежнему в углу фонтан лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она, и сон ее глубок!

И мы вошли: все было так спокойно!
Так все от века мирно и темно!

Фонтан журчал; недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

Вдруг все смутилось: судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал;
Фонтан замолк — и некий чудный лепет
Как бы сквозь сон невнятно прошептал:

Что это, друг? иль злая жизнь недаром,
Та жизнь, увы! что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

Поэтическое достоинство приведенных нами стихотворений несомненно: оно не утратилось в десять с лишком лет — это лучшая похвала им.

Переходим теперь к стихотворениям, в которых преобладает мысль:

16

SILENTIUM [1]

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи:
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей.
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум:
Их оглушил наружный шум.
Дневные разгонят лучи:
Внимай их пенью — и молчи!

17

Как птичка раннею зарей,
Мир, пробудившись, встрепенулся...
Ах, лишь одной главы моей
Сон благодатный не коснулся!

[1] Молчание (*лат.*).

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах,
На мне, я чую, тяготеет
Вчерашний зной, вчерашний прах!..

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, клики
Младого пламенного дня!
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!
О ночь, ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!..

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век,
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен упрек!
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Последнее стихотворение, по глубине мысли и прекрасному ее изложению, лучше двух предыдущих, которые, впрочем, имеют свои очевидные достоинства. Грустная мысль, составляющая его содержание, к сожалению, сознается не всеми «пережившими свой век» с таким благородным самоотвержением; в этом отношении мы можем только указать на другого замечательного нашего поэта, князя П. А. Вяземского (мы со временем к нему обратимся), у которого встречается подобное стихотворение, также прекрасное и дышащее таким же благородным и грустным сознанием. К сожалению, у нас нет его теперь под рукой. Оно, если не ошибаемся, начинается стихом: «Что день, то новые утраты».

Вот еще стихотворение г. Ф. Т., вылившееся, как видно, в минуту печального раздумья:

18

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает,
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом...
О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,

И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

Грусть, выраженная здесь, понятна. Она не чужда каждому, кто чувствует в себе творческий талант. Поэт, как и всякий из нас, прежде всего человек. Тревоги и волнения житейские касаются также и его, и часто более, чем всякого другого. В борьбе с жизнью, с несчастием он чувствует, как постепенно талант его слабеет, как образы, прежде яркие, бледнеют и исчезают,— чувствует, что прошедшего не воротишь, сожалеет — и грусть его разрешается диссонансом страдания. Но каждый делает столько, сколько суждено было ему сделать. И если обстоятельства помешали ему вполне развить свой талант, право на благодарность и за то, что он сделал, есть его неотъемлемое достояние. Немного написал г. Ф. Т., но имя его всегда останется в памяти истинных ценителей и любителей изящного наряду с воспоминаниями нескольких светлых минут, испытанных при чтении его стихотворений. История литературы также не должна забыть этого имени, которому волею судеб более десяти лет не было отдано должной справедливости. И если наша слабая попытка извлечь из мрака забвения или неизвестности несколько имен и произведений, достойных лучшей участи, отделить хорошее от недостойного внимания у тех поэтов, которые сами не могли быть разборчивыми судьями своего таланта, поможет будущему историку русской литературы, то мы будем вполне вознаграждены.

Чрезвычайно нравится нам у г. Ф. Т., между прочим, следующее стихотворение, странное по содержанию, но производящее на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета:

19

Душа моя — Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю непричастных.

Душа моя — Элизиум теней!
Что общего меж жизнью и тобою,
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?

В заключение приводим несколько стихотворений г. Ф. Т—ва смешанного содержания:

20

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы...

Чу! за белой, душной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...

Жизни некий преизбыток
В злобном воздухе разлит,
Как божественный напиток
В жилах млеет и горит!

Дева, дева, что́ волнует
Дымку персей молодых?
Что́ мутится, что́ тоскует
Влажный блеск очей твоих?

Что́, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Что́ так грудь твою спирает
И уста твои палит?..

Сквозь ресницы шелковые
Проступило две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?..

21

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло...
Бесцветный грунт небес, песчаная земля —
Все на душу раздумье наводило.

Я вспомнил о былом печальной сей земли,
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
«Вы,— мыслил я,— пришли издалека;
Вы сверстники сего былова!»

Так, вам одним лишь удалось
Дойти до нас с брегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!..

Но твой, природа, мир о днях былых молчит:
С улыбкою двусмысленной и тайной
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

22

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем ты сетуешь безумно?
Что́ значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,—
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди! —
Под ними хаос шевелится!..

23

Душа хотела б быть звездой;
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной;
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

24

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости,
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег, с его полуденным сияньем,

Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

Во всех этих стихотворениях есть или удачная мысль, или чувство, или картина, и все они выражены поэтически, как умеют выражаться только люди даровитые. Несмотря на заглавие наших статей (Русские «второстепенные» поэты), мы решительно относим талант г. Ф. Т — ва к русским первостепенным поэтическим талантам и повторяем только здесь наше сожаление, что он написал слишком мало. Беседующий теперь с читателями крепко не любит педантических разделений и подразделений писателей на гениев, гениальных талантов, просто талантов и так далее... Подобные деления ему казались более или менее произвольными и всегда смешными. Назвав так свои статьи, он наперед выговаривает себе право отказываться от слова «второстепенный» каждый раз, как ему окажется то нужным, и теперь же просит извинения у некоторых господ поэтов, о которых ему придется говорить. Выбрал же он это заглавие потому, что нужно же какое-нибудь заглавие, а лучшего он не нашел, и потому еще, что большинство поэтов, о которых здесь будет говориться, действительно «второстепенные», если принять существующее разделение писателей, и, наконец, потому, что все они второстепенные по степени известности даже самых известнейших, сравнительно с известностью Пушкина, Лермонтова, Крылова, Жуковского...

Теперь нам осталось только означить №№ «Современника», в которых напечатаны приведенные нами стихотворения, и назвать те стихотворения (сравнительно слабейшие), которые не вошли в нашу статью. Стихотворения, приведенные нами, напечатаны в «Современнике» 1836 года, том III (стр. 5—22), том IV (стр. 33—41); в «Соврем.» 1837 года, том VI (стр. 393—398); 1838— том IX (стр. 131, 138), том X (стр. 184), том XI (стр. 181), том XII (стр. 89); 1839, том XIII (стр. 169); 1840 года, том XIX (стр. 186), том XX (стр. 299). Стихотворения, не вошедшие в эту статью, следующие: «Фонтан»; «*Яркий снег сиял в долине*»; «Цицерон»; «*Поток сгустился и тускнеет*»; «Сон на море» («Совр.» 1836 года. т. III, стр. 9, 19, 20); «*Там, где горы убегая*», «*Над виноградными холмами*» (1837 г.,

том VI, стр. 393, 398); «День и ночь» (1839, том XIV, стр. 141).

Поэтическая деятельность г. Ф. Т — ва продолжалась пять лет, начиная с 1836 г. по 1840 год включительно. Впрочем, не можем сказать наверное, печатал или нет г. Ф. Т.—в где-нибудь свои стихотворения, прежде чем начал издавать «Современник».

Заключим нашу статью желанием, чтобы стихотворения г. Ф. Т. были изданы отдельно: мы можем ручаться, что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения...

ДАМСКИЙ АЛЬБОМ, *составленный из отборных страниц русской поэзии. С десятью рисунками, гравированными в Лондоне. СПб. 1854.*

На днях редакция «Современника» получила следующее письмо:

«Вот уже лет пятнадцать, как я, нижеподписавшийся, почитаю себя человеком отсталым, принадлежащим к отживающему поколению (мне перевалило за пятьдесят лет), и с болью в сердце повторяю эти прекрасные четыре стиха, так понятные нам, старикам:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!

Да, грустно! И было бы еще грустнее, если б на днях я не пришел к заключению, что, в сущности, не весело принадлежать и к этому новому племени,— и знаете ли почему? — потому, что новейшее время не только не произвело ни одного великого поэта, но даже гонит тех, которые у него есть, что оно стремится во что бы то ни стало, наперекор человеческой природе, стать во враждебные отношения к поэзии. Да, наперекор человеческой природе! потому что в душе каждого человека есть клапан, отворяющийся только поэзией,— и что же делает настоящее время? Оно рискует сократить восприимчи-

вость души, лишая ее одной из вопиющих ее потребностей: клапан зарастет наглухо, и тогда не отворите его — явись хоть второй Пушкин! Я в пример могу привести моего близкого соседа, человека отменно умного и мягкосердого, у которого, к сожалению, процесс зарастания уже совершился, так что едва ли бы и новый Гомер помог горю!.. Перестаньте же, господа, преследовать поэтов и поэзию. Обращайте больше внимание на то, что в настоящей русской поэзии есть истинно хорошего, и даже... мое требование вас удивит... не слишком накидывайтесь на посредственность. Не все люди развиты в одинаковой степени: поэтический клапан одного отворяется только образцовыми произведениями первой силы, тогда как другому достаточно каких-нибудь стансов Туманского, Трилунного, Бороздны, не говоря уже о Бенедиктове... вы сами, господа, вспомните свою молодость: разве не восхищались вы Бенедиктовым... пусть восторг ваш имел иногда ложную основу, но разве он оттого был менее благодатен и разве это помешало вам в лета более зрелые наслаждаться произведениями истинно гениальными?.. На этом основании я нахожу, что и посредственные стихи не должно гнать безусловно... Вспомните: двадцать, тридцать лет тому назад великий русский поэт был окружен целыми десятками маленьких поэтов, а ныне... где они?.. увы! нет ни больших, ни малых! И если нет больших, то малые непременно были бы, если б не вы, неумолимые гонители поэзии... если б не ты, Новый Поэт! Милостивые государи! сознаюсь: я сам принадлежал к числу маленьких поэтов того счастливого времени... и сознаюсь, что они были, за исключением Баратынского, Языкова, Подолинского, действительно маленькие, посредственные поэты (и я тоже), но все-таки они оживляли литературу, они наполняли тогдашние альманахи, доставляли разнообразием имен своих приятную глазам пестроту... И, право, сердце мое сжимается сожалением.

Мне жаль, что нет теперь поэтов,
Какие были в оны дни,—
Нет Тимофеевых, Бернетов.
(Ах, отчего молчат они?)
С семьей забвенных старожилов
Скорблю на склоне дней моих,
Что лирой пренебрег Стромилов,
Что Печенегов приутих,



Н. А. Некрасов. *Начало 1860-х годов.*

«Некрасов и Панаев у больного Белинского».
Работа худ. А. Наумова. 1884.



Дом на Литейном проспекте в Петербурге против квартиры Некрасова. Поэт наблюдал из своих окон сцену у крыльца этого дома, давшую ему сюжет для стихотворения «Размышления у парадного подъезда». *1921.*

Что умер бедный Якубович,
Что дремлет Константин Петрович,
Что о других пропал и след.
Что нету госпожи Падерной,
У коей был талант примерной,
И Розена барона нет;
Что нет Туманских и Трилунных,
Не пишет больше Бороздна,
И нам от лир их сладкострунных
Осталась память лишь одна...

Нет старых поэтов, и нет новых, которые должны были явиться на смену им. Есть один Новый Поэт... но он-то и виновник бедственного состояния современной поэзии... Нет! не один он (я спешу оговорить это как можно скорее, частию потому, что знаю близкие отношения Нового Поэта к «Современнику», в котором желаю поместить мое письмо): виноваты все русские журналы, виновато пренебрежение журналов к поэзии, перешедшее в публику. Да! для меня всего удивительнее, что те же самые журналы, которые с ожесточением преследуют плохих и посредственных поэтов, в то же время проходят убийственным молчанием и те немногие хорошие произведения поэзии, которые иногда встречаются в нашей литературе. Полтора года ждал я, не промолвит ли хоть один журнал доброго словечка об «Анакреоне», стихотворении г. Майкова, которое, если не ошибаюсь, можно без преувеличения поставить рядом с удачнейшими антологиями Пушкина... ждал, разумеется, преимущественно от «Отечественных записок»[1] — и не дождался![2] «Отечественные записки», уделяющие в своей Хронике, в своем обзоре журналов сколько-нибудь места каждой печатной прозаической строчке, даже иногда по два раза (вторично в своих ежегодных обзорах литературы),— эти «Отечественные записки» ничего не сказали о *лучшем* стихотворении, явившемся в русской литературе в течение нескольких последних лет! Почему это? Неуже-

[1] Здесь мы должны оговориться, что нам весьма неприятно, что автор письма назвал именно «Отечественные записки», так как этот журнал в последние месяцы преимущественно наполнялся в критическом отделе своем выходками на наш журнал, но мы не нашли возможности выключить это место, так как на нем вертится весь смысл письма. (*Прим. ред<акции «Современника»>.*)

[2] К «Современнику» эти ожидания не могли относиться, потому что «Анакреон» напечатан в нем. (*Прим. авт. письма.*)

ли этот журнал, вместе с некоторыми мудрецами, порешил уже раз навсегда, что поэзия вздор и что лучше *отдавать отчет любознательной публике* о прозаических произведениях гг. Зряховых и Николаевичей, чем о стихотворениях г. Майкова... неужели? Это было бы весьма прискорбно... Или, может быть, молчание произошло оттого, что стихотворение г. Майкова *ростом не вышло:* в нем всего, помнится, шестнадцать строк... Должно быть, так, если взять в соображение, что на разбор поэмы г-жи Хвощинской употреблено теми же «Отечественными записками» около печатного листа. Но хоть эта поэма и расхвалена «Отечественными записками», я смею утверждать положительно, что в одном стихе названной пьесы г. Майкова больше поэзии, чем во всей тысячестишной поэме г-жи Хвощинской. Как бы то ни было, я убежден в одном, что это молчание не случайность, ибо такой же участи подвергся и недавно напечатанный «Алкивиад» г. Майкова; тем же молчанием пройдены в этом журнале и несколько других более или менее *заметных (если не замечательных)* стихотворений, появившихся в последние годы. Обо всем говорилось в «Отечественных записках» — об этих стихотворениях ни слова, ни худого, ни доброго. Как поразмыслишь об этом, и не рад, а невольно приходишь к прискорбному заключению, что этот серьезный и важный журнал (который некоторые называли даже *мрачным*) признает для себя унизительным снизойти до поэзии... но пусть бы он подумал о том, что сам же он на своей обертке ежемесячно напоминает своим читателям, что он журнал учено-*литературный...* а ведь литература не исключает поэзии, в литературе поэзия едва ли не первое дело, и если в настоящее время поэтических произведений *мало* или они *малы*, то из этого еще не следует, что их не нужно замечать... пусть бы вспомнил, что и сам он иногда, хоть, правда, редко-редко, печатает стихи... или это только холодная и неохотная дань отживающей, по мнению журнала, потребности?.. Нет, смею уверить, что эта потребность не отживает своего века и никогда не отживет, и «Отечественные записки», устремляющие свой пытли-

[1] Эта поэма — «Деревенский случай», напечатанная в каком-то сборнике (кажется, в «Пантеоне»), недавно вышла отдельной книгой, и читатели наши найдут отчет о ней в настоящей книжке «Современника». (*Прим. ред<акции «Современника»>.*)

вый и мрачный взгляд на Зряхова с таким глубокомыслием и сосредоточенным вниманием, что не замечают в нашей литературе Майкова, едва ли не находятся в некотором заблуждении... По крайней мере, я, на месте господ журналистов, именно в настоящее бедное поэзиею время поставил бы своим долгом обращать внимание читателей на каждое хорошее стихотворение, появляющееся где бы то ни было,— в журналах, в отдельных книгах, в сборниках,— с любовью останавливался бы даже на тех стихотворениях, которые, не будучи выдержаны в целом, обнаруживают в авторе не лишенное поэзии намерение или две-три черты удачного исполнения... и я бы предложил такому автору мои замечания, мой посильный совет... И если б этот совет и не принес ему пользы, то все-таки был бы для него доказательством внимания, а внимание журнала, такого солидного, как «Отечественные записки», я полагаю, должно иметь на поэтов действие поощрительное. И я думаю, что такого обращения с поэзиею, какое я предлагаю, требует не только польза, но и самая справедливость. Ибо, преследуя все, что есть в поэзии ложного и посредственного, не ставите ли вы этим самих себя в обязанность замечать и то, что в ней прекрасно и истинно? Без этого вы рискуете прослыть преследователями не плохих стихов, а поэзии... Я высказал свое мнение, господа, и прошу вас подумать о нем...»

Нетрудно догадаться, что первая половина приведенного письма направлена против «Современника», точно так же, как вторая — против «Отечественных записок». О первой, к нам относящейся половине мы скажем после; что же касается до второй, то, прочитав ее, невольно хочется воскликнуть: «о провинциальное добродушие! о золотая наивность!» или что-нибудь в этом роде. Удивленный и опечаленный тем, что «Отечественные записки» не обратили внимания на немногие поэтические произведения последних лет, автор приведенного письма, при всей очевидной доброте своей, почти положительно обвинил их в том, будто они изгнали поэзию из области искусства,— обвинение, страшное для журнала, на котором рядом с титлом ученого стоит титло литературного. А дело, в сущности, очень просто, и мы спешим пояснить его, чтоб снять с «Отечественных записок» это несправедливое обвинение. Почти все стихотворения, о ко-

торых говорит автор письма, помещены в «Современнике». И в этом вся разгадка. Бранить... но совместно ли с достоинством такого солидного журнала бранить хорошее за то, что оно помещено в «Современнике»?.. Хвалить... но хвалить — тоже несовместно... не с достоинством, так с чем-нибудь другим. «Отечественные записки» во всем прошлом году рискнули похвалить в «Современнике» роман г. Григоровича «Рыбаки», да и то поспешили прибавить, что роман для журнала писан наскоро, а вот он скоро выйдет отдельно, *вероятно*, в исправленном виде,— так тогда-де его заодно и прочесть[1]... Явись эти стихотворения не в «Современнике» (а хоть в «Пантеоне», как «Деревенский случай»),— и о них, может быть, у «Отечественных записок» нашлось бы доброе слово; впрочем, не о всех: есть между ними такие, которые этот журнал все-таки прошел бы молчанием, где бы они ни были напечатаны, да и то ему стоило бы некоторого благородного усилия. Вот и вся разгадка!..

Разъяснив это наивное недоумение, мы должны сказать, что согласны с мнением автора письма касательно отношений современной нашей критики к современной поэзии (почему и дали этому письму место в нашем журнале); но никак не можем согласиться с сожалением его о том, что посредственные поэты выводятся. Кажется, нечего жалеть! Если они выводятся, значит, так тому и быть должно. В поэзии наша публика представляет нечто особенное; требовательность ее в этом отношении превосходит требовательность других, даже более образованных европейских публик. В то время как в Германии и во Франции, за неимением сильных поэтических талантов, посредственные поэты издают целые томы бледных и вялых стихов (а если издают, то, стало быть, и находят читателей), у нас издание книги посредственных стихов — дело убыточное и даже бросающее на автора какую-то нелестную тень... И с некоторых пор подобные книги вовсе вывелись (произведения гг. Овчинникова, Анаевского и др. сюда нейдут: это явления особенные, которые всегда были и всегда будут). Этого не

[1] И вышел роман отдельно, но исправлений в нем *никаких* не сделано, потому что роман писан с тою обыкновенною у г. Григоровича отчетливостию, после которой исправления, может быть, и возможны, но уже не самому автору или, по крайней мере, не тотчас, как он написан. (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

могла сделать одна критика. Критика преследует же дюжинные французские романы, но они все-таки выходят. Причины этого лежат в самой публике, и мы положительно убеждены, что те же самые гг. Стромиловы, Трилунные, Якубовичи, Соколовские и легион других, которые писали гладенько и наполняли альманахи двадцатых и тридцатых годов, явись они теперь, не были бы и настолько замечены, как были замечены в свое время, а в их время писал Пушкин. Но что отношение нашей журналистики к поэзии слишком односторонне и обнаруживается почти с одной отрицательной стороны, это и справедливо и прискорбно. Тем более что русская современная поэзия не до такой же степени жалка, в самом деле, как вошло в обычай утверждать в журналах и повторять в литературных разговорах,— мы это давно думали и если не высказали ранее наших мыслей по этому предмету, так по той же причине, по которой мы часто бываем лишены удовольствия говорить с публикой о лучших произведениях современных прозаиков. Причину эту понимают наши читатели... Конечно, сильного деятеля-поэта, равного Пушкину или даже Лермонтову, наша литература теперь не имеет; но такие явления, как Пушкин и Лермонтов, всегда были и будут в мире поэзии явлениями редкими, исключительными. При этом еще напомним читателям, что поэтические таланты вообще являются реже, чем прозаические: это условие не одной нашей литературы, не одного нашего времени. Взяв все это в соображение и пристально вглядевшись в дело, окажется, что обвинять современную нашу поэзию в бедности и ничтожности есть чистая неблагодарность со стороны критики, а может быть, отчасти и публики (заимствовавшей от критики несколько враждебный взгляд на свою поэзию). Наша поэзия дает нам немного; но то, чтó она дает нам, действительно стоит названия поэзии (балласта мы не хотим сами, как уже было замечено выше). Не говоря уже о г. Майкове, которого первостепенный поэтический талант, к счастью, пользуется известностью, у нас есть г. Фет, поэт с дарованием в высшей степени самобытным и симпатичным. Что-то сильное и свежее, *чисто поэтическое*, без всяких посторонних примесей, ярко пробивается во всем, чтó создает этот талант. Четыре стихотворения г. Фета, напечатанные в этой книжке «Современника», лучше всего могут сказать

читателям, почему мы многого ждем от этого поэта [1]. И таким талантом, как у г. Полонского, нельзя пренебрегать, потому что этот талант, несмотря на малую его производительность и частую невыдержанность в целом, все-таки дарит нас иногда прекрасными стихотворениями, полными истины, простоты, грации,— словом, поэзии. Читателям «Современника» известно прекрасное дарование г. А. Жемчужникова, автора «Странной ночи» и «Сумасшедшего». Наконец, хотя г. Щербина и далеко не оправдал надежд, которые возбудил при своем появлении, в нем все-таки нельзя отрицать некоторого поэтического таланта, и к тому, чтó он дал нам, и теперь еще прибавляет он иногда произведения, не лишенные достоинств. Назовем еще двух литераторов, посвящающих свои дарования поэзии: это г. Мин, переводчик Дантова «Ада», и г. Л*, переводчик двух стихотворений Байрона (одно помещено в «Современнике» 1853 г., № 1, другое — в этой книжке «Современника») и автор превосходного стихотворения «Данте в Венеции» («Современник» 1853 г., № III). Мы назвали *семь* имен, из которых с каждым соединяется идея о бóльшем или мéньшем поэтическом даровании. Неужели это ничего не значит, когда дело идет о поэзи?

Остается сожаление, что поэты наши мало производят; но это обстоятельство, действительно прискорбное, может быть точно так же случайным, как и неслучайным, и — кто знает? — после долгого молчания поэты наши, быть может, вдруг блистательно выкупят свое бездействие [2]. Этого мы от души желаем на пользу и удовольствие читателей, на славу русской литературы!

---

[1] При этом мы не можем отказать себе в удовольствии довести до сведения наших читателей, что с наступившего года г. Фет будет *постоянным сотрудником* нашего журнала. (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

[2] По крайней мере, нам известно, что г. Майков написал в последнее время очень много (и превосходных) стихотворений и пишет комедию. Г. Фет также вручил нам запас стихотворений, которые все не уступают помещенным в этой книжке. Кроме того, г. Фет совершил труд, который, по нашему мнению, должен дать его имени прочную и завидную известность в русской литературе: он перевел «Оды» Горация (см. «Литературные новости» в этой книжке «Современника»). (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

Мы очень рады, что приведенное выше письмо дало нам случай сказать несколько слов о нашей современной поэзии, о нашем на нее воззрении. Не знаем, как смотрит публика на пренебрежение к поэзии, замеченное в наших журналах автором этого письма... Но если это пренебрежение действительно существует и если оно хоть сколько-нибудь перешло в публику, хуже этого ничего не могло случиться. И если мы сами (относясь, по выражению автора письма, к поэзии исключительно с отрицательной стороны) сколько-нибудь содействовали такому влиянию, то спешим оговориться: мы были дурно поняты, мы преследовали ложь в поэзии, но никогда самую поэзию. Поэзия — лучшее украшение всякой литературы, поэзия — венец возможного человеку творчества, поэзия — источник самых высоких, прекрасных и чистых наслаждений, какие когда-либо испытывал и будет испытывать человек. Мы всегда давали и готовы давать ей первое место в нашем журнале, как ей принадлежат наши самые горячие и искренние литературные симпатии...

Однако ж мы совсем забыли о книге, которой заглавие выписали в начале нашей статейки; но мы сочли самым удобным сказать несколько слов о поэзии вообще по поводу книги, в которой встречаются имена всех или почти всех старых и новых русских поэтов (за исключением, впрочем, Ф. Тютчева и А. Фета, которых составитель, видно, не счел достойными украшать его сборник). Оставляя в стороне явно спекулятивную цель «Дамского альбома», заметим, что подобный сборник мог бы прекрасно разойтись и принести большое удовольствие любителям поэзии, если б был составлен с бо́льшим умением и лучшим выбором. При составлении подобного сборника дело не в том, чтоб надергать как можно более отрывков у Пушкина и Лермонтова, которых сочинения у каждого читателя есть, но в том, чтоб выбрать хорошее у поэтов второстепенных и третьестепенных, которых невозможно да и не стоит иметь в библиотеке; часто даже поэтам совершенно плохим и давно забытым удалось обмолвиться прекрасным стихотворением... и вот из таких-то пьес, с примесью, конечно, и образцовых произведений русской поэзии, сборник мог бы иметь и смысл и значение... До какой степени он мог бы быть интересен, мы отчасти уверились даже на «Дам-

ском альбоме», встретив в нем два-три стихотворения поэтов забытых или вовсе никогда не бывших известными; вот одно из таких стихотворений, принадлежащее какому-то г. Н. Н.

РОЗЫ

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду, как взор пленяли мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой.

Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.

Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты;
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы.

И мне в венке цветы еще казались
На радостном челе красивее, свежей:
Как хорошо, как мило соплетались
С душистою волной каштановых кудрей.

И заодно они цвели с девицей,
Среди подруг, средь плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг ее вилась и радость и любовь.

В ее очах — веселье, жизни пламень;
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.
И где ж она?.. В погосте белый камень,
На камне — роз моих завянувший венок.

Несмотря на устарелость некоторых слов и преувеличенный драматизм окончания, это стихотворение до сей поры прекрасно. Его тихий и сердечно-грустный тон невольно трогает, как прекрасная и печальная музыка.

Наткнулись мы в «Дамском альбоме» на два стихотворения г. Бенедиктова. Удивительный поэт г. Бенедиктов! Непостижимое сочетание дарования (не подверженного ни малейшему сомнению) с невероятным отсутствием вкуса... Как вы думаете, читатель: что такое любовь? Любовь — это *кровавый разговор слепой мечты* с *огнемятежной кровью*,— таково определение поэта. Нужно ли ему сказать, что любимая им красавица читала его стихи, он не скажет этого просто: он скажет, что она

Трепетала над тетрадью
Гармонических затей...

Вы смеетесь,— и нельзя не смеяться,— и чем более будет проходить времени, тем более будут стихи г. Бенедиктова смешить читателей (а еще не более десяти лет тому назад, вспомните, нужно было доказывать, что они смешны); но к этому смеху невольно примешивается грустное чувство: у г. Бенедиктова есть талант, несомненный и прекрасный; искры его блестят даже в этом стихотворении, из которого мы взяли определение любви...

ХОЛОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Нет, милая, не тем мой полон взор;
Он не горит безумною любовью,—
И что любовь? — Кровавый разговор
Слепой мечты с огнемятежной кровью.
Я пережил дней юношеских жар,
Я выплатил мучительные дани.
Ты видела мой бешеный разгар
Перед тобой, звезда моих желаний!
Ты видела... теперь иной судьбе
Я кланяюсь, иною жизнью молод,—
И пред тобой я чувствую в себе
Один святой, благоговейный холод.
Снег на сердце, но то не снег долин,
Почиющий под саваном тумана,—
Нет, это снег заоблачных вершин,
Льдяной венец потухшего волкана,
И весь тебе, как солнцу, он открыт,
Земля в тени, а он тебя встречает —
И весь огнем лучей твоих блестит,
Но от огня лучей твоих не тает.

И не прискорбно ли, что этот прекрасный талант пошел по ложному пути?..

Большое удовольствие доставило нам встреченное в альбоме стихотворение г. Баратынского «Послание», которое как-то прежде ускользало от нашего внимания при чтении Баратынского.

ПОСЛАНИЕ

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальной.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил,
Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою,
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно.
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь!

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной:
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу, без любви — кто знает? — изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,—
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею.
И весть к тебе придет; но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим:
Мы не сердца под брачными венцами,—
Мы жребии свои соединим.
Прощай. Мы долго шли дорогою одною:
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Это одно из лучших стихотворений Баратынского...

Таким образом, перебирая «Дамский альбом», от первой страницы его, вопрошающей:

Зрел ли ты, певец Тинсский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки Российски
Под свирелью пастушка? —

до последней, на которой напечатано следующее стихотворение:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,

И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,—
Тебя опутавший порок,—

Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,—

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена,—

Мне луч божественный участья
Весь темный путь твой осветил.
Я понял все, дитя несчастья,
Я все простил и позабыл!

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

Не верь толпе пустой и лживой,
Забудь сомнения свои!
В душе болезненно пугливой
Гнетущей мысли не таи!

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змею к груди
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди! —

мы провели два часа в более или менее приятных воспоминаниях и размышлениях о русских поэтах и русской поэзии, что может повториться со всяким читателем, которому попадется в руки «Дамский альбом».

ДЕРЕВЕНСКИЙ СЛУЧАЙ. ***Повесть в стихах Н. Д. Хвощинской. СПб. 1853.***

Прочитав до конца, и, признаемся, не без труда, произведение г-жи Хвощинской, мы невольно задали себе вопрос: почему все это написано стихами, а не прозой? Действительно, различие между стихами и прозой не есть только внешнее: оно обусловливается самым содержанием литературного произведения. «Деревенский слу-

чай» именно по содержанию своему принадлежит к числу повестей, которые требуют прозы, той уже выработавшейся в последнее время прозы, способной передать все оттенки мысли, все изгибы психологического развития характеров,— словом, той прозы, которою, сколько мы знаем, владеет г-жа Хвощинская. Мы не охотники до ученых терминов и употребляем их только в случае крайней необходимости; впрочем, уже неоднократно было сказано до нас, что дело прозы — анализ, дело поэзии — синтезис. Прозаик целым рядом черт,— разумеется, не рабски подмеченных, а художественно схваченных,— воспроизводит физиономию жизни; поэт одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели, как бы улавливает жизнь в самых ее внутренних движениях; без этого, у древних названного божественным, во всяком случае необыкновенного, дара напрасно станет писатель пригонять рифму к рифме и строчку к строчке; ему не поможет ни так называемая легкость стиха (в нынешнее время тот только не пишет легкими стихами, кто вовсе не хочет их писать), ни некоторое изящество выражения, более или менее доступное всякой образованной и мыслящей натуре: все это еще не поэзия. Сознаемся, что собственно поэтического таланта мы не нашли у г-жи Хвощинской. Мелькают, правда, кой-где искры его; но их не довольно, чтобы вспыхнуть из них пламени, того пламени, которым, по словам одного английского поэта, должен гореть каждый стих. Впрочем, и этими искрами пренебрегать не должно: они оживляют прозаический рассказ и придают ему движение и теплоту — счастлив прозаик, у которого они вспыхивают в груди; но они не дают никому права браться за лиру. Они мелькают у г-жи Хвощинской в особенности в описаниях природы... об этом предмете мы давно собирались сказать несколько слов.

Описания природы стали в последнее время беспрестанно встречаться в нашей литературе. Иные из них довольно красивы, грациозны и верны, хотя часто впадают в мелочность и носят на себе отпечаток болезненности; но нам не нравится значение, придаваемое им, не нравится та почти лекарственная цель, с которою сочинители вводят их в рассказ; они являются обыкновенно как точки отдохновения после кропотливых странствований по закоулкам человеческого сердца, после многоречивых

изложений разных душевных страданий, неясных и ложных отношений, после перехитренных объяснений часто даже невозможных характеров. Автор, утомленный всей этой работой, бросается в лоно природы, точно так, как в жаркий день усталый человек бросается с берега в воду. И это бы еще ничего: природа не в одной медицине самый надежный врач; но читатель в самых словах, которыми автор принимается описывать природу, чувствует, с одной стороны, что не здоровая, а болезненная грудь вдыхает в себя тот целебный воздух, а с другой стороны, что звуки, издаваемые ею, этою грудью, часто фальшивы, исполнены претензий и разных тонкостей и нежностей, которые идут к природе, как помада к цветку. Оттого, признаемся откровенно, бóльшая часть описаний, встречаемых нами в современных произведениях, возбуждают в нас ощущения мало отрадные; это не сила, которая сочувствует красоте и передает ее гармонией: это слабость, которая ищет бальзама своим ранам и готова его выдавить из каждой травки, из каждой букашки. При этом должно заметить, что автор, освеженный таким купаньем «в безбрежном океане природы», обыкновенно тотчас принимается за прежнюю работу — до нового описания. Все это направление, впрочем, довольно давно завелось в европейской литературе; особенно выступает оно с конца прошлого столетия. Вспомним Обермана Сенанкура — лицо, могущее служить типом всех бесчисленных лиц в его роде, наводнивших каждую словесность... да и судя по современному движению умов, ни таким лицам, ни авторам, для которых они родственны и близки, нескоро суждено перевестись...

Рассказывать ли содержание «Деревенского случая»? Не думаем, чтоб это было необходимо; не думаем также, чтоб это кому бы то ни было доставило удовольствие: старые вариации на старую тему. Заметим только, что «Деревенский случай», написанный прозой, мог бы быть объемом вдвое или даже втрое больше и все-таки прочелся бы с удовольствием, но, написанный стихами, он решительно утомляет читателя. Вот подтверждение словам нашим. Всякий, например, встретивший на странице следующую фразу:

«Предположив, что капитал должен быть тоже у Петровой, что стоит ей два слова сказать, он к ней назавтра же поскакал. Имел он надобность в расплате каких-то

долгов, да был еще счет в палате, а как нельзя же для окончания воспитания не показать дочерям чужих краев и надо унять до тех пор все эти взыскания и жалобы, то он думал, что у Петровой для этого источник найден».

Читатель, повторяем, встретив такую фразу, прочтет ее бегло и без отягощения; но если эти же самые слова предстанут ему в виде строфы вроде следующей:

> Предположив, что у Петровой
> Быть должен тоже капитал,
> Что стоит ей сказать два слова —
> Он к ней назавтра ж поскакал.
> Имел он надобность в расплате
> Долгов каких-то, да в палате
> Был счет еще, по откупам,
> А как нельзя же дочерям,
> Для окончанья воспитанья,
> Чужих краев не показать,
> И надо до тех пор унять
> Все эти жалобы, взысканья,
> То у Петровой, думал он,
> Источник для того найден,—

ему трудно будет защититься от некоторого чувства досады, особенно если эта строфа окружена десятками подобных строф. Словом, автор «Деревенского случая» пожертвовал всеми выгодами прозы, верным и отчетливым развитием характеров, последовательностью рассказа, оживленностью разговора — и для чего? поэзия все-таки не коснулась его своими животворными лучами. Он остался между небом и землею... французы выражают это положение другою поговоркою. Мы не хотим этим сказать, чтобы в произведении г-жи Хвощинской не попадались счастливые стихи, удачные сравнения, верно и тонко выраженные мысли; от всей ее поэмы веет чем-то женским, каким-то симпатическим умом и чувством; кроме того, нам особенно понравились в «Деревенском случае» некоторые русские звуки, говорящие о близком знакомстве с жизнию России... присутствие народной стихии в произведениях литературных так же успокоительно и целебно, как присутствие природы, особенно когда оно не искажено ни заднею мыслию, ни односторонним пониманием... Но все-таки нам кажется, что в «Деревенском случае» г-жа Хвощинская пошла по ложной дороге,— по дороге, не ведущей ни к какой определенной це-

ли. Мы даже осмеливаемся думать, что г-жа Хвощинская сама это чувствует; по крайней мере, мы так понимаем ее сознание, что она в «Деревенском случае» намерена подражать Пушкину. Немногие таланты с первого шага попали на свою настоящую дорогу, и счастливы те, которые вовремя увидали свой промах и умели сойти с нее. Мы бы почли себя счастливыми, если бы наши немногие замечания способствовали к тому, чтобы сочинительница «Деревенского случая» решилась отказаться от повестей в стихах. Ей дано все нужное для того, чтобы удачно писать прозой.

СТИХОТВОРЕНИЯ Я. П. ПОЛОНСКОГО, *СПб. 1855.*

Издание полного собрания стихотворений такого поэта, как г. Полонский, в настоящей нашей литературе составляет явление редкое и приятное. Никто не станет оспоривать у г. Полонского таланта; но при таланте он обладает еще другим очень замечательным качеством: с течением времени он не подается с большей или меньшей стремительностию назад, как весьма часто случается с отечественными талантами, но хотя медленным, но твердым и верным шагом идет вперед — совершенствуется. Почти каждое его позднейшее стихотворение лучше предыдущего; каждая позднейшая повесть в прозе — непременно лучше написанной перед нею. Тайна этого лежит, конечно, в страстной, не охлаждаемой ни годами, ни терниями избранного поприща, любви к искусству, любви, соединенной с благородной и бескорыстной преданностью ему. В наше время писателю, чтоб достойно проходить литературное поприще, недостаточно одного таланта; самая личность его много значит. Любовь к истине, превосходящая всякую другую любовь, вера в идеал, как в нечто возможное и достижимое, наконец живое понимание благородных стремлений своего времени, и если не прямое служение им, то, по крайней мере, уважение и сочувствие к ним,— вот что спасает талант от постигающей его нередко апатии и других спутников упадка; и вот в чем скрывается загадка того, почему иногда бóльшие таланты перестают развиваться именно тогда, как все ждут полнейшего их цветения, и наоборот: таланты сравнительно мéньшие удивляют нас своим как бы неожи-

данным развитием. Безнаказанно нельзя закрывать глаза на совершающееся вокруг нас. Нет спора, много обольстительного в теории служения «искусству как искусству»; но не слишком ли много в ней также самонадеянности? Впрочем, вопрос, которого мы коснулись, слишком важен, чтоб говорить о нем мимоходом; мы хотели сказать только, что произведения г. Полонского, кроме достоинства литературного, постоянно запечатлены колоритом симпатичной и благородной личности, что придает им ту внутреннюю прелесть, чистоту и теплоту, которые, независимо от степени дарования, располагают читателя к ним и к автору их. Читайте стихотворения г. Полонского, собранные теперь в одну книгу, чтоб убедиться в наших словах. Мы намерены посвятить этим стихотворениям особую статью и потому теперь скажем только о составе книги и ее внешности. В состав книги вошли все стихотворения, написанные г. Полонским в течение его поэтического поприща (до ста пьес), разумеется, кроме тех, которые автор откинул как наименее удачные. Таким образом составилась довольно объемистая книга (в 200 с лишком страниц), книга, изданная *изящно*, как и следует издавать стихи — этот изящнейший род произведений словесности. Мы смело рекомендуем эту прекрасную и по наружности, и по содержанию книгу вниманию наших читателей, которые давно знают г. Полонского как поэта даровитого. Для тех же, кому в деле литературы необходим авторитет, напомним, что талант г. Полонского как поэта был признан уже давно, при самом начале его поприща, тем замечательным русским критиком, который редко ошибался в своих литературных приговорах и которого эстетическому вкусу, беспристрастию, энергическому заступничеству за все истинное и прекрасное и еще более энергическому протесту против всего фальшивого и мишурно-блестящего русская публика много обязана в деле очищения вкуса и развития понятий об искусстве. Но вот и еще свидетельство авторитета. Недавно нам случилось рассматривать бумаги, оставшиеся после Гоголя. Между прочим, Гоголь имел привычку выписывать для себя каждое стихотворение, которое ему нравилось, не справляясь, кто его автор. В числе стихотворений, выписанных его собственною рукою, мы нашли стихотворение г. Полонского. Вот оно для любопытных:

Пришли и стали тени ночи —
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,
И змейкой вьется мне в лицо
Ее волос моей небрежной...
Рукой измятое кольцо.

Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлою рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаяся, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла;
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О, солнце, солнце! погоди!

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ *за сентябрь 1855 года*

Читатель, нынешний раз вы будете иметь дело с автором, который беседовал с вами о журналах в VIII книжке «Современника». Книжки журналов по поводу осеннего времени полнее и любопытнее, и потому беседа наша будет если не живее, то продолжительнее предыдущей. Мы приступаем к ней под самым приятным впечатлением, которое сообщил нам рассказ г. Григоровича «Школа гостеприимства» («Библиотека для чтения», № 9). Наконец г. Григоровичу удалось выполнить задачу, которую он упорно преследовал во всех своих произведениях, не относящихся к народному быту, именно: в «Накатове», в повести «Новый год», в «Свистулькине», и которая состояла в том, чтоб написать нечто легкое, игривое, одной стороной прикасающееся к действительности, другой — к карикатуре,— словом, нечто такое, что с виду только легко, а в исполнении представляет огромные трудности. Задача и цель такого произведения: возбудить в читателе смех, тот беззаботный, добродушный смех, который, по словам Гоголя, «как бы излетает из светлой природы человека». Несколько искр этого

редкого и дорогого смеха вырывает у читателя новая повесть г. Григоровича — вот лучшая похвала, которую мы можем сказать ей. Не пускаемся ни в изложение содержания, ни в выписки, потому что черты добродушного комизма, которым исполнена повесть, могут производить впечатление только в целом, когда читатель проникнется мирным, веселым и не лишенным своей грации тоном и колоритом рассказа. Читатели, уважающие в г. Григоровиче даровитого автора народных повестей и романов, так серьезно и благородно понимающего свою задачу и так прекрасно служащего ей, в авторе «Школы гостеприимства» полюбят веселого, беззаботного рассказчика, по-видимому, думающего об одном: чтоб посмешить их и самому посмеяться вместе с ними. Есть, впрочем, черта в новом рассказе г. Григоровича, которая может произвесть неприятное впечатление, но она, собственно, не относится ни к литературе, ни к читателям, ее заметят только немногие, и потому мы умалчиваем о ней, предоставляя себе при другом случае коснуться вопроса о том, в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения?

В IX № «Библиотеки для чтения» помещено стихотворение г. Бенедиктова «Малое слово о Великом». Если б стихотворение было только слабо, мы оставили бы его в покое: чье «слово» не побледнеет перед личностью Петра? о нем, собственно, и не может быть великих слов. Но... вот для примера, как отразилось в стихотворении г. Бенедиктова одно из бессмертных дел великого — основание Петербурга:

Раз, заметив *захолустье,*
Лес, *болотный уголок,*
Глушь кругом, при Невском устье
Заложил он городок.

Шаток грунт, да сбоку море:
Расхлеснем к Европе путь!
Эта дверь не на затворе,
Дело сладим *как-нибудь.*

Нынче — сказана граница,
Завтра — срублены леса,
Чрез десяток лет — столица,
Через сотню — чудеса!

Кто не почувствует, как эта картина бедна, не полна и не верна, начиная с природы, до того, что думает или говорит у г. Бенедиктова преобразователь, решаясь заложить город? *Захолустье,* болотный *уголок* — разве эти слова сколько-нибудь дают понятие о пустынной, грандиозной и дикой природе, среди которой гениальная мысль великого угадала необходимость русского города? А то, что думает он... но, впрочем, припомним лучше картину, нарисованную Пушкиным по тому самому фону,— тогда все будет ясно само собою:

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел... Пред ним широко
Река неслася, утлый челн
По ней стремился одиноко...

. . . .

. . . . И думал Он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Судьбою здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе!

Мы не думаем требовать, чтоб г. Бенедиктов дал нам нечто равняющееся достоинством Пушкину, мы только обращаем внимание его и наших читателей на тон, которым говорит Пушкин сравнительно с тоном г. Бенедиктова. Не правда ли, тон не последнее дело в литературном произведении, не говоря уже о других требованиях? До какой степени удовлетворяет стихотворение, например, внутреннему пониманию характера и верному его отражению до малейших подробностей, можно уже видеть по приведенной выписке: у Пушкина Петр думает:

Судьбою здесь нам *суждено*
В Европу прорубить окно... и проч.

Г-н же Бенедиктов заставляет его думать так:

Эта дверь не на затворе,
Дело сладим *как-нибудь*...

Но возвращаемся к тону стихотворения, не предъявляя никаких других требований. Великое дело введения в России флота отразилось у г. Бенедиктова в следующих четырех стихах:

Взял топор — и первый ботик
Он устроил, сколотил,
И родил тот ботик — флотик,
Этот флотик — флот родил.

Указ о бороде в следующих:

Надо меру взять иную!
Русь пригнул Он... быть беде!
И хватил ее, родную,
Топором по бороде:

Отскочила! — Брякнул, звякнул
Тот удар... легко ль снести?
Русский крякнул, русский всплакнул:
Эх, бородушка, прости!

Кое-где и закричали:
«Как? Да видано ль вовек?»
Тсс... молчать! — И замолчали.
Что тут делать? — Царь отсек.

Важные исторические факты, имевшие столь сильное влияние на судьбу целого народа, не являются ль несколько в чуждом им свете, переданные таким тоном, с такой точки зрения?

Это не народный язык и не язык людей образованных,— что же это такое?.. Не беремся отвечать,— знаем только, что на такой тон нельзя написать удовлетворительного произведения о предмете, который избрал г. Бенедиктов.

Заметим еще, что стремление к оригинальности, к обычной у г. Бенедиктова вычурности и ухарской громозвучности (о которой мы ничего не сказали, потому что о ней уже было говорено слишком много), местами привело автора к неверному употреблению слов, как, например, в следующем куплете:

И в тот век лишь взор *попятишь*,
Все оттоль глядит добром —
И доселе, что *ни схватишь*,
Отзывается Петром...

Возможно ли: *попятить взор?* Для этого единственное средство, чтоб глаза выскочили на затылок, но, *попяченные* таким образом, они едва ли сохранят способность что-нибудь видеть. Вторая половина куплета тоже не верна. Схватить можно и недостойный предмет.

Мы не распространились бы так о новом стихотворении г. Бенедиктова, если б не считали его человеком даровитым, но идущим, к сожалению, по ложной дороге (что мы несколько раз говорили и теперь повторяем с полным убеждением). Самое удачное место в стихотворении следующее:

И с ремесленной науки
Начал Он и, в деле скор,
Крепко в царственные руки
Взял Он плотничий топор.

С бодрым духом в бодром теле
Славно плотничает царь;
Там успел в столярном деле;
Там — глядишь — уж и токарь.

Приловчил к станку Он руку
И Данилыча зовет:
«Эку выточил я штуку!»
Да и штуку подает.

К мужику придет: «Бог помочь!»
Тот трудится, лоб в поту.
«Что ты делаешь, Пахомыч?»
— Лапти, батюшка, плету;

Только дело плоховато,
Ковыряю, как могу —
Через пятое в десято.
«Дай-ка, я те помогу!»

Сел. Продернет, стянет дырку,
Знает, где и как продеть,
И плетет в частоковырку,
Так, что любо поглядеть.

Это место хорошо — именно своей тривиальностью. Так и должно говорить о плетении лаптей, кто бы их ни плел. Но когда хотим говорить об основании города среди пустыни вследствие соображений, гениально прозревающих в даль грядущего, об устройстве флота, о распространении просвещения «на Руси — немножко дикой» (стих г. Бенедиктова), ясно, что тогда нужен тон другой.

Все сказанное в той же степени относится к другому стихотворению г. Бенедиктова: «Отечеству и врагам его», в котором, между прочим, есть такие стихи о любви автора к родине:

Я люблю тебя во всем
. . . .
В русской деве светлоокой
С звонкой россыпью в речи,
В русской барыне широкой,
В русской бабе на печи,—

В русской песне залюбовной,
Подсердечной, разлихой,
И в живой, сорвиголовной,
Всеразгульно-плясовой,—

В русской сказке, в русской пляске,
В крике, в свисте ямщика,
И в хмельной с присядкой тряске
Казачка и трепака [1].

В пирогах, в ухе стерляжей,
В щах, в гусином потрохе,
В няне, в тыковнике, в каше
И в бараньей требухе...

Последних четырех строк нет у г. Бенедиктова, мы их сочинили, увлекшись примером поэта. Но не правда ли, они очень идут тут? Их как будто недоставало! Выражать любовь свою к отчизне любовью к трепаку или к няне и к ботвинье (блюдам, впрочем, прекрасным), смешивая эти пустяки с предметами действительно существенными и достойными сочувствия *каждого* русского, теперь уже слишком несвоевременно. Такой патриотизм давно и достойно отмечен прозванием: квасного. Любовь к отечеству заключается прежде всего в глубоком, страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь; в горячем сочувствии ко всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, что замедляет путь к совершенствованию, указываемый ему пекущимся о благе его монархом. Пожалуй, к этим *необходимым* принадлежностям каждого истинного сына своей земли можно присоединять и любовь (как оно часто и

[1] «Библ<иотека> для чт<ения>», № 8.

бывает) к каждой мелочи родного быта, обычаев, нравов — до вкуса в пище. Но это уже не есть условие необходимое. Можно не любить трепака или квасу — и умереть за отечество, жертвою любви к нему и сознания своего долга. И наоборот. Любя и квас, и трепака, и очищенную, можно дойти до забвения своих обязанностей, если сознание долга в человеке слабо и любовь к родине не имеет основы разумной. Сколько у нас иностранцев, которые, пожив в России два-три года, утверждают, что не могут обойтись без русской ботвиньи, блинов, щей, каши, простого вина, но это не дает им права быть русскими, а нам предполагать в них наших братьев, горячих сынов нашей родины. Русский же, какими-нибудь судьбами проведший бо̀льшую часть жизни вне отечества и даже не знающий о существовании ботвиньи или трепака, все-таки наш брат, все-таки русский... Дело, очевидно, не в трепаке! Обо всем, сейчас сказанном, в свое время было уже очень много говорено в русской литературе, но после прекрасных образцов разумного и благородного патриотизма нам неприятно встретиться с прежней манерой... Ничего не может быть приятнее для русского, как чтение таких произведений, где торжествует чувство патриотизма. Но надобно, чтоб это великое чувство было выражено достойным его образом!

Переходим к «Отеч. запискам».

X № «Отечественных записок» открывается повестью г. Писемского «Плотничья артель». Дарование г. Писемского достаточно известно читателям «Современника», напечатавшего в течение последних трех лет несколько более или менее удачных произведений этого писателя, как-то: «Богатый жених», роман; «Раздел», комедия; «Леший», рассказ из народного быта; «Фанфарон», нравоописательные очерки, внушенные автору, как он сам заметил, «Снобсами» Теккерея; «Виновата ли она?», повесть. Которое из этих произведений более понравилось публике и которое действительно должно назвать лучшим, сказать теперь уже можно положительно: это «Леший», рассказ из народного быта. Подобные рассказы особенно удаются автору, и после мастерских очерков гг. Даля, Тургенева и Григоровича народные очерки г. Писемского, конечно, лучшие в русской литературе. Рассказ г. Писемского «Питерщик» доныне остается лучшим его произведением. «Плотничья артель» так-

же принадлежит к этому роду рассказов автора, но как мы имеем намерение вскоре говорить подробно о г. Писемском, то и отлагаем суждение о ней до того времени. Это нам не мешает заметить теперь же, что народный язык в этом рассказе удивительно верен. <...>

Следуя порядку размещения статей в «Отечественных записках», нам теперь должно бы говорить о статье «Очерки из старинной русской литературы», но мы не читали начала статьи, помещенного где-то в прежних нумерах журнала, и потому проходим продолжение молчанием. Критика и библиография «Отечественных записок» отличаются обычною дельностью, вполне выкупающею тоже обычную сухость статей. Затем следует «Смесь», в которой помещены: «Просто случай», драматическая сцена И. Горбунова, и «Провинциальные типы» Ивановского-Елецкого. Обе эти вещи совершенно незначительны, но как под ними стоят новые имена, то мы скажем о них по нескольку слов. «Просто случай» — дагерротипный список с купеческого разговора — разговора не интересного, не характерного и не забавного. Под громким же заглавием «Провинциальные типы. Листки из записной книги светского человека. I. Феденька» напечатан пустой рассказ, наполненный дешевым глумлением над провинцией, которой сочинитель не знает, может быть потому, что не живал в ней, а вернее потому, что не в состоянии был бы узнать ее, если бы прожил в ней даже полстолетия. Ни тени дарования, наблюдательности, ума не встретите в этом *типе*. Но что всего хуже — это, так сказать, внутренний смысл повести. Герой ее — Феденька, так называемая «широкая русская натура». Эту натуру, как многое, чем пробавляется теперь беллетристика, пустил в ход г. Тургенев своим Каратаевым (в рассказе того же названия). С той поры ее трепали, трепали и не перестают трепать, схватывая только внешние приемы и нисколько не понимая сущности характера, так верно подмеченного и художнически поставленного г. Тургеневым. Недавно еще мы встретили фразистое и надутое изображение Томилина (в повести «Поездка в деревню») с его титанической страстью к цыганке; теперь нам дают «Феденьку». Что такое «Феденька»? <...>

Не говорим уже о пошлости содержания, о неверности языка, с точками после каждого слова (что делает пе-

чатную страницу похожею на то, как будто на нее просыпали горсть пороху), языка, которым никто не говорит, кроме заик и сумасшедших; умалчивая о ничтожности рассказа вообще, скажем два слова о смысле его. Феденька, вступающий в брак, имея на шее сто тысяч долгу, которых нечем ему заплатить; Феденька, который, женившись, нимало не делается лучше, но продолжает пить, играть и ездить с собаками, забывая о жене, о детях до такой степени, что когда ему однажды случилось счесть их и насчитать пять, он восклицает: *откудова?* Феденька, принимающий любовь и самоотвержение своей жены, как животное, без мысли, без сознания, и в течение *двадцати лет* ни разу не подумавший о том, что ей это стоит? Наконец Феденька, на которого не подействовала даже и смерть жены, будто бы бесконечно им любимой,— Феденька, продолжающий и по смерти жены, без всякой мысли о детях, так же точно пить и играть, как пил и играл при ней,— что такое этот Феденька, как не отъявленный неисправимый негодяй? Дайте такому человеку другую жену, он опять поступит точно так же... Кажется, ясно? И между тем все сочувствие повести на стороне Феденьки! «Светский человек», при его рассказе «*растроганный и увлеченный, чуть было не бросился к нему на шею*», и автор, видимо, разделяет увлечение своего светского человека. «Светский человек», наивно очарованный вместе с автором своим Феденькою, старается (конечно, безуспешно) навязать свое сочувствие и читателю, восклицая в одном месте: «Читатель! полюбите, как и я, моего Феденьку!» Но читатель не ребенок: он, к счастию, знает, что́ думать о таких личностях и таких авторах. Если автор хотел подражать г. Тургеневу, то пусть бы он вспомнил, что тот же г. Тургенев, написавший «Каратаева», создал лицо Веретьева (в повести «Затишье»). Веретьев также натура широкая, но которой хватает только на мерзости,— и вот этот-то Веретьев мог бы пояснить автору, что такое его Феденька. Но, впрочем, оставим автора; он не мог сделать того, чего не сделал, ибо руководился в своем рассказе только желанием написать «тип», не имея способности ни понимать характеров, ни оценивать поступки людей. Нас более занимает вопрос, зачем напечатан этот вздор в дельном журнале? Неужели из пренебрежения к той отрасли литературы, которую называют «легкою»? В одном месте

того же нумера «Отечественных записок» сказано: «Кажется, число читателей, желающих чему-нибудь научиться, а не убивать время над *пустейшими сказками и романами английских фабрик*, и ныне не много увеличилось. Нам часто случалось видеть неразрезанными те страницы «Отечественных записок», на которых помещены многие превосходные исторические и критические статьи» («Библиогр<афическая> хр<оника>», стр. 6). Эти слова несколько странно читать в журнале, *половина* которого ежемесячно наполняется *русскими повестями* (или — если хотите — *сказками*) и *английскими романами*. Неужели таков взгляд журнала на легкую литературу? Если таков, тогда, разумеется, все равно напечатать «Феденьку» или «Плотничью артель», но едва ли он таков. Эта фраза, очевидно, дело опрометчивости, как и самое напечатание «Феденьки». Иначе мы не хотим думать. Можно и должно скорбеть, что дельные ученые статьи у нас не всеми разрезываются, но нет причины негодовать и огорчаться, что в журналах наших отдел словесности постоянно разрезан и, следовательно, прочтен. Это все-таки лучше, чем если бы оба отдела оставались неразрезанными. Довольно ограничиться заботою, чтоб читаемый отдел заслуживал прочтения, и посильным содействием, чтоб наука и искусство шли у нас рука в руку, помогая друг другу в деле общественного воспитания. Нельзя сказать даже, чтоб последнее время вовсе не представляло утешительных признаков в этом отношении; вспомним, что менее 15 лет назад требования читающей публики вполне удовлетворялись романами Дюма и Фудраса, которых наперебой переводили лучшие тогдашние журналы, как теперь Теккерея и Диккенса. От Дюма и Фудраса к Теккерею и Диккенсу, от Теккерея и Диккенса к русским туристам и ученым, владеющим искусством живого литературного изложения,— к Боткину, Грановскому, Никитенко (которых произведения и самые имена столько же не чужды теперь массе публики, как произведения любимых ею беллетристов — Гончарова, Григоровича и Тургенева), это — все-таки движение вперед. И оно совершилось на наших глазах, в какие-нибудь пятнадцать лет, и сами же «Отечественные записки» были едва ли не главною его причиною!

Вообще заслуги «Отечественных записок» для русского общества так велики, что каждый читатель охотно

простит этому журналу и не один такой промах, как помещение слабого или лишенного смысла рассказа, но мы распространились о «Феденьке» не с намерением упрекнуть «Отечественные записки». Подобные явления, как бы они ничтожны ни были сами по себе, всегда будут обращать на себя наше внимание, если только они касаются, так сказать, нравственного значения литературы. И вот по какой причине. Мы уже имели случай заметить (в № 8 «Современника»), что литература наша в последнее время, при многих своих хороших сторонах, неприятно поражает своим всетерпящим равнодушием, апатиею, неопределенностию в воззрении своем на такие явления действительности, о которых, собственно, не должно быть двух разноречивых мнений. Доказательств этому, к сожалению, слишком много. Станем ли оправдывать такие повести, которые, представив, например, в данных обстоятельствах любовь, принесенную в жертву расчету, малодушно отходят в сторону и предоставляют публике решить: хорошо это или худо и т. д.? А таких повестей теперь довольно, и мы выбрали еще самый не резкий пример; но ограничимся им; его достаточно, чтоб нас поняли, и спросим: достойна ли литературы подобная уклончивость? и к чему она? В обществе еще бывают обстоятельства, где вы принуждены подавать иногда руку человеку двусмысленному, назвать тот или другой факт не тем именем, которого он заслуживает,— в литературе не существует такого неудобства. Литература не должна наклоняться в уровень с обществом в его темных или сомнительных явлениях. Во что бы ни стало, при каких бы обстоятельствах ни было, она должна ни на шаг не отступать от своей цели — возвысить общество до своего идеала,— идеала добра, света и истины! Иначе она потеряет все свое благодетельное влияние и придет к самым безотрадным результатам, потому что, как бы много ни извиняла литература, оправдываясь, чем только можно в таких случаях оправдываться, общество всегда будет снисходительнее литературы к самому себе, и, таким образом, если б искусство, перестав служить истине единой и вечной, начало служить истине относительной, идея добра и зла, нравственности и порока смутно стала бы представляться... Какова бы ни была собственно русская литература и теперешняя ее деятельность, не забудем, что она во всей своей массе служит представи-

тельницею умственной жизни народа — и будем больше уважать ее, будем служить ей осмотрительнее! Не забудем, что все те, которые с университетской или с другой учебной скамейки унесли с собою в отдаленные и разнообразные пределы отечества бóльшую или мéньшую частицу любви к науке, к литературе, уважения и доверия к умственному труду, все они следят за нашею деятельностию, ищут в ней разъяснения волнующих их вопросов, поддержки своим благородным убеждениям, оружия против невежества и закоснелости! И чем более дадим мы здоровой и плодотворной пищи их любознательности, их благородной жажде света и истины, тем прочнее и дольше удержат они в сердце своем любовь ко всему доброму, справедливому и прекрасному, любовь, так беспощадно охлаждаемую действительностию,—и тем благодетельнее будет, в свою очередь, их влияние на тот круг, в среде которого поставлены они судьбою действовать и морально первенствовать! Многое еще можно бы сказать о значении литераторов, литературы, журналистики, но довольно. Заключим, чем начали: будем же осмотрительнее как в том, что мы пишем, так и в том, что печатаем в наших журналах. Образование не забывает услуг, ему оказанных, когда-нибудь нам скажут спасибо...

Как утешение, как подкрепление для каждого честного литератора на его тернистом пути, мы можем предложить небольшую статейку г. Погодина, написанную им (№ 12 «Москвитянина») по поводу «Нового издания сочинений Пушкина и Гоголя». Статейка не чужда обычных странностей г. Погодина в манере и в слоге, даже иногда в мысли; но дело в деле, а не в форме, и не в отдельных мыслях, а в целом значении статьи <...>

Кем бы и как бы ни были изложены подобные мысли, им не может не сочувствовать каждый литератор, каждый истинно русский вообще! Прочитав эти строки, мы невольно задумались о судьбе Гоголя и вспомнили его же слова: «Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни?..» Тот же незабвенный покойник сказал: «Мир, как водоворот: движутся в нем вечно мнения и толки, но все перемалывает время, как шелуха слетает ложь и как твердые зерна остаются недвижные истины. Что призна-

валось пустым, может явиться потом вооруженным строгим значением...» Да!

Между современными литераторами нет Пушкиных и Гоголей, но настоящий факт не служит ли лучшим ручательством, что всякая деятельность, отмеченная стремлением к добру и правде, любовью к отечеству, к его благоденствию, славе и просвещению, не будет забыта. Сегодняшний день лучше вчерашнего, завтрашний будет лучше сегодняшнего, и таким образом время делает свое дело. «Бодрей же в путь!» Правдивое признание заслуг, честь и благодарность ожидают всякого совестливого труженика мысли. Но горе и стыд тем, кто приносит истину в жертву корысти и самолюбию! Для них нет впереди света, не греет и не животворит их надежда лучшего будущего, это лучшее — час их обличения и позора! Стыд всем сплетничающим, клевещущим, барышничающим, обращающим благородное оружие литератора — мысль и слово — в орудие личных своих интересов и страстей. Но о таких мы ни слова. Таких, к счастью, нет в нашей литературе...

Кроме приведенной статейки, в XII № «Москвитянина» мы обратили внимание на «Севастопольские письма» г. Б-га. В них, однако, нашли мы мало нового после статьи того же автора «Десять дней в Севастополе», о которой мы говорили (см. наши Заметки в 8 № «Современника»). Дело в том, что эти письма, собственно, не назначались для печати и попали в печать потому только, как говорит г. Погодин, что предыдущие статьи г. Б. «заслужили общее одобрение». Итак, письма заключают в себе по большей части то, что потом, в обделанном виде, вошло в состав статьи «Десять дней в Севастополе». Впрочем, есть в них кое-что новое. Так, с чрезвычайным интересом прочли мы следующую страницу о генерал-адъютанте Лидерсе <...>

Нам понравились еще небольшие стихи г. Б-га, которые он сложил, проезжая (в начале нынешнего года) под Одессой мимо пустынного Черного моря, которое плещется у самых колес едущих:

О чем ты стонешь, сине море?
Что пасмурно твое чело?
Скажи ты мне, какое горе
В твоих пучинах залегло?

Ты плачешь, море, что не стало
Тебе знакомых кораблей,
Что́ смело реяли, бывало,
Одни среди твоих зыбей.

Не плачь, не плачь ты, сине море,
Глубоко вопли затаи:
Пройдет твое лихое горе,
Вернутся соколы твои!

Я видел страшные траншеи
И вал из камня и земли,
Где, притаившись словно змеи,
Рядами пушки залегли.

За ними — славны ратоборцы,
Стоят и хладно битвы ждут,
Твои питомцы — черноморцы,
Им бой не в бой и труд не в труд!

Пускай придут; все это ляжет,
Отчизне жертвуя собой...
Кто ж будет жив, кто перескажет
Про этот день, про этот бой?..

Дуфиновка, деревня под Одессой.
1855, 28 февраля.

В этих стихах слышится живой голос, живое чувство очевидца,— вот отчего такая разница между ними и множеством стихотворений на ту же тему, сочиняемых в Москве, в Петербурге и во всех городах, где есть грамотные люди и откуда только ходит почта в редакции русских журналов.

В заключение скажем несколько слов о «Современнике», которого мы не считаем удобным исключать из нашего обзора, ибо думаем, что стремление наше отразить в очерках наших сколько-нибудь характер, направление, достоинства и недостатки настоящей русской литературы может быть достигнуто только в таком случае, если мы будем принимать в соображение и поставлять на вид читателю все стороны ее. У нас теперь четыре литературные журнала (некоторые насчитывают даже менее четырех); итак, если умалчивать о деятельности одного из этих, положим, четырех, очевидно, что цель не может быть достигнута. Притом, не странно ли: сегодня я могу говорить, например, о г. Григоровиче, по-

тому что повесть его помещена в «Библиотеке для чтения», а завтра уже не могу, потому что повесть его помещена в «Современнике»? Ведь я, как в том, так и в другом случае, не заставляю читателя верить мне, а представляю ему мое мнение, которое он волен принять или отвергнуть, согласно с своими понятиями. Такая уступка внешнему, так сказать, признаку беспристрастия, в сущности, плохая гарантия искренности мнений журнала. Добросовестный журнал хвалит то или другое произведение не потому, что оно в нем напечатано, а печатает его потому, что оно достойно похвалы,— вот наш взгляд, и в силу его мы будем говорить о «Современнике»,— разумеется, коротко и только о самом замечательном в нем. Если же нам не удастся даже настолько внушить доверия к нашим мнениям, чтоб нас хоть не подозревали в подкупе, нам останется только смиренно передать перо другому. Впрочем, то, что мы имеем сказать на этот раз,— более относится к русской литературе вообще, чем к «Современнику». Дельное, так сказать, практическое направление, принятое нашей литературой в последние пятнадцать или двадцать лет и состоящее в стремлении к изучению своего, национального — во всех его проявлениях и сословиях, почти не коснулось сословия военного. Со времени фразистых повестей Марлинского, в которых и офицеры и солдаты являлись в не свойственной им мантии средневековых воинов, мы не имели ничего о русском солдате. И вот является писатель, который вводит нас в этот совершенно новый для нас мир. Подобно г. Тургеневу, который девять лет тому назад начал свои очерки народных характеров и постепенно поставил перед нами ряд оригинальных, живых и действительных лиц, о которых мы до него не имели понятия, г. Л. Н. Т. в своей «Рубке леса» представляет нам несколько типов русских солдат, типов, которые могут служить ключом к уразумению духа, понятий, привычек и вообще составных элементов военного сословия. Еще несколько таких очерков, и военный быт перестанет быть темною загадкою. Мастерство рассказа, полное знание изображаемого быта, глубокая истина в понимании и представлении характеров, замечания, исполненные тонкого и проницательного ума,— вот достоинства рассказа г. Л. Н. Т., который, мы уверены, прочтут читатели «Современника» с живейшим удовольствием. По-

лагаем также, что читатели наши прочли не без интереса «Ночь весною в Севастополе» — рассказ, так просто, верно и картинно передающий до мельчайших подробностей жизнь в осажденном городе...

Кстати, в нынешней книжке «Современника» читатели встретят рассказ «Восемь месяцев в плену у французов», который мы особенно рекомендуем их вниманию. Автор — лицо новое: это *армейский солдат*, урожденец Владимирской губернии, города Шуи, Таторский. Под Альмой ему двумя пулями пробило руку, он попал в плен, был в Константинополе, был в Тулоне, потом возвращен, уже без руки, в Одессу, где и вздумал описать свои похождения (или, вернее, продиктовать). Рассказ его представляет несомненные признаки наблюдательности и юмора — словом, таланта... Даровита русская земля!

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ *за октябрь 1855 года*

Читатель, в то время как Россия оплакивает столько героев, со славою погибающих за отечество на войне, ей приходится оплакать еще потерю, скорбную и, может быть, незаменимую. Наша юная наука, наша литература также имеют своих героев, людей бескорыстно и доблестно служащих делу просвещения; людей, свято хранящих в сердцах своих благородный огонь лучших человеческих верований, стремлений и подвигов; неустрашимо и самоотверженно проносящих этот святой огонь под дуновением временных бурь и неблагоприятных случайностей; людей, которым скромная доля ученого, награждаемого сочувствием истинных ценителей просвещения, обольстительнее всех других поприщ, где их дарования, их деятельность могли бы открыть широкий простор их личному честолюбию и своекорыстию. К числу таких людей, которых мы, подражая Карлейлю, можем назвать без преувеличения героями, принадлежал недавно скончавшийся Т. Н. Грановский. Это был один из самых даровитых и богатых знанием ученых, это был профессор, к которому любовь его слушателей доходила до восторженного благоговения, наконец это был человек, в кото-



Н. А. Некрасов. 1868.



«Некрасов в период «Последних песен».
Работа худ. И. Крамского. 1877.

ром сила и чистота убеждений, возвышенное благородство мыслей, чудная прелесть богато одаренной и широко развитой личности соединялись в прекрасное целое, благодатно полное, неотразимо обаятельное! Да, по нашему мнению, что-то цельное, что-то полное — больше чем всякая другая русская личность — представлял собою Грановский. На нем лежала печать спокойной силы, которая должна была сказаться и сказывалась,— не тратясь в колебаниях, в изысканиях,— сказывалась не напряженно, но уверенно и легко. Так великая река катится по своему направлению, совершая несуетливо и важно свой непреложный, неизменный ход. Настоящим призванием Грановского была кафедра, и каков он был на кафедре, это, к счастию, знают и не забудут многие и многие русские люди. Писал он мало, и хотя сочинения его представляют несомненные достоинства, но бледно будет понятие о Грановском того, кто вздумает судить о нем по одним его сочинениям. Каков он был, наконец, в беседе, на этой третьей и самой обширной своей кафедре, об этом вообще трудно говорить, но еще труднее говорить теперь, когда рана, нанесенная смертью любимого человека, еще слишком свежа в сердце каждого, кто знал Грановского. Мы его знали, мы его любили... Вызвать из души своей ряд воспоминаний, быть может лучших в нашей жизни — душою которых был он, мы теперь не имеем силы...

Самым замечательным, самым живым, что произвела русская литература прошлого месяца, было несколько горячих, искренних страниц, вызванных смертью Грановского. Первое место здесь принадлежит небольшой статейке г. Каткова (в «Московских ведомостях», от 6-го октября), в которой горячо, сильно и глубоко сказалось сожаление о потере прекрасного и полезного человека. В ней есть счастливо уловленные черты, которые могут дать понятие о личности Грановского тому, кто не знал его (мы их подчеркиваем). «Кто знал покойного,— говорит г. Катков,— тот поймет всю силу этой потери, всю глубину нашей скорби. Смерть похитила его в цвете сил, посреди поприща, на котором он так прекрасно, так благотворно, так славно действовал! Он унес с собою столько сокровищ,— *это обаяние избранной природы, эту ясность и юность духа, эту чистоту убеждений, эту возвышенность помыслов, этот дар возбуждения, эту ча-*

рующую прелесть слова! В многочисленных слушателях Тимофея Николаевича, рассеянных во всей России, скорбно отзовется эта весть. Все они хранят в себе прекрасный образ своего наставника и высокую поэзию его уроков. Московское общество стекалось на публичные его лекции и помнит эти минуты умственных наслаждений, помнит *это лицо, столь выразительное, запечатленное думою, и этот тихий, глубокий, проникавший в душу голос, и эту речь, столь оживленную, столь изящную.* Он был создан для своей науки. Его обширная, изумительная память сохраняла все подробности событий; он владел необыкновенным даром воссоздавать их для созерцания; мысль его всегда была согрета нравственным убеждением, которое и сообщало такую прелесть его слову. Чудные образы вставали перед слушателями из исторических могил, с своими заветными думами, с своею скорбию, с своим торжеством. *Нередко два-три магические слова вызывали великую историческую тень и оживляли далекую эпоху.* Как историк, он в созерцании человеческих дел преимущественно одушевлялся идеалами нравственной красоты и видел в своей науке могущественное средство для воспитания нравственного чувства. *Он был исполнен любви, мысль его была рыцарски великодушна...»*

Все это справедливо и прекрасно. Удивительно тепла и трогательна статья: «Два слова ученика о наставнике», написанная одним из слушателей покойного профессора, *студентом* ** (в № 122 «Московских ведомостей»); любовью дышит в ней каждое слово; счастливых выражений, характеризующих личность Грановского, в ней также много (мы опять их подчеркиваем): «Так, должно примириться с мыслию: нет Т. Н. Грановского! знавшие его уж не найдут его в своем кругу; а мы, его слушатели, более не увидим нашего *благодушного* наставника, *входящего своею тихою поступью в аудиторию, с добрым взором, с выражением спокойной думы на лице; не услышим более его симпатического голоса.* Не сухую науку передавал он; *его учение было проникнуто духом живой истины,* которая везде одна, что в науке, что в жизни. *Та же благородная душа, тот же гуманный характер, та же безоблачность взгляда, те же прекрасные порывы, которыми отличался покойник в жизни, глубоко чувствовались и в чтениях его.*

Ученики чтили его как наставника, любили как человека. *В его образе для них пленительно слилось значение избранного служителя науки с значением человека, которому доступно было все человеческое, который правду своей науки вносит не в отмеренную рамку часовых уроков, но в самую жизнь свою*, так что она слышалась у него во всех его словах и действиях.

При громадной учености, *он был совершенно чужд педантизма;* он отличался готовностью с одинаким участием выслушивать возражения от равного себе и низшего; *он приобретал себе уважение и славу безо всякого с своей стороны домогательства.*

Мир его праху! Пусть же всякий из нас оценит всю важность потери, которая так неожиданно нас поразила, и пусть имя Грановского навеки останется в нашем университете одним из лучших его преданий, одним из лучших его залогов.

7-е октября 1855 г.

Студент **».

Наконец в том же 122 № «Московских ведомостей» есть еще небольшая статья, в которой развивается весьма справедливая мысль о значении Грановского как *человека общественного.*

В заключение выразим здесь наше искреннее желание, чтоб публике недолго пришлось ждать издания сочинений Грановского. Хотя Грановский как профессор, как человек общественный далеко оставлял за собой Грановского-писателя, но сочинения его представляют достоинства первоклассные. Одна уж их живая, художнически-прекрасная форма при строго-ученом содержании сообщает им весьма важное значение. Издания сочинений Грановского с его биографией, портретом, с приложением всего замечательного, вызванного его смертью,— вот чего ждем теперь мы, ждет вся публика от друзей покойного, между которыми есть люди, глубоко его любившие, которые при жизни готовы были многим для него жертвовать...

Переходим к октябрьским журналам. Здесь прежде всего наткнулись мы на любезное нам имя г. Фета, и — такова сила поэзии! — тяжелое, скорбное чувство, под

влиянием которого писали мы предыдущие строки, смягчилось при воспоминании одного чудного стихотворения, которое нам всегда приходит в голову неразрывно с именем г. Фета. Мы вспомнили «Диану». Выписываем ее здесь, чтоб не слишком резко перейти и окунуться в омут журнальной ежедневности.

ДИАНА

Богини девственной округлые черты
Во всем величии блестящей наготы
Я видел меж дерев над ясными водами,
С продолговатыми, бесцветными очами;
Высоко поднялось упругое чело —
Его недвижностью вниманье облегло,
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева,
Зефир вечеровой между листов проник —
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал — она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные! Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой...

Всякая похвала немеет перед высокой поэзиею этого стихотворения, так освежительно действующего на душу; мы искренно пожалели, что г. Фет, которому природа дала лучший из даров своих — дар поэзии, который так мастерски, так художественно-пластично умеет описывать «Диану», вздумал описывать Марью Ивановну и тому подобные личности (см. № X «Отечественных записок», повесть «Дядюшка и двоюродный братец»). Попытка совершенно не удалась, чему мы, признаемся, душевно рады: авось вторая неудача охладит г. Фета к прозе и возвратит его к настоящему его делу — к стихам.

За повестью г. Фета следуют в «Отечественных записках» путевые заметки г. Гончарова о «Манилле». Нужно ли говорить, что статья прекрасна, отличается живостью и красотой изложения, свежестью содержания и той художнической умеренностью красок, которая составляет особенность описаний г. Гончарова, не выставляя ничего слишком резко, но в целом передавая предмет со всею верностью, мягкостью и разнообразием то-

нов? Не далее как в прошлом нумере нашего журнала помещена статья г. Гончарова «От мыса Доброй Надежды до Явы»; статья не велика, но уже по ней могут судить читатели, как увлекательно рассказывает романист-путешественник свои впечатления <...>

Новое издание «Сочинений Гоголя» и пяти глав II тома «Мертвых душ» начинает вызывать толки о Гоголе, к сожалению довольно бледные или односторонние, не представляющие ничего целого. Октябрь месяц дал две статьи о Гоголе,— одну в «Библ<иотеке> для чтения», другую в «Отечественных записках».

Насколько незначительна статья г. Р-ва в «Библиотеке для чтения», не заключающая в себе ничего, кроме благородного, но вполне неудавшегося желания сказать что-то о Гоголе хорошее и новое, настолько же любопытна статья г. Писемского по поводу второго тома «Мертвых душ». Прежде всего, однако ж, нужно сказать, что эта статья не имеет ничего общего с тем, что разумеют под словом *критика*. Если вы захотите искать в ней проницательного и всестороннего проникновения в сущность поэзии Гоголя, то она вам не даст ничего или почти ничего, с этой стороны следует подступать к ней даже с осторожностию и оглядкою; но в ней вы найдете несколько, так сказать, *частных* заметок о Гоголе, заметок верных, метких, и если не всегда новых, то хорошо сказанных. К таким относим мы все, что говорит автор о Тентетникове, о Костанжогло, о генерале Бетрищеве, в особенности о Хлобуеве. Но взгляд автора на Гоголя вообще неглубок и односторонен, вследствие чего значение Гоголя, его деятельность, самое его влияние — все под пером г. Писемского, так сказать, сужено (конечно, без намерения: г. Писемский жаркий поклонник Гоголя и не без основания называет себя учеником его). Он мерит Гоголя на довольно обыкновенную мерку и приходит иногда к странным выводам. Так, он почти вовсе отказывает Гоголю в лиризме (подумал ли критик, на какое бедное значение низводит он одним словом великого писателя и как бы это было прискорбно, если б было справедливо?). Это делает он на основании двух-трех неудачных лирических отступлений в первом томе «Мертвых душ». Но почему же г. Писемский позабыл «Невский проспект», позабыл «Разъезд», в котором найдем чудные лирические страницы, позабыл «Старосветских по-

мещиков», чудную картину, всю, с первой до последней страницы, проникнутую поэзией, лиризмом? Ах, г. Писемский! Да в самом Иване Иваныче и Иване Никифорыче, в мокрых галках, сидящих на заборе, есть поэзия, лиризм. Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно-слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой — характер, и притом такой русский характер! Что без этого были бы его книги! Они были бы только книгами — лучше многих других книг, но все-таки книгами. Гоголь неоспоримо представляет нечто совершенно новое среди личностей, обладавших силою творчества, нечто такое, чего невозможно подвести ни под какие теории, выработанные на основании произведений, данных другими поэтами. И основы суждения о нем должны быть новые. Наша земля не оскудевает талантами — может быть, явится писатель, который истолкует нам Гоголя, а до тех пор будем делать частные заметки на отдельные лица его произведений и ждать,— это полезнее и скромнее. Что до нас, то мы всегда принадлежали и надеемся впредь принадлежать к тем, которые, по словам г. Писемского, питали *полную веру в лиризм Гоголя,* и думаем, что в России много найдется людей, думающих одинаково с нами. Напрасно г. Писемский ссылается на «горячего, с тонким чутьем, критика», который будто бы, *по преимуществу,* открыл в Гоголе социально-сатирическое значение. Критик, о котором говорит г. Писемский, выше всего ценил в Гоголе — Гоголя-поэта, Гоголя-художника, ибо хорошо понимал, что без этого Гоголь не имел бы и того значения, которое г. Писемский называет социально-сатирическим. Вспомним, что самое слово *поэт* в применении к писателю-прозаику начало на Руси появляться в первый раз в статьях этого критика по поводу Гоголя. А до него у нас думали, что поэтами называют только людей, пишущих стихи.

Нельзя согласиться также и с некоторыми частными замечаниями г. Писемского о второй части «Мертвых душ». Так, нам кажется, и неверно, и неуместно по тону замечание его о Кошкареве, которого г. Писемский называет карикатурой: «А чтоб придать ему (продолжает он) хоть *сколько-нибудь человеческую форму,* автор называет его *сумасшедшим.* Лицо это совершенно не уда-

лось, и в создании его вы решительно не узнаете не только юмориста, но даже сатирика, даже пасквилиста, и оно *мне* совершенно напоминает *изображения Европы, Азии, Африки, Америки в виде мифологических женщин, как будто страна, хоть, например, Азия, может быть остроумно и понятно изображена в фигуре женщины, с черными волосами, с огненными глазами и, пожалуй, с кинжалом в руке...»* (стр. 71). Это описание лубочной картинки и красноречивое осмеяние ее, несмотря на всю тонкость свою, едва ли найдет себе сочувствователей в применении к одному из лиц, выведенных Гоголем. Что Кошкарев, как многое во втором томе «Мертвых душ», нуждается в окончательной отделке, что он, может быть, даже нуждается в ней более, чем другие лица, с этим согласится всякий, но страсть возводить свое частное хозяйство на степень административного учреждения, откуда, как ручьи в широкий бассейн, все притекало бы к личности хозяина, усилие поправить недостаток порядка не отвержением системы, а расширением тех же мер, самое помрачение Кошкарева на этой идее (мы сомневаемся в его полном сумасшествии и, во всяком случае, не думаем, чтоб Гоголь мог взять сумасшествие, это античеловеческое состояние, для придания Кошкареву *человеческой формы)*, все это задатки такого характера, которые даже и в первоначальном, слабом очерке никак не дает нам права на сравнение его с лубочными картинками, украшающими комнаты станционных смотрителей, еще менее верен, по нашему мнению, укор г. Писемского Гоголю за анекдот о *черненьких и беленьких*, осуждаемый критиком как неудачный и лишенный значения. «*Следовало бы*,— говорит он,— взять более резкий и типичный случай, которых много ходит в устных рассказах». Это решительное «*следовало бы*» замечательно в устах начинающего писателя, который сам называет себя поклонником и учеником Гоголя. Очевидно, что здесь г. Писемский, как писатель не без таланта, увлекся мыслию о том, как сам бы он выполнил эту сцену, и пришел к убеждению, что он выполнил бы ее лучше. Только следствием такого убеждения мог быть приговор столь решительный и откровенный, и только поэтому читатель встречает его без улыбки. Лучше ли бы выполнил эту сцену г. Писемский — это вопрос, но в суждениях наших о недостатках и ошибках Гоголя не забудем, что он был

не только художник, но и проницательный, строгий критик своих произведений. Не забудем также, что анекдот о «черненьких и беленьких» обошел всю Россию прежде, чем вторая часть «Мертвых душ» явилась в печати, возбуждая всюду смех, тысячи забавных применений и служа коротким и резким определением множества однородных с ним фактов: значение, которому суждено долго за ним оставаться. Это ли доказательство, что анекдот выбран неудачно? Нет, мы сомневаемся, чтоб кем-либо мог быть выбран пример с большею меткостью и вместе умеренностию, обличающею такт истинного художника. Правда, много ходит устных рассказов, и Гоголь, конечно, знал их не менее каждого из нас. Но многие ли удостоились чести целиком попасть в его сочинения.

Нечто родственное с замечанием, о котором мы сейчас говорили и — так сказать — поясняющее его, слышится нам в следующей фразе г. Писемского, ведущей, впрочем, к весьма дельной заметке о Костанжогло: *«Зная отчасти Россию и вглядываясь внимательно...»* и проч. Зачем вы говорите нам о вашем знании России, когда вызвали нас послушать о Гоголе? Это невыгодно для вас.

Еще одно замечание, может быть незначительное, но когда речь идет о таком писателе, как Гоголь, то лучше сказать лишнее, чем не договорить. Нам не понравилось, что г. Писемский прилагает к Гоголю слово *«пасквилист»*, то есть мы не думаем, чтоб подобным названием он оскорблял его память,— замечание, которое сделал об нас один критик по поводу подобного обстоятельства [1],

[1] В «Москвитянине» № 13 и 14 г. А. Григорьев объявляет с укором, что «Современник» *позорит* память Пушкина, *перепечатывая пасквили на него* на том основании, что мы, говоря об отношениях к Пушкину критики его времени, перепечатали, между прочим, пародию на Пушкина из «Телеграфа». Этот упрек можно только объяснить следующими словами г-на же Григорьева: «Признаемся,— говорит он в своей статье,— мы с *злобной радостию* следили за промахами современной критики». В злобе редко человек сохраняет здравый смысл и способность видеть вещи такими, каковы они есть. Не г-ну Григорьеву учить нас любить и чтить память Пушкина, не г-ну Григорьеву, который, вступаясь за память одного покойника, не нуждающегося ни в чьей защите, в то же время покрывает осуждением другого, нуждающегося если не в защите, то в полном признании своих заслуг,— и с каким спокойствием делает это г. Григорьев, знающий твердо, что те, кото-

но мы думаем, что оно совершенно нейдет к Гоголю. Под словом пасквиль, памфлет в самом лучшем их значении разумеется сатира односторонняя, носящая на себе горячешный след страстей и увлечений времени, ее породившего, не обегающая решительных приговоров о лицах, еще действующих, о событиях, еще не успевших определиться. Ничего подобного не найдете в сочинениях Гоголя. Можно наверное сказать, что во всей России ни один человек не найдет, чем обидеться *лично* во всех его сочинениях, чего нельзя сказать о последнем фельетонисте с покушением на остроумие по поводу промокших сапогов пешехода. Чем дарование слабее, тем легче и неизбежнее пасквиль закрадывается в произведение; но он *ни насколько* не входит в творчество или перестает быть пасквилем. Гоголь был юмористом в самом высоком и чистом значении слова, со всем спокойствием и беспристрастием художника, возводящего явления жизни в перл создания. Это выражение, столь часто, но не всегда удачно повторяемое, в приложении к его произведениям имеет полный и прекрасный смысл.

В заключение мы должны повторить, что статья г. Писемского все-таки приятное явление среди фельетонной мелкоты, на степень которой низошла современная критика <...>.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ *за ноябрь 1855 года*

<...> Недавно «Северная пчела» возобновила свои нападения на Гоголя, но так как эти выходки были уже обличены [1], то мы переходим прямо к тому, что гово-

---

рые бы хотели вступиться за того, на кого он нападает, не имеют в руках своих равного с г. Григорьевым оружия! Это лишило нас всякой охоты говорить подробнее о статье г. Григорьева и входить с ней в какие-либо прения, чего она заслуживает по некоторым дельным и метким замечаниям, рассеянным в ней наряду с бессмыслицами и комическим самохвальством.

[1] «Санкт-Петербургские ведомости», № 259. Статья М. Р. «Несколько слов о Гоголе». Вот что, между прочим, сказано в этой статье:

«Автор «Всякой всячины», или так называемых *субботников* «Северной пчелы», г. Ф. Б., не довольствуясь вечными нападками на Гоголя как писателя, пользуется всяким случаем, чтобы кстати

рится в № 255 «Северной пчелы» о Пушкине. Автор статейки г. К. П. недоволен трудом г. Анненкова и как издателя и как биографа. Издание ему не нравится за опечатки (и в этом он прав — до некоторой степени), а биография — за то, что г. Анненков *не выставил* Пушкина таким, каким разумеет его г. К. П. По словам г. К. П., г. Анненков «как будто задал себе задачу *не договаривать ничего*, представлять «многое в *превратном виде и хвалить* Пушкина, точно как члены Французской академии» и прочее... Хвалить! а, по мнению г-на К. П., следовало делать совершенно противное!

«Конечно, теперь еще нельзя говорить о нем *всего;* но чрез осьмнадцать лет после его кончины, при утвердив-

---

и некстати уязвить его достоинство как человека. Выходки его в этом роде часто переходят пределы приличия. Года два назад, при разборе вышедшей тогда книги «Опыт биографии Гоголя», г. Ф. Б. излил весь запас своего гнева: он перебрал, как говорится, всю роденьку покойного; вывел на сцену незнание иностранных языков; издевался над малороссийским его произношением, над всем, над всем!.. Наконец г. Ф. Б. представил Гоголя человеком сомнительной честности... Вспомните тон, с каким он отозвался тогда насчет «часов», подаренных этому последнему Жуковским...

Как ни желал я в то время по мере сил вступиться за честь драгоценного для русской литературы имени, но скрепя сердце должен был промолчать, потому что опровергать подобные вещи значило бы нанести величайшее оскорбление памяти нашего незабвенного юмориста. Между тем недавно, в субботу 5 ноября, в № 244 «Северной пчелы» г. Ф. Б. по поводу напечатанной в октябрьской книжке «Отечественных записок» статьи о сочинениях Гоголя возобновил свою старую песню. Очень хорошо понимая, что убедительнейшим доказательством необыкновенного дарования автора «Мертвых душ» служат единодушная похвала и одобрение, с которыми были встречены его творения, невзирая ни на какие увещания поклонников Хераскова, силившихся доказать противное, фельетонист «Северной пчелы» придумал средство обратить в ничто этот важный, сам за себя говорящий факт, приписав ему какую-то таинственную причину, какую-то интригу, которая будто бы обморочила в пользу Гоголя всю читающую публику. «В одной части сочинения моего «Воспоминания и проч.» (говорит он), которая, может быть, выйдет в свет *лет через пятьдесят по моей смерти*, я расскажу подробно, как и почему совершилось это чудо (?), а теперь приподнимаю только кончик завесы, за которою скрывается это происшествие». Не правда ли,— способ прекрасный унизить человека, и рассчитан недурно. Когда-то еще пройдут эти пятьдесят лет и кто станет тогда заботиться о «Воспоминаниях» г. Ф. Б.; а между тем он теперь этим глухим намеком, как безыменным письмом, может весьма удобно задеть доброе имя покойного автора и очернить его в глазах легковерных» и проч. (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

шейся незыблемо славе его как поэта, можно и должно определить: какого рода был он поэт? Для этого необходимо рассмотреть направление и философию того общества, в котором он воспитался до юношеских лет, изобразить теорию, господствовавшую в словесности, указать великих современных поэтов иностранных, которые имели на него влияние, наконец представить характер и жизнь самого Пушкина — и нам объяснится все в его сочинениях: и достоинства их, и недостатки, и легкие успехи поэта в первое время его деятельности, и озлобление, которое возбудил он против себя в современниках *своею изменчивостью, своим тщеславием, которому готов был жертвовать всем*».

Так вот чего *не договорил* г. Анненков! Пушкин отличался *изменчивостью!!!* Пушкин готов был *всем жертвовать тщеславию!!!* Но где же факты? где доказательства? Ни фактов, ни доказательств нет, да и быть не может.

«Пушкин слишком долго следовал философии, господствовавшей во Франции и у нас в начале нынешнего столетия, и хотя в последние годы своей жизни он чувствовал, как *ничтожно* растрачивались поэтические его силы, хотел расширить круг своей деятельности, делал попытки в разных родах, *но слабость характера мешала и вредила ему во всем: и в жизни, и в сочинениях, заставляя часто изменять направление*. Основною причиною этому была *сроднившаяся с ним гибкая философия, от которой не мог он освободиться*».

Все это грустно читать. Опровержения тут не нужны, но странно — неужели г. К. П. думает, что кто-нибудь поверит ему на слово в таком деле? От пушкинского периода, прекраснейшего периода нашей литературы, уцелело еще несколько людей, не без пользы и славы проходивших одно с ним поприще,— людей, дорогих каждому русскому благородством характера и всей своей деятельности и за то облеченных доверием общества,— пусть бы еще кто-нибудь из таких людей сказал нам что-нибудь подобное... и тогда поверить этому было бы невозможно... Но дело в том, что никто из таких людей ничего подобного не скажет,— иначе они не были бы тем, что они есть, не были бы достойными Пушкина современниками, любившими и любящими в нем и друга, и человека, и поэта — гордость и славу своего отечества.

Все дальнейшее в статейке должно еще более удивить читателя.

«Ею (гибкою философиею) проникнут весь знаменитый рассказ об Онегине, пленительный красотою и прелестью многих стихов, умных отступлений, лирических мест, но выражающий собою и весь образ мыслей поэта. Он любуется, изображая светского шалуна, он *не понимает* ничтожности этого светского себялюбца и вместе с ним подсмеивается над многим, что вовсе несмешно. Онегин готов, из корыстных видов, лицемерить у постели умирающего дяди, готов убить друга за пустую размолвку и важничать, почти как Хлестаков, перед провинциялами и провинциялками, чтоб (высшая цель!), наконец, играть жалкую роль в светских салонах. Все это изображает поэт, явно поставляя Онегина выше всех его окружающих, обрисовывая *с каким-то одобрительным самодовольством* его фанфаронские затеи, его ничтожность, пустоту».

Опровержения и тут излишни. Все, что усиливается заподозрить в Пушкине г. К. П.— его глубокая любовь к искусству, серьезная и страстная преданность своему призванию, добросовестное, неутомимое и, так сказать, стыдливое трудолюбие, о котором узнали только спустя много лет после его смерти, его жадное, постоянно им управлявшее стремление к просвещению своей родины, его простодушное преклонение перед всем великим, истинным и славным и возвышенная снисходительность к слабым и падшим, наконец, весь его мужественный, честный, добрый и ясный характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины,— все это вечными, неизгладимыми чертами вписал сам Пушкин в бессмертную книгу своих творений, и пока находится она в руках читателей, ни г. К. П., ни подобные ему не подкопаются под светлую личность поэта намеками на какую-то *изменчивость, гибкую философию*... и прочее. Мы первые знаем, что Пушкин не нуждается в защите, и пишем эти строки только для успокоения нашего личного негодования... да еще, может быть, с благодарностию прочтут нас люди очень молодые, но успевшие уже полюбить литературу и в ней Пушкина. В таких юношах, очень естественно, г. К. П. может затронуть чувство ученика, перед которым оскорбили бы его любимого наставника. Им мы можем сказать: не слушайте ни г. П., ни подобных ему.

Читайте сочинения Пушкина с той же любовью, с той же верою, как читали прежде,— и поучайтесь из них. Читайте биографию Пушкина, написанную Анненковым,— верьте приведенным в ней фактам (они не выдуманы и не преувеличены), поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, и если бог дал вам талант, *идите по следам Пушкина,* стараясь сравняться с ним если не успехами, то бескорыстным рвением, по мере сил и способностей, к просвещению, благу и славе отечества!

За мнениями о характере Пушкина следует в статейке приговор его литературной деятельности. Опровергать эту часть не стоит, но можно, для забавы читателей, выписать некоторые суждения г. К. П. «Его повести в прозе — произведения умного, искусного писателя, но не вдохновенного поэта. Он писал их *с трудом,* и сначала очень неудачно». Далее следует уверение, что пушкинская метода сочинения напоминает *работу наборную,* и в пример приводится пять строк из «Летописи Горохина», почти слово в слово повторенных в «Дубровском» (описание запущенного барского двора). Так. Но г. К. П. позабыл прибавить, что «Дубровский» и «Летопись» явились в печати уже после смерти Пушкина. Если б Пушкин печатал эти повести сам, то, конечно, изменил бы сходное место; а что подобные перемещения больших и малых отрывков из одного сочинения в другое встречаются в черновой работе у всех писателей — и великих и малых,— об этом, кажется, не нужно и говорить. Затем следует обвинение: зачем Пушкин не был поэтом всеобъемлющим, писателем превосходным во всех родах. «Хорошо почти все, что писал он; даже хороши «История Пугачевского бунта» и критические его статьи; но не такие сочинения дают право называть его первостепенным поэтом. Он великий поэт лирический, лучший наш версификатор; *но* вдохновение его *всегда кратковременно, изменчиво* и оттого, можно сказать, *не доставало его ни на поэму, ни на роман, ни на драму.* Что такое его «Борис Годунов»? Прекрасные отдельные сцены, *но не драма, которая могла бы быть представлена на театре».*

В заключение своей статейки г. К. П. простодушно замечает: *«вот какого* рассмотрения сочинений Пушкина *желали мы...»* Верим, но любопытно знать, много ли в

России найдется людей, разделяющих ваше желание? <...>

NB. Только что заключили мы эти «Заметки», а с ними и настоящую книжку «Современника», как получили от Ап. Ник. Майкова следующее стихотворение, которое и спешим представить нашим читателям, извиняясь перед поэтом, что помещаем стихотворение здесь, так как первый отдел книги уже заключен.

Отрывок из поэмы

ЗЕМНАЯ КОМЕДИЯ

(Памяти Пушкина)

Над прахом гения свершать святую тризну
Народ притек. Кто холм цветами украшал,
Кто звучные стихи усопшего читал,
Где радовался он и плакал за отчизну.
И было сладко всем. Одним в его стихах
Все новая краса и сила открывалась;
В тех — к родине любовь сильнее разгоралась,
И всякий повторял с слезами на глазах:
«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах».
Но вдруг среди толпы я крик ужасный внемлю.
То наземь кинулся как жердь сухой старик.
Он корчился, кусал и рыл ногтями землю,
И пену ярости точил его язык.
. . . .

Его никто не знал. Но старшие в народе
Припомнили, что то был старый клеветник,
Из тех, чья ненависть и немощная злоба
Шли следом за певцом, не смолкли и у гроба,
Дерзая самый суд потомства презирать.
И вот, поднявшися и бормоча без связи,
На холм могильный стал кидать он комья грязи.
Народ, схватив его, готов был растерзать.
Но вождь мой удержал: «Ваш гнев певца обидит»,—
Сказал: «Стекайтеся, как прежде, совершать
Поэту память здесь и гроб его венчать,
А сей несчастный — пусть живет и видит».

А. Майков

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ *за декабрь 1855 и январь 1856 года*

Читатель, прежде чем говорить о новых книжках журналов, необходимо хоть бегло оглянуться на истекший литературный год: каков бы ни был он в других отношениях, не помянуть его добром со стороны русского литератора было бы величайшею неблагодарностию. В литературе нашей давно не было года столь живого, богатого, благотворного по своим последствиям. В этом году русская публика получила издание своего национального поэта,— издание, достойное того великого значения, которое имеет Пушкин в истории развития русского общества. В этом же году русскому обществу дан был Гоголь, которого прежних изданий едва достало для десятой доли читателей, желавших наслаждаться и поучаться творениями великого русского комика. Уже этих двух фактов достаточно, чтоб сделать 1855 год надолго памятным для каждого истинного ревнителя отечественного просвещения. Но это еще далеко не все: пути, которыми вливается просвещение в публику, значительно расширены: в 1855 году получили право существования несколько новых журналов. Не касаясь столетнего юбилея Московского университета и многого другого, что не относится прямо к литературе, но будет иметь благодетельное влияние на развитие нашего просвещения вообще,— переходим к отдельным литературным явлениям, характеризующим 1855 год.

Здесь прежде всего мы опять должны остановиться на труде, связанном с именем Пушкина. Мало сказать, что в 1855 году русская публика получила удовлетворительное издание «Сочинений Пушкина». Нужно еще сказать, что публика в этом году в первый раз получила понятие о личности своего любимого поэта,— личности достойной, по своим возвышенным качествам, изучения, подражания и поклонения. Первый том нового издания Пушкина, носящий название материалов для его биографии, есть капитальная книга, каких немного во всей русской литературе. Ее, без сомнения, должно поставить в главе литературных явлений 1855 года. Мы уже довольно сказали в первой нашей статье, по поводу нового издания Пушкина («Совр.», 1855, № 2), о труде г. Анненкова, который дал нам возможно полную картину жизни и творчества Пушкина, возведенную строгой обработ-

кою к форме самостоятельного литературного произведения, и теперь должны только прибавить, что труду г. Анненкова, кроме его литературного достоинства, принадлежит, по справедливости, значение важной общественной заслуги. Когда вопрос касается биографии Пушкина и честного исполнения такого труда, подобное выражение не должно никому казаться преувеличенным.

Не забудем также, что издание Анненкова обогатило русскую поэзию несколькими новыми сокровищами, которые должно считать принадлежащими 1855 году, так как только в нем они сделались достоянием публики. Мы говорим о новых стихотворениях и прозаических отрывках Пушкина, найденных г. Анненковым при тщательном пересмотре бумаг поэта и украсивших собою новое издание. Такие пьесы, как «Воспоминания в Царском Селе», «Муза» («Наперсница волшебной старины» — см. «Совр.», 1855, № 2), вторая половина превосходной пьесы «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день» — см. «Совр.», 1855, № 2), как пушкинский «перевод XXIII песни Ариостова Orlando furioso» [1], новые строфы из «Домика в Коломне» и мн. др., конечно, увеличили богатство русской литературы более, чем некоторые современные изделия большого объема. А сколько пьес неоконченных, недоделанных, блещущих искрами поэзии, рассеянно в биографии, составленной г. Анненковым! Кто умеет наслаждаться поэзией, для того в перечитывании «Материалов» скрывается источник бесконечного наслаждения. Один такой отрывок, как сейчас следующий, может наполнить на целый день душу, склонную к изящному, избытком сладких и поэтических ощущений.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты,
На черный отдаленный путь:

---

[1] Неистовый Орланд (*итал.*).

Тоска, предчувствие, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе...

Какая поэзия! какая музыка! и сколько тут читаешь между строками! Поэт жалеет о своей няне; а кого нам жаль? Нам жаль его самого больше, чем няню, о которой мы забываем, слушая эту музыку любви и сиротливой грусти, исходящую из благородного, мужественного, глубоко страдающего сердца! Или, лучше сказать, нам никого не жаль: при чтении подобных вещей господствующее чувство — наслаждение.

И таких отрывков в издании Анненкова десятки! Не умеет наслаждаться поэзией тот, кому ничего не говорят эти отрывочные, недописанные строки, оставляющие за собой перспективы для мысли, для чувства, как звук

Внезапно порванной струны...

Нам случалось встречать и таких людей, которые, запасшись первым изданием Пушкина (в 11 томах), думают, что они знают великого русского поэта и что им узнавать более нечего: «все-де остальное — обрывки да забракованный автором хлам». С такими господами мы не намерены входить в спор и можем только изъявить свою радость, что таких господ немного, в чем убеждает нас быстрый, блистательный успех издания г. Анненкова.

В 1855 году, кроме издания прежних сочинений Гоголя, вышли в свет его последние произведения — второй том «Мертвых душ» (5 глав) и «Авторская исповедь».

В 1855 году по поводу столетнего юбилея Московского университета вышло несколько важных сочинений, связанных с значением и деятельностью учреждения, торжество которого послужило поводом к их появлению. Все эти сочинения в свое время были рассмотрены в «Современнике».

В 1855 году писатель с талантом первоклассным после пятилетнего молчания возобновил свою деятельность, подарив русскую публику богатым запасом своих путевых впечатлений. Еще недавно мы говорили подробно о путевых заметках г. Гончарова по поводу отдельно изданной им книги «Русские в Японии».

К 1855 году относится если не появление, то развитие деятельности нового, блестящего дарования, которого первое произведение появилось в 1852 году и на котором останавливаются теперь лучшие надежды русской литературы. По характеру нашего беглого очерка здесь не место входить в анализ таланта графа Толстого (Л. Н. Т.); но нам приятно заметить, что теперь уже нет ни одного русского читателя, интересующегося успехами родной литературы, которому было бы чуждо недавно обнародованное имя автора повестей: «Детство» («Соврем.», 1852, № 9), «Набег» («Соврем.», 1853, № 3), «Отрочество» («Современник», 1854, № 4), «Записки маркера» («Современник», 1855, № 1), «Севастополь в декабре месяце» («Современник», 1855, № 6), «Рубка лесу» («Современник», 1855, № 9) и, наконец, напечатанной в нынешнем году повести «Севастополь в августе 1855 года». Эта последняя повесть как своими достоинствами, так и недостатками окончательно убеждает, что автор наделен талантом необыкновенным. Недостатки ее, кроме некоторой небрежности изложения,— отсутствие строгого плана, в котором частности сводились бы к общему и единому, представляя соразмерное, замкнутое целое; отсюда: некоторая неполнота впечатления, лежащая, впрочем, главным образом в самом названии повести, настраивающем читателя к ожиданию колоссальной картины разрушения осажденного города,— картины, общее изображение которой не входило в план автора, о чем мы не сожалеем: как истинный художник, автор понял, что едва ли возможна такая картина: воображение читателя, настроенное целым годом страшной действительности, едва ли подчинилось бы самому широкому, мастерски набросанному изображению. Достоинства повести первоклассные: меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, сила — сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове,— вот достоинства повести. В самой мысли провести ощущения последних дней Севастополя и показать их читателю сквозь призму молодой, благо-

родной, младенчески прекрасной души, не успевшей еще засориться дрянью жизни, видим мы тот поэтический такт, который дается только художникам. Володе Козельцову суждено долго жить в русской литературе, может быть, столько же, сколько суждено жить памяти о великих, печальных и грозных днях севастопольской осады. И сколько слез будет пролито и уже льется теперь над бедным Володею! Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне! вот как пали ваши милые дети,— по крайней мере, многие пали так,— и слава богу, что воспоминание о дорогих потерях будет сливаться в вашем воображении с таким чистым, светлым, поэтическим представлением, как смерть Володи! Счастлив писатель, которому дано трогать такие струны в человеческом сердце!

Мы хотели еще поговорить о других лицах повести, в особенности о характерах солдат и между ними Мельникова; но мы и так написали уже целую страницу, собираясь сказать несколько слов, и притом подверглись опасности, что нас обвинят в «самохвальстве» (как будто граф Толстой и мы — одно и то же),— обвинение, которое повторяется каждый раз, как нам случится только заикнуться о каком-нибудь произведении, помещенном в «Современнике». Но почему же мы не можем сказать своего мнения об интересующем нас (и публику) писателе, тогда как другие журналы расточают ему громкие, даже преувеличенные похвалы? Если думать о том, «что скажут», то придется сложить руки. Есть такие положения, где — что ни делай и как ни делай — непременно что-нибудь скажут, и скажут что-нибудь нехорошее. И беда была бы, если б над всеми толками и пересудами не господствовало убеждение, что толки останутся толками, а дело делом; что у публики есть свои глаза. Итак, сказав в нынешнем нумере несколько слов о последней повести графа Толстого, в следующем будем говорить о «Рудине», повести г. Тургенева, потому что — скажем прямо — повесть г. Тургенева и повесть графа Толстого мы почитаем самыми живыми литературными явлениями настоящего времени <...>

В 17-м (он же и 18-й) нумере «Москвитянина», продолжение которого, к сожалению, нам, кажется, не суж-

дено увидеть, помещена комедия г. Островского «Не так живи, как хочется». Считаем долгом сказать несколько слов об этом новом произведении[1] нашего, бесспорно, первого драматического писателя. «Не так живи, как хочется» не имело большого успеха на сцене, и, читая эту комедию, понимаешь, почему это должно было так случиться; но спешим прибавить, что разве только в первом, известном произведении г. Островского можно найти такие живые и мастерски очерченные лица, как в «Не так живи, как хочется». Не говорим уже о верности языка, русский склад и в жизни и в речи дан г. Островскому более чем кому-либо из современных писателей; он обладает им спокойно и вполне, и от всех его лиц действительно веет русским духом. Содержание «Не так живи, как хочется» совсем просто: у Спиридоновны, хозяйки постоялого двора, живет дочь Груша, веселая, бойкая и умная девка, превосходный тип мещанки-кокетки. В нее влюбляется Петр Ильич, сын зажиточного купца, строгого и благочестивого. Петр бросил жену, вышел из повиновения у отца,— загулял, словом. Груша принимает его сперва за холостого, потом узнает от его же жены, что он женатый, и расстается с ним. Петр спешит домой, разъяренный и хмельной, выбегает куда-то с ножом в руке и возвращается уже совсем другим человеком. Он рассказывает, что, услышав колокольный звук, он вдруг очнулся на берегу полыньи на Москве-реке. Потрясенный близостью смерти, он внезапно чувствует отвращение к своим бесчинствам, раскаивается и мирится с семьей. Кроме поименованных выше лиц, в комедии мы находим еще лица Агафона и Степаниды, бедных уездных мещан, родителей Петровой жены, Даши; лица Васи, молодого купеческого сынка, добродушного и смирного, тетки Афимьи и кузнеца Еремки, развращенного и пропащего человека, опасного балагура и плута. Лучше и выдержаннее всех лиц — Груша. Кажется, так и видишь ее, слышишь ее смех. Это настоящая русская девушка, смышленая, даже лукавая, но с душой, беззаботно веселая, но с характером. Автор сумел, нисколько не нарушая истины, придать ей особенную прелесть. Мать ее тоже очень

---

[1] Во 2-м нумере «Русского вестника» появилась еще комедия г. Островского под заглавием «В чужом пиру похмелье». Поговорим о ней в мартовской книжке «Современника». (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

хороша. Видно, что она была такой же Грушей в молодости, и дочка вышла в нее. Вася мил и невольно привлекает к себе читателя. Из остальных лиц нам больше всех понравился отец Петровой жены, Агафон, тихий и кроткий человек. Из Еремки автор мог бы сделать многое: в нем видятся начатки какого-то мещанского Мефистофеля; но дело так и осталось при этих начатках: автор не развил их,— и Еремка, такой, каким он представлен в комедии, является лицом обыденным и чуть не пошлым... А жаль! Мы считаем уместным именно по поводу этого Еремки выразить, в чем, по нашему мнению, можно упрекнуть г. Островского. Обладая замечательной сценической сноровкой, тонким пониманием условий театральных, он жертвует для них полнотой и шириной своих лиц; они слова лишнего у него не вымолвят,— все, так сказать, пригнано у них как раз в меру, как платье от модного портного. Многие, пожалуй, готовы похвалить за это г. Островского; но нам кажется, что с его талантом можно и должно иметь гораздо высшие притязания, чем на лавры какого-нибудь Скриба, этого Шармера драматического искусства. Вообще мы готовы просить г. Островского — не сужать себя преднамеренно, не подчиняться никакой системе, как бы она ни казалась ему верна, с наперед принятым воззрением не подступать к русской жизни. Пусть он даст себе волю разливаться и играть, как разливается и играет сама жизнь; пусть он разовьет в себе дух истинной художнической свободы и справедливости. У Шекспира король Лир восклицает: «На земле предо мной нет виноватых!» Великий дух Шекспира веет в этом слове, и да опочиет он на каждом писателе! Точно: лица, выводимые писателем-художником, перед ним не виноваты; он не судья им, он не имеет права питать к ним злобу, определять им наказания, точно так же, как не его дело награждать, раздавать венки и выставлять образцы добродетели или примеры для подражания. Это все дело самой жизни, самих лиц. Глядите на них прямо и открыто, и они, как в чистом зеркале, отразятся в вашем произведении. И нравственный урок скажется сам собою. Без чистой любви к истине нет художества; но и излишняя боязнь отступать от истины также вредна. Уверяем г. Островского, что ему не для чего с таким, можно сказать, археологическим рвением гоняться за точностью народного языка; ему менее чем

кому-либо следует бояться выпасть из русского тона: тон этот в нем самом, в свойствах ума его. Мы решаемся все это высказать г. Островскому потому, что ценим его дарование и не можем не сожалеть о том, что он сам связывает себе руки. Считаем также долгом сказать ему два слова о пристрастии его к крутым и неожиданным развязкам. (В комедии, помещенной во 2-м нумере «Русского вестника», оно выступает еще заметнее.) Мы так уверены в таланте г. Островского, что никак не ищем причины этого факта в неуменье совладать с прямым развитием характера до конца; мы думаем, что крутые развязки являются у г. Островского также от желания угодить сценическим условиям — избежать длиннот. Желание это доводит его до торопливости и преувеличенной сжатости и тем самым не достигает своей цели. Вследствие того же самого желания он, например, в «Не так живи, как хочется» в половине 2-го акта сводит все свои действующие лица в комнате постоялого двора так неправдоподобно, хотя бы Скрибу <впору>, хоть и не так ловко, как бы француз сумел это сделать. Внутреннее чувство зрителя не может не смутиться при внезапной перемене возвращающегося Петра, и никакая игра актера тут помочь не может. Отчего г. Островский не захотел показать нам самую эту ночную сцену на Москве-реке, со всей ее фантастической и грозной обстановкой? Сценические условия этому препятствовали; да бог с ними, с этими сценическими условиями!

Повторяем: при всех недостатках комедии г. Островского в ней есть много такого, что мог написать только он один... Одно лицо Груши чего стоит! Кстати, мы слышали от некоторых пуристов упрек автору за то, что он заставляет Грушу отпить вина из рюмки и отвечать потом Петру, спрашивающему, что с нею: «Я пьяна». Но эти упреки так вздорны, что о них и говорить не стоит. Все сцены, где она является, особенно последняя, в которой она на пиру с подружками принимает Петра, про свадьбу которого она уже знает, сцена, где жена Петра выпытывает у Васи, куда ездит ее муж, последняя сцена Петра с теткой — прекрасны. Нам остается желать, чтобы г. Островский шел вперед своею дорогою, не стесняя и не задерживая самого себя, и он сам, быть может, удивится, что произведут его силы, когда он им даст полный простор и свободу<...>

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ *за февраль 1856 года*

Читатель, в добрый час молвить, оживление русской литературы, о котором мы недавно говорили, продолжается. Лучшие современные таланты, как бы соревнуя друг другу, дарят публике произведения, которые обещают сделать нынешний год памятным в нашей литературе. Весело — не правда ли? — быть читателем в такое время... и даже — поверите ли? — не совсем печально быть журналистом. Благодаря великому и святому закону вознаграждения и он, многострадальный поставщик чтения (которого не всегда позволительно смешивать с поставщиком дров или свеч), и бедный русский журналист делается иногда причастным некоторым радостям, соединенным с его призванием. Кто испытал му́ку, и стыд, и тоску недовольства, печатая вещи, не достойные печати, кто по сту раз читал и перечитывал и бросал под стол иную рукопись, а кончал-таки тем, что со скрежетом зубов посылал ее в типографию (как будто, подобно некоторым сортам вин, плохое сочинение может улучшиться, полежав несколько времени), мы должны признать за тем и право наслаждения, когда приходится выбирать из хорошего, теряясь в соображениях, что напечатать прежде, что потом. Редкое время, золотое время в жизни журналиста,— на этом пути не без терний... но что до терний! На каком пути их нет?

И все то́ благо, то добро...

Покуда достает любви, не страшны тернии, и память о них живет не долее жесткого слова, сказанного любимым существом, и не труднее прощается... но опять-таки: покуда достает любви... И пусть же родник ее струится неиссякаемо в сердцах русских писателей, русских журналистов, понимающих свое призвание! С нею много доброго, много прекрасного сделает русская литература, много уже сделавшая, издавна игравшая и играющая такую важную роль в развитии нашего отечества, которое дорого каждому русскому и еще дороже должно быть каждому литератору, по самой сущности его цели, чуждой материального результата: только успехи отечества на поприще просвещения могут обеспечивать его личный успех, состоящий в стремлении оставить по себе память честного и полезного деятеля, на могилу которого, по

неизменному закону провидения (благословенный закон!) *непременно*, рано или поздно, упадает один из лучей той славы, в блеске которой желает он и самоотверженно стремится видеть свое отечество!

Сознавая великую цель русской литературы, радуясь ее оживлению, видя в ее настоящем много даровитого, самобытного, мы в то же время не ослепляемся насчет ее настоящих достоинств. Между нами нет гениев. Ко всем ныне действующим писателям вообще и к каждому порознь можно применить следующие стихи:

. . . .
. . . .
. . . . Заметен ты;
Но так без солнца звезды видны...
В ночи, которую теперь
Мир доживает боязливо,
Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо,—
Ты твердо светоч свой держал;
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно.
Дрожащей искрою, впотьмах,
Он чуть горел, мигал, метался...
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Так. Нет сомнения, когда явится это желанное солнце, этот будущий великий русский поэт, подобный тем, которые делают эпохи в литературе и в истории развития своего народа,— нет сомнения, тогда многое из производимого теперь потускнеет или представится в другом свете; но от того не умалятся заслуги теперешних русских писателей,— тех писателей, которые твердо держали светоч Знания, Истины и Добра среди сумерек, не освещенных лучезарным сиянием гения... Итак, читатель, не требуя от русской литературы того, чего она дать не может, оцените в ней два неоспоримые ее качества: *Даровитость*, часто блестящую, и *Честность* стремлений, изумительную, если о ней пристально подумать,— и полюбите ее, если вы еще принадлежите к тем, которые ее не любят...

Переходим к журналам.

<Далее опущен отзыв о «Москвитянине», принадлежащий Н. Г. Чернышевскому.>

Новый московский журнал «Русский вестник» в двух последних книжках представил довольно значительное по объему стихотворение г. Огарева «Зимний путь». Особенную важность этому стихотворению придает то обстоятельство, что это покуда лучшее из беллетристических произведений, представленных новым журналом. Достоинства этого стихотворения, свойственные вообще г. Огареву, определяются во всем своем объеме следующею строфою:

Еще в избах кой-где мерцает
Лучины дымный огонек
И дева вечный свой клубок
В полудремоте напрядает.
Я живо помню, как порой
Спокойная картина эта
Своею милой простотой
Меня пленяла в прежни лета;
Но ныне девы сонный лик,
Храпящий на печи старик
И вечно плачущий ребенок
В дырявой люльке, и теленок
Над грязным месивом — ей-ей —
Как жалкий образ жизни скудной,
Тоской болезненной и трудной
Тревожат мир души моей.
Милей мне в этой деревушке
Воспоминанье об одной
Соседке, добренькой старушке
С нехитрой, детскою душой.
Она, бывало, пред иконой
Взывает в искренней мольбе,
Чтоб бог *ему* был обороной
И пекся о *его* судьбе;
Иль, молча сидя на диване,
Гадает трепетно о *нем*,
И все о *нем*, о милом Ване,
О внуке ветреном своем.
«Ну! что ваш внук?» — «Писал недавно».—
«Чай, денег просит милый внук?» —
«Ну что ж что просит? Вот забавно!
Ему ведь нужно для наук.
А мне?.. Стара я для наряда,
И ничего самой не надо!»
И вынет дочери портрет,
В живых которой больше нет,
И смотрит с грустною отрадой,
И смотрит долго, и потом
Утрет слезу свою тайком.

Много таких задушевно-грустных, небрежно-поэтических строф читатель найдет в «Зимнем пути», и если

он не встретит в остальных строфах ничего свежее, энергичнее, выработаннее по форме, то не встретит также и ничего такого, что было бы ниже приведенной нами строфы, в своем роде прекрасной.

Кстати о стихах. Во 2-м № «Русского вестника» прочли мы пьесу г. К. Аксакова «Солнце и луна». Это стихотворение напомнило нам другую пьесу, сходную с ней по содержанию, которую доставил автор ее для напечатания в «Современнике», но которую напечатать мы не решились. Теперь печатаем ее здесь, уверенные, что те, кому понравилась пьеса «Солнце и луна», отдадут справедливость и стихотворению г. Лебедева, написанному на ту же тему:

Работай, юноша-поэт,
Во славу мысли и искусства!
Гони мечту, туманный бред
И неосмысленные чувства...
Законы истины святой
Средь нашей жизни многосложной,
То величавой, то ничтожной,
Подметь и миру их открой.

Зачем ты ищешь вдохновенья?
Оно в тебе заключено,—
Великих душ и песнопенья
Благоуханное зерно.
Оно, быть может, плод богатый
Произрастит: не заглуши
Ты негой сил и их растратой
Сокровищ истинных души.

Ах, как обманчивы и милы
Мечты и рой кипучих грез,—
Отрава деятельной силы,
Залог грядущих горьких слез!
Укор тому, кто их лелеял,
Кто силы духа промотал,
Кто много-много в жизни сеял
И только плевелы пожал;

Кто на земле — лунатик странный —
Душой мечтательной летел
В какой-то области туманной...
Там много слов, но мало дел;
Там всё милей, там всё чудесней,
И грезы, радужной семьей
Слетаясь в хоры, звонкой песней
Голубят сон души больной.

Но все идет к разумной цели,
Всему приходит череда;

Мечтанья быстро пролетели,
Настало поприще труда.
Но где же он, поклонник неги?
Он здесь, измученный, больной;
Он — робкий путник на ночлеге
В стране безвестной и чужой.

Почуял он впервые муки
В сознанье немощи своей,
Как перед ним вставали звуки
Иных, неведомых речей:
Он в этой жизни, в этом мире
Томится скорбью и трудом;
Он — лишний гость на светлом пире,
Он — нищий сердцем и умом!

А прежний мир? Он так чудесен!
Ему бы вновь отдаться сну,
Ему бы грез, и сладких песен,
И бледноликую луну...
. . . .
Во славу мысли и искусства
Работай, юноша-поэт.
Гони мечту, туманный бред
И неосмысленные чувства.

И. Лебедев

Признаться, мы не умеем сказать, которое стихотворение лучше, но можем сказать положительно, что ни то ни другое не удовлетворяет нас в смысле поэтического произведения.

Отметив лучшее (и оконченное) в московских журналах, мы должны были бы перейти к петербургским; но петербургские журналы продолжают статьи, начатые ими в первых книжках. Покуда мы можем сказать только о «Рудине», оконченном во втором нумере «Современника» и возбудившем в публике жаркие и разнородные толки.

Не знаем, лучшая ли повесть г. Тургенева этот «Рудин». Вообще спор о литературных рангах большею частью бывает бесплоден, даже в том случае, по-видимому более всего уместном, когда дело идет о присуждении безусловного первенства тому или другому произведению известного автора. Обыкновенно бывает, что по одним качествам надобно поставить выше остальных одно произведение, по другим — другое, по иным качествам — третье и т. д. Настоящий случай, кажется, подходит под это правило. Уступая некоторым другим произведениям

г. Тургенева в художественной выдержанности целого, «Рудин» должен быть поставлен по глубине и живости содержания, им охватываемого, по силе и по самому характеру впечатления, им производимого, очень высоко. Существенное значение последней повести г. Тургенева — ее идея: изобразить тип некоторых людей, стоявших еще недавно в главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны. Они, вообще говоря, оказывались несостоятельны при практическом приложении своих идей к делу,— отчасти потому, что еще недостаточно приготовлена была почва к полному осуществлению их идей, отчасти потому, что, развившись более помощью отвлеченного мышления, нежели жизни, которая давала для их воззрений и чувств одни отрицательные элементы, они действительно жили более всего головою; перевес головы был иногда так велик, что нарушал гармонию в их деятельности, хотя нельзя сказать, чтобы у них сухо было сердце и холодна кровь. Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразил г. Тургенев. Не столь ясно и полно выставлена им положительная сторона в типе Рудиных. Вероятнее всего произошло это оттого, что г. Тургенев, сознавая в себе очень сильное сочувствие к своему герою, опасался увлечения, излишней идеализации и вследствие того иногда насильственно старался смотреть на него скептически. Оттого характер Рудина действительно не столь отчетливо представлен, как многие другие характеры в той же повести. Но неясность его, однако же, не так велика, чтобы трудно было читателю угадать и те его черты, которые оставлены несколько туманными. Мы не все стороны его жизни знаем одинаково хорошо; но тем не менее он живой является нам, и появление этой личности, могучей при всех слабостях, увлекательной при всех своих недостатках, производит на читателя впечатление чрезвычайно сильное и плодотворное, какого очень давно уже не производила ни одна русская повесть. Остальные лица повести очерчены почти безукоризненно, а создание такого характера, как Лежнев, открывает ту благодатную и же-

ланную сторону в таланте г. Тургенева, которой вообще не встречалось в русских писателях последней эпохи... По поводу Лежнева мы когда-нибудь еще возвратимся к повести г. Тургенева. Прибавим, что при многих недостатках «Рудина» в художественном отношении он показывает, что для г. Тургенева начинается новая эпоха деятельности, что его талант приобрел новые силы, что он даст нам произведения еще более значительные, нежели те, которыми заслужил в глазах публики первое место в нашей новейшей литературе после Гоголя.

ПОСМЕРТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Мм. гг. [1]

Намереваясь занять внимание ваше стихотворениями Н. А. Добролюбова, я прежде всего должен напомнить, что стихотворения эти стояли далеко не на первом плане в деятельности покойного. Добролюбова должно изучать в его критических и полемических статьях, к чему публика получит возможность только с изданием его сочинений, к которому уже приступлено. Тогда станет ясно для каждого, как много, с небольшим в четыре года, успел сделать этот даровитый юноша, соединявший с силою таланта глубокое чувство гражданского долга, составлявшее основную отличительную черту покойного и как писателя, и как человека. В одном из своих стихотворений, сожалея об иллюзиях молодости, разлетевшихся при строгом анализе мысли, Добролюбов, между прочим, говорит:

Но без надежд и упований
Я гордо снес свою печаль
И, без наивных ожиданий
Смотря на жизненную даль,
На битву жизни вышел смело,
И жизнь свободно потекла,
И делал я благое дело
Среди царющего зла...

Вся литературная деятельность Добролюбова служит подтверждением этих слов. Можно сказать более; не рис-

[1] Читано в зале 1-й гимназии в пользу бедных студентов 2 января 1862 года. (*Прим. Н. А. Некрасова.*)

куя впасть в преувеличение: их подтверждает вся его жизнь. Он сознательно берег себя для дела; он, как говорится тоже в одном из его стихотворений, «не связал судьбы своей ни единым пристрастьем», устоял «перед соблазном жизни» и остался «полным господином своего сердца»,— все для того, чтобы ничто не мешало ему служить своему призванию, нести себя всецело на жертву долга, как он понимал его. Вот из какого светлого источника вытекала деятельность Добролюбова, вот почему он так спешил работать, так много успел сделать! Ничто вне этой деятельности не существовало для него, ничто *не должно было существовать*, по его убеждениям. Мы нашли у него недоконченное стихотворение, где замечательны следующие строки:

...Для блага общего назначенный служить,
Я смею чувствовать лишь сердцем гражданина,
Инстинкты юные я должен подавить...

Даже в частной жизни, в ежедневных сношениях с людьми, Добролюбов представлял между нами, русскими, нечто особенное. С детства прививается к нам множество дурных привычек, известных под именем «*уменья жить*». Мы от лени говорим «да» там, где следовало бы отвечать «нет»; улыбаемся, по слабодушию, там, где следовало бы браниться; прикидываемся внимательными к какому-нибудь вздору, на который следовало бы отвечать смехом или даже негодованием. Ничего подобного в Добролюбове не было. Он смеялся в лицо глупцу, резко отворачивался от негодяя, он соглашался только с тем, что не противоречило его убеждениям. Если к этому прибавим, что он не только не заискивал у авторитетов, но даже избегал встреч с ними, да припомним ту независимость, с которою он высказывался печатно, то поймем, почему в литературе его немногие любили. Сила таланта и честной правды, впрочем, начинала уже брать свое: в последнее время чаще и чаще стало слышаться мнение, что этот человек *не без права* стал во главе современного литературного движения. Кто — по крайней мере теперь — не согласится, что нужен был этот резкий, независимый, отрезвляющий, на дело зовущий голос?

О, погоди еще, желанная, святая!
Помедли приходить в наш боязливый круг!
Теперь на твой призыв ответит тишь немая...
. . . .

Уже с предчувствием смерти в груди написал эти строки Добролюбов. Смерть, разумеется, не подождала. Такова уже судьба русского народа: неживучи его лучшие деятели...

Что касается до стихотворений Николая Александровича (понятно, что я говорю здесь не о стихотворениях юмористических, которые Добролюбов помещал в «Свистке»), то он писал их весьма редко, урывками, и сам не придавал им вовсе никакого значения. Бòльшая часть их написана до начала журнальной деятельности Николая Александровича, стало быть тогда, когда ему было не более двадцати лет. Увидав у него однажды случайно тетрадку, где он записывал свои стихотворения, я с трудом уговорил его напечатать что-нибудь из них. Мы выбрали десять пьес; лучшие четыре в печать тогда не попали, а шесть помещены в «Современнике» 1858 г., в № IX, под псевдонимом: Волгин. Приступаю к чтению самих стихотворений <...>

Теперь читателю известно все написанное и переведенное Добролюбовым стихами,— все, кроме нескольких пьес, которые могут явиться в печати только впоследствии. Напомним снова, что бòльшая часть этих поэтических опытов писана тогда, когда автору не было еще и двадцати лет, и что многие пьесы напечатаны нами с черновых листков, ожидавших переработки и обделки. Может быть, мы лучше сделали бы, если б исключили пьесы слишком несовершенные по форме: впечатление было бы цельнее, но зато ускользнули бы от читателя некоторые черты, характеризующие личность покойного. А мы именно желали бы дать читателю возможность как можно больше узнать эту личность, после чего она уже сама собою запечатлелась бы в его сердце. С этой стороны нельзя не порадоваться появлению «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» (см. эту же книжку «Современника»). Рекомендуем эти материалы читателям, рекомендуем их особенно тем, которые называли Добролюбова человеком без сердца — да устыдятся! Что касается до нас, то мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет границ и едва ли когда изгладится. Еще не было дня с его смерти, чтоб он не являлся нашему воображению, то умирающий, то уже мертвый, опускаемый в могилу нашими собствен-

ными руками. Мы ушли с этой могилы, но мысль наша осталась там и поминутно зовет нас туда и поминутно рисует нам один и тот же неотразимый образ...

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо, через щели гробовые,
Проступить не успела вода.
Ты лежишь, как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных,
Да сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз,
Да следы наложили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои...

2 янв. 1862 г.

ПИСЬМА

1. Е. А. НЕКРАСОВОЙ

9-го ноября 1840 г. <Петербург>

Вчера целый день мне было скучно. Вечером скука усилилась... Какая-то безотчетная грусть мучила меня. Я сам не понимал, что со мною делалось. Все занятия мои мне опротивели, все предположения показались мне жалкими. Я не мог ни за что приняться и со злостью изорвал начало одной срочной статьи. Мне было не до того... я чуть не плакал... И, право, заплакал бы, если б не стыдился самого себя. Вдруг приносят письмо от тебя... я с жадностью схватил его, прочел, но и оно не успокоило меня; однако ж оно изумило меня, как будто ты подслушала меня, как будто оно было писано под влиянием тех самых идей, которые преследовали меня в этот вечер. Я сожалел, досадовал, что так сильно увлекся пустою суетностию; я писал:

Грустно... совсем в суете утонул я,
Бедному сердцу простора я не дал...
Тяжко... за что сам себя обманул я...
Сам себя мрачным терзаниям предал?

Я думал тогда, отчего такая пустота в моей душе? Отчего меня не всегда и не так сильно радует то, что радует и делает счастливыми других... Отчего я так холодно встречаю и успех и неуспех того, что другого или закинуло бы на седьмое небо, или бросило в озноб злости и отчаяния? Оттого, отвечаю я сам себе, что все это мне кажется мелким, ничтожным... А стремясь за ним, я вмешался в пеструю толпу людей, у которых не моя цель, я увлекся общим потоком и не отстаю от других, хлопочу, торгуюсь на рынке света...

А дни летят... Слой пыли гуще, шире
День ото дня на позабытой лире...
Порой возьму: по струнам пробегу,
Но уж ни петь, ни плакать не могу,
Ни забывать душевной тяжкой муки;
Твердят укор разорванные звуки,
И я от лиры прочь бегу!
Бегу... Куда? В торг суетности шумной,
Чтоб заглушить тоску души безумной...
Бегу туда, где плачет нищета,
Где светел лик богатого шута...
Бегу затем, чтоб дать душе уроки
Пренебрегать правдивые упреки,
Когда желает быть сыта!..

Да, дни летят... летят и месяцы... летят самые годы... А грустно... всё так же грустно. Когда же мне будет весело? — спрашиваю я сам себя. Видно, еще пора не пришла, может быть, и не будет ее. Что это за странная, за беспокойная жизнь человеческая, которая сама не знает, чего ищет, чего ждет. Пройдут годы — нет и в помине прежних чувств, прежних желаний, все они кажутся уже глупыми, не стоившими ни труда, ни борьбы с препятствиями. Настанут новые желания, стремления — и вот ты снова хлопочешь, суетишься, перемогаешь самого себя. И что же? И они, в свой черед, кажутся смешными, глупыми... и так далее до самой кончины... Грустно! Лучше не расшевеливать души, не бросать искры в порох, а жить так однообразно и инстинктивно, как живут многие, как многим жить суждено и как многим жить нравится. Не в том ли и состоит искусство жить, чтоб уметь самого себя заставить признаться, что не стоит жить; что ты не живешь, а состоишь на службе, которой отставка — смерть?.. Тяжела борьба души с телом, тяжела борьба человека с самим собою. Нет, не буду больше думать об этом, пойду опять брошусь в общий поток... Несите меня, несите, волны суетности, к вашей глупой цели... я опять ваш... опять

Я день и ночь тружусь для суеты,
И ни часа для мысли, для мечты...
Зачем? На что? Без цели, без охоты!..
Лишь боль в костях от суетной работы
Да в сердце бездна пустоты!

Но что нужды! Зато я не буду иметь права жаловаться на жизнь, не буду глупцом в глазах других. Иногда, как теперь, я оглянусь назад, загляну в тайник ду-

ши и, верно, ужаснусь, заплачу... Мне будет стыдно самого себя, но что делать...

Что делаешь ты, милая сестра? Что думаешь ты? Я знаю твою глубокую душу... твой взгляд на всё... а потому думаю, что тебе грустно, очень грустно в минуты немых бесед с собою... Я бы понял тебя, ты бы поняла меня, если б мы были вместе... а мертвые слова — безжизненные звуки... мне не высказать, не обрисовать чувства... они только хорошо умеют передавать людям обычную заученную прозу жизни. Грусть одиночества начинает чаще мучить меня. Я бы охотно приехал к вам, охотно бы отдохнул с вами...

Если не помешают мне обстоятельства, то в декабре я непременно приеду к вам, милая сестра; тогда увидимся, тогда перескажем друг другу всё... оплачем наши прошедшие мечтательные радости, погорюем над настоящим, заглянем в будущее. Может быть, чтó и улыбнется нам... Прощай, милая сестра. Сто раз целую тебя... я люблю тебя как сестру, как друга, который один только понимает меня, пред которым только я высказываю мою душу, люби же и ты меня так... не сердись за мелочные мои ошибки и частое невнимание к тебе, которое происходит не от эгоизма, а от моего рассеянного, беспокойного характера, а ныне частию и от множества занятия. Прощай... И брат и друг твой

Н. Некрасов.

После этого письма ты найдешь безжизненные строки, набросанные мною вчера поутру, более по обязанности, я прочел после их и увидел, что они какой-то формуляр, но уже изорвать его не хотелось [1]. Саблина [2] стихи очень глупы... Это глупый, сумасшедший н — й, которого я вам не советую пускать к себе в дом, потому что по бессознательной глупости своей он может, пожалуй, наделать каких-нибудь мерзостей.

Н. Некрасов.

Елизавета Алексеевна Некрасова — старшая сестра поэта; умерла в 1842 г.

[1] Эти строки не сохранились.

[2] Лицо не установлено.

2. Ф. А. КОНИ

<25 ноября 1841 г. Ярославль>

Любезнейший и добрейший Федор Алексеевич!

Благодарю Вас за Ваше письмо. Оно меня порадовало хоть в том отношении, что я увидел, с каким добрым и благородным человеком имею дело. Действительно, если б другому на Вашем месте было наклеветано на меня столько, то едва ли бы он сильно не поколебался во мнении обо мне, несмотря на правоту мою, которую я сознаю в душе моей. Впрочем, я не знаю еще, было ли Ваше письмо следствием тщательного рассмотрения дела и выгодных для меня результатов, или, может быть, оно есть только следствие законов приличия и снисходительности...

Касательно других пунктов письма... что сказать об них? И тут я должен начать с благодарности — за объяснение всего *напрямик*. Сколько мог я понять — в постоянные сотрудники я Вам не гожусь, а могу писать, когда вздумается, то есть, другими словами, отношения мои с Вашей газетой могут быть только такие, как и со всеми другими журналами; написав что-нибудь, я могу посылать в который мне угодно журнал, пожалуй, и в «Л<итературную> г<азету>» [1]. Вот какое Вы даете мне право. В исчислении достоинств Вашего будущего сотрудника Вы намекаете мне, что во мне недостает аккуратности, деятельности, постоянной любви к труду и мало ли еще чего, даже и таланта, как, кажется, намекают некоторые слова письма. Согласен со всем. Но спрашиваю, найдете ли Вы человека, который бы имел все такие качества... Не знаю. О себе скажу, что я могу быть лучше, гораздо, смею сказать, того, каким был в нынешнем году, но таким, какого Вы нарисовали, быть во всех отношениях не ручаюсь. По тому, как я доселе работал у Вас, обо мне не судите... Это дело другое. Вспомните, что я ни к чему *не обязывался*, а поступал по произволу. Притом, не имея ничего верного, я метался из стороны в сторону, притом еще... Вы на меня смотрели, как на работника, и я служил Вам, как работник... Скажу, что если б я дал кому слово быть аккуратным, деятельным, постоянно верным его пользам, то собственная выгода и уважение к самому себе были бы до-

статочными побуждениями к исполнению обещания по мере сил и возможности... В рассуждении средств своих скажу, что если мне бог дал хоть искру таланта, то возможные плоды его были бы посвящены на пользу такого человека...

Хотел я Вам послать несколько статеек, но все они не дописаны, не перечитаны, а заняться ими теперь некогда, потому что теперь последнее время *порош*, и я с утра до вечера на поле,— травлю и бью зайцев... Это моя страсть, в этом занятии я провел всё время пребывания здесь; в городе был не больше трех дней. Есть у меня готовая повесть *«Антон»*, но она слишком велика — листов пять печатных... разве в будущий год годится. Написал драму в 4-х актах, да, кажется, неудачно... водевиль в 3-х актах давно начал, да все еще не соберусь кончить...[2] Потеряв надежду на постоянную работу, я тороплюсь наготовить разных произведений, которые можно бы продать поштучно для выручки денег на содержание своей особы. На днях здесь откроют театр, вновь выстроенный. Идет *«Синичкин»*[3]. Пришлю статью также и о концерте, что был здесь вчера...[4] Собрал также несколько уморительных книжонок, напечатанных в Ярославле,— пишу о них статью под заглавием *«Яр<ославская> литература»*[5]; всё пришлю скоро, если не привезу сам... Собираюсь в начале декабря выехать непременно. На Глинку[6], как на порядочного человека, положился я и оставил на его попечение мебель и разные вещи, по крайности на 150 р., а он, говорят, всё заложил... Приеду в Петербург — ни кола, ни двора, ни пристанища... Если Вы всё еще думаете переменить квартиру, то не случится ли при ней пары лишних комнат для меня — буду благодарен. П. И. Григорьева[7] успокойте тем, что я по приезде сейчас же расплачусь с портным... Да там есть два водевиля мои, которые оба, кажется, имели успех, неужели за них Песоцкий не даст и 100 руб.[8]. Скажите об этом Григорьеву. Я послал Краевскому *«Опыт<ную> женщ<ину>»*[9], а денег за нее просить совещусь, потому что предварительно об этом не говорил... Не знаю, как он об этом думает. «Литературную газету» я здесь, наконец, достал и некоторые статьи читал с большим удовольствием. Хорошо, ей-богу хорошо отделан Булгарин за пиесу[10], и Нес<тор> В<асильевич> не хуже...[11] Вот, я думаю, озверились

они, сердечные. Вчерась только я прочел в «Пчеле» брань своему «*Актеру*». Мерзавец Межевич опять кругом наврал и может быть уличен. С стихами на поклон не только к нему, но и к другим журн<алистам> я не ходил; ходил я только с книгой своей к одному редактору «Пол<ицейской> газеты», г. Межевичу, для того чтоб он опубликовал о моей книге в газете (за что и заплатил 2 р. 40 к.), а не для прошения советов и защиты, в которых я не нуждаюсь[12]. Франц<узского> вод<евиля> я в глаза не видал, да и наз<ван> он *оригин<альным>*[13] не мной, а Самойловым, на произвол которого оставил я пиесу[14], уехав из Петерб<урга>, и мало ли можно найти еще опровержений... Может быть, пришлю статейку[15].

Прощайте — до свидания скорого, добрый Федор Алексеевич. Желаю Вам здоровья, успеха в делах, душевного спокойствия и такого сотрудника, идеал которого изобразили Вы в Вашем письме. Или, может быть, Вы уже нашли его в Сорокине...[16] Не знаю, только скажу откровенно, что он мне не нравился сильно еще и тогда, когда не был Вашим сотрудником.

С глубоким к Вам почтением и преданностью остаюсь истинно любящий Вас и уважающий

Н. Некрасов.

25 ноября 1841
г. Ярославль.

Письма мои всегда безграмотны и неудобопонятны... Извините... Не могу принуждать себя в том, что пишется не для печати...

Кони Федор Алексеевич — водевилист и театральный критик, редактор «Литературной газеты» и журнала «Пантеон русского и всех европейских театров».

[1] Некрасов печатался в «Литературной газете» с 1840 г. В 1842 г. он еще был некоторое время постоянным сотрудником изданий Кони и принимал участие в делах редакции.

[2] Эти произведения Некрасова неизвестны.

[3] Водевиль Д. Т. Ленского — «Лев Гурыч Синичкин».

[4] Вероятно, имеется в виду статья «Ярославский театр», написанная для № 7 «Текущего репертуара русского театра» (1841 г.), но не пропущенная цензурой.

[5] Статья под этим заглавием не появилась в печати.

[6] Глинка С. С.— близкий знакомый Некрасова в 1840-е годы.

[7] Григорьев П. И. (1-й) — водевилист и актер, один из соавторов Некрасова в работе над водевилем «Похождения Петра Степановича, сына Столбикова».

[8] Песоцкий И. П. — издатель «Репертуара русского театра». Речь идет о напечатании в «Репертуаре» двух некрасовских водевилей, шедших тогда на сцене Александринского театра. Один из них — «Вот что значит влюбиться в актрису!» — был опубликован в № 12 этого издания.

[9] Рассказ напечатан в № 10 «Отечественных записок» за 1841 г.

[10] Имеется в виду рецензия на пьесу Булгарина «Шкуна Нюкарлеби».

[11] Нестор Васильевич — Н. В. Кукольник. Отзыв Кони о его драматических произведениях «Дуняша» и «Эдуард и Кунигунда» был помещен в № 128 «Литературной газеты» (11 ноября 1841 г.).

[12] Речь идет о первой книге Некрасова «Мечты и звуки». В. Межевич писал в «Северной пчеле» (1841, № 246) о том, что Некрасов приходил к нему (Межевич был редактором газеты «Ведомости С.-Петербургской городской полиции») «с книгой в руках, которую он просил принять меня как знак своего ко мне уважения, и замолвить за него словечко в газете». Однако в «Прибавлениях» к «Ведомостям» от 14 февраля 1840 г. появилось лишь обычное объявление о том, что в магазин И. И. Глазунова поступили новые книги, в том числе «Мечты и звуки», стихотворения Н. Н.

[13] Межевич пытался отрицать то, что водевиль «Актер» является оригинальным произведением (см. прим., т. 3, с. 411).

[14] «Актер» был поставлен в Александринском театре 13 октября 1841 г. Артист В. В. Самойлов исполнял в водевиле роль Стружкина.

[15] Некрасов ответил Межевичу в статье «Обзор прошедшего театрального года и новости наступающего», опубликованной в № 16 «Литературной газеты» за 1842 г.

[16] Сорокин М. П. — поэт, переводчик и критик (умер в 1848 г.).

3. А. А. НЕКРАСОВОЙ (БУТКЕВИЧ)

<9 октября 1842 г. Петербург>

Извини, извини, извини, бедненькая Анета!

В твоем горестном и затруднительном положении даже участие брата, участие, которого ты вправе была надеяться, не посетило тебя: я был так ленив или так глубоко занят собственным своим несчастием, что не писал к тебе так долго, так долго... с того самого известия, которое чуть не убило меня [1]. Не стану распространять-

ся об этом: это очень тяжело!.. Жалею только об одном,— жалею и буду жалеть вечно,— зачем вы не известили меня о болезни сестры? Проститься с нею мне было бы мучительно, но всё же легче, чем привыкнуть к мысли, что я никогда уже не увижу ее!.. Теперь, в настоящее время, меня всего более мучит твое положение: ты очень справедлива, отвергая предложение папеньки жить в Грешневе. С другой стороны, житье в чужом доме, в компанионках, в гувернантках, представляет большие неудобства [2]. Если это неизбежно, то дай бог, чтоб ты нашла себе место у добрых и честных людей. Твой ум и твои правила ручаются мне, что во всем, зависящем лично от тебя, ты всегда будешь достойна твоей сестры и матери, на памяти которых не лежит упрека ни в чем. В нашем тяжелом и горьком состоянии что же и осталось нам в утешение, как не чувство собственного достоинства, как не сознание силы душевной в борьбе с обстоятельствами враждующими?..

Наумов[3] мне говорил, что тетушка Носачевская [4] (кажется?) зовет тебя жить к себе. Уведомь меня поскорее, правда ли это? И каким образом вы думаете это устроить? И что тебе по этому случаю нужно будет вытребовать от папеньки — пиши ко мне; я имею на него некоторое влияние и думаю, что он мне не откажет. А между тем я разузнаю от *Маслова* [5] о самой Носачевской кой-что. Она, кажется, сама очень небогата, и муж ее живет жалованьем. Впрочем, это не беда; всё бы лучше, если б ты с ней поселилась. Ты, как я слышал, живешь у м-м Буткевич? Уведомь меня, на каком основании? Если ты слишком бедствуешь, то пиши ко мне: при всей моей теперешней бедности, я могу тебе уделить что-нибудь в ноябре месяце. А я теперь сам ужасно не богат. У меня обыкновенно деньги бывают, когда я работаю, а так как я теперь почти постоянно болен, то работать не могу — следовательно, и ничего не зарабатываю. И это уже продолжается целых четыре месяца, и не знаю, когда кончится: грудь у меня болит так часто и так сильно, что при малейшем напряжении я становлюсь никуда не годен: ложусь в постель и пью лекарство. Если б я мог несколько месяцев прожить спокойно и беззаботно, то, конечно бы, поправился, но, несмотря на болезнь, я принуждаю себя к работе, и бог знает чем это кончится.

Летом поеду куда-нибудь на воды лечиться... Не пишу ничего папеньке... Бог с ним! Ему так дорого его собственное спокойствие! Зачем возмущать его преждевременно?.. Думаю, что он теперь не так беден, чтобы не мог помогать детям своим, заставляя их покупать ценою здоровья каждый кусок хлеба, но еще раз: бог с ним! Я у него никогда ничего не требовал и не буду требовать; да и может ли его эгоизм уделить что-нибудь сыну, когда он отказывает <в> малейшей помощи даже дочери, у кот<орой> нет другой подпоры?.. На днях я посту<паю> на службу *в Статистическое отделение*, находящееся *при Министерстве внутренних дел*[6]; теперь — покуда так, а с нового года с небольшим жалованьем. Что делает Федя?[7] Не стыдно ли ему: не написал ко мне ни строчки с самого нашего отъезда? Скажи, чтоб он писал непременно и, между прочим, уведомил бы, что сделалось с братом Костей? Этого бедного мальчика бросили на произвол судьбы — не мудрено, что из него ниче<го> не выйдет. Что касается до Феди, то мне его ужасно жаль. Вели ему ехать сюда, бросив собак и все свои свинские занятия! Здесь хоть чему-нибудь научится, а там век будет болваном, а болваном век быть очень невыгодно: он неглупый мальчик и, верно, сам хорошо понимает это!

Прощай, милая сестра, прощай, целую тебя братски и дружески. Прощай! Будь выше обстоятельств, не слишком горячо принимай все к сердцу и не унывай! Рад бы приехать повидаться с тобой, но не могу покуда... притом для меня это будет так тяжело... тяжело... Прощай, ангельчик, не сердись и пиши обо всем подробнее; даю <теб>е слово, что не буду так ленив, как прежде, и все, что потребуешь, исполнять скоро и в точности. Наумов твою портфель еще не отдал; он боле <...> умен. На днях отдадим. Семену Григорьевичу[8] кланяйся, я к нему буд<у писат>ь на днях. Я теперь только оценил его: он добр и благороден, как немн<огие. Пиши?> скорее, да не огорчайся, душенька! Помни — всё вздор и скоротечность; <вскоре при?>шлю тебе письмо повеселее, чтоб разогнать твою скуку. Разболтаюсь о своей хандре, своих занятиях и разных литературных сплетнях. То, что замарано в этом письме, вырвалось у меня невольно в дурном располо-

жении духа, теперь мне повеселее — и я это вон! Пиши, пожалуйста, подробнее, откровеннее, смелее и яснее, все, что можно, я сделаю. До свидания, милая Анета!

Брат твой

Н. Некрасов.

9 октября, 1842

[1] Известие о смерти сестры — Е. А. Звягиной.
[2] В пансионе Буткевич в Ярославле.
[3] Наумов А. М.— переводчик, журналист, знакомый Некрасова в 1840-е годы.
[4] Носачевская Ю. А.— сестра матери Некрасова.
[5] Вероятно, Лев Маслов, двоюродный брат Некрасова.
[6] Это намерение не осуществилось.
[7] Ф. А. Некрасов, младший брат поэта.
[8] Семен Григорьевич Звягин, муж покойной сестры Некрасова.

4. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

<До 26 сентября 1846 г. Петербург>

Здравствуйте, Белинский! Я было на днях написал к Вам о печальном состоянии Вашего альманаха [1], но письмо как-то залежалось, и я очень рад: теперь могу сообщить Вам вести хорошие. Но все-таки сначала обращусь к нехорошим. Еще до моего приезда в Петербург (а я приехал в конце июля) Гончаров хныкал, и жаловался, и скулил, что отдал Вам свой роман[2] ни за что, будто увлеченный и сконфуженный всеобщими похвалами и тем, что Вы (его собственные слова) просили «именем своего семейства» и т. д.; он ежедневно повторял это Языкову, Панаеву и другим с прибавлением, что Краев<ский> дал бы ему три тысячи, и, наконец, отправился к Краев<скому>. Узнав все это, я поспешил с ним объясниться и сказать ему за Вас, что Вы, верно, не захотели бы и сами после всего этого связываться с ним и что если он отказывается от своего слова, то и дело кончено и пр. По моему мнению, больше и нечего было делать с этим скотом. Достоевский Краевскому повесть дал, а Вам — неизвестно когда, и кончит ли [3]; от Тургенева ни слуху ни духу [4]. Панаева повесть поспеет не ранее, как к декабрю...[5] Все это весьма прискорбно и поставило бы меня в крайние затруднения касатель-

но Вашего альманаха, если б не следующее обстоятельство. Еще в Казани решили мы с Толстым и с Панаевым хлопотать о приобретении журнала, чтоб с 1847 года приступить к его изданию. На это предприятие Толст<ой> и Панаев решились употребить значительные деньги[6]. В июле я отправился в Петербург, в августе прибыл и Панаев, и, наконец, мы на днях кончили с Плетневым и взяли у него «*Современник*». Ответственным редактором будет Никитенко[7], ибо иначе сделать было нельзя,— впрочем, влияние его ограничивается наблюдением за журналом в отношении к цензуре и несколькими мелкими льготами, кои он себе выторговал. Подробнее узнаете дело, когда свидимся[8]. На днях мы выпустим объявление.

Еще в Казани мы имели в виду, когда дело удастся, списаться с Вами касательно уступки Вашего альманаха нам в журнал. Но теперь, при вышеписанных обстоятельствах, я нахожу этот оборот дела выгоднейшим для Вас и не думаю, чтоб Вы находили иначе. Мы заплатим Вам за все статьи, имеющиеся для Вашего альманаха, и за те, кои будут для него доставлены, хорошие деньги, и это будет Ваш барыш с предполагавшегося альманаха. Пишите, что Вы обо всем этом думаете и когда Вы приедете, ибо можете судить, как Ваше присутствие в Петербурге для нас теперь важно. Само собою разумеется, что мы предложим Вам условия самые лучшие, какие только в наших средствах. Работой также Вы слишком обременены не будете, ибо мы будем Вам помогать по мере сил.

Краев<ский> делает гадости по-прежнему. Недавно еще, когда ему был выговор за направление «О<течественных> з<аписок>», он сказал, что этого вперед не будет, ибо он удалил уже сотрудников, которые поддерживали такое направление. Пишите к Герцену, чтоб он не давал ему конца «*Кто виноват?*». Нам хочется напечатать этот роман вполне отдельной книжкой и дать в приложении к журналу безденежно[9]. Это была бы порядочная пилюля Андрюшке...[10]

Мы объяснили Гончарову дело о журнале. Он сказал, что Кр<аевский> ему дает по 200 р. за лист; мы предложили ему эти же деньги, и роман этот будет у нас. Другую его повесть[11] я тоже купил у него.

До свидания. Адресуйте ко мне письмо: на Фонтанке, между Аничкиным и Семионовским мостом, в доме княгини *Урусовой*.

Кланяется Вам Авдотья Яковлевна[12] и все Ваши знакомые. Языков и Тютчев[13] открыли контору агентства и комиссионерства.

Весь к услугам Вашим

Н. Некрасов.

---

[1] Прекратив сотрудничество в «Отечественных записках» Краевского, Белинский оказался без постоянного заработка. В начале 1846 г. он задумал издать литературный альманах «Левиафан». Но сбор материалов затянулся. В итоге Белинский принял предложение Некрасова, сделанное в этом письме, и поступившие произведения были опубликованы в первых номерах «Современника» за 1847 г.

[2] Речь идет о романе «Обыкновенная история»; опубликован в «Современнике» (1847, №№ 3—4).

[3] В № 10 «Отечественных записок» за 1846 г. был опубликован рассказ «Господин Прохарчин»; в «Современнике» появился «Роман в девяти письмах» Достоевского (1847, № 1).

[4] Тургенев дал в № 1 «Современника» рассказ «Хорь и Калиныч» из «Записок охотника».

[5] Повесть И. И. Панаева «Родственники»; опубликована в №№ 1—3 «Современника» за 1847 г.

[6] «Современник» был приобретен у П. А. Плетнева на деньги И. И. Панаева и некоторых других лиц. Г. М. Толстой (казанский помещик, приятель Некрасова и один из инициаторов покупки журнала) так неохотно содействовал этому делу, что Некрасов был вынужден отказаться от его участия.

[7] Никитенко А. В.— профессор Петербургского университета, критик и журналист умеренно-либерального направления, цензор Петербургского цензурного комитета. В 1848 г. в связи с наступлением политической реакции Никитенко отказался от редактирования журнала.

[8] Белинский в это время путешествовал с отправившимся на гастроли М. С. Щепкиным и вернулся в Петербург в середине октября 1846 г.

[9] Первая часть повести Герцена «Кто виноват?» была опубликована в «Отечественных записках» (1845, № 12). Некрасов писал о ней в письме к Н. Х. Кетчеру 2 декабря 1845 г.: «Скажи Герцену, что его повесть — поистине превосходная повесть, что лучше он никогда ничего не писывал и что, читая его повесть, так и кажется, что он только и делал весь свой век, что писал повести: такая ровность и ни одной фальшивой нотки». Вторая часть, вместе с первой, была выдана подписчикам «Современника» в качестве бесплатного приложения к № 1 журнала за 1847 г.

[10] А. А. Краевскому.

[11] Вероятно, очерк «Иван Саввич Поджабрин».

[12] Авдотья Яковлевна — А. Я. Панаева.

[13] Языков М. А. и Тютчев Н. Н. в 1840—50-е гг. были близки к литературным кругам.

5. В. Г. БЕЛИНСКОМУ, И. С. ТУРГЕНЕВУ и П. В. АННЕНКОВУ

? 24 июня <1847 г.> СПб.

Письмо ваше, Белинский, Тургенев и Анненков, мы получили; я сейчас прочел его вслух Панаеву и М. С. Щепкину[1], который здесь теперь на несколько дней. Новостей у нас, господа, накопилось много, да вдруг не вспомнишь; памятна мне одна: что в прошлом месяце мы бросили перевод и набор «Манон Леско» и «Леоне-Леони», а в нынешнем не будем продолжать «Пиччинино». Это все потому, что это романы французские, а к французским романам, по обстоятельствам, не зависящим от редакции, мы с Панаевым почувствовали сильное нерасположение[2]. Был я в Москве; чтоб вы поняли силу этой поездки, расскажу вам анекдот: Краев<ский> приехал в Москву позже меня четырьмя днями; в этот самый день я давал обед московским сотрудникам. Боткин с Галаховым[3] берут шляпы и идут. «Куда?» — спрашивает Краевский. «На обед, к Некрасову»,— отвечает Боткин. «А разве Некрасов здесь?» — спрашивает Кр<аевский>. «Здесь»,— отвечает Боткин. «*Он меня предупредил!*» — восклицает Краевский, и Боткин клянется, что в этом восклицании слышались рыдания и проклятия. И действительно, было о чем пожалеть ему: Боткин в это время был уже, так сказать, законтрактован мною для «Современника»; Кавелин[4], которому еще прежде Кр<аевский> предлагал взять на себя редакцию и составление исторических статей для «Энцикл<опедического> лекс<икона>»[5], с *помощию моею* сосчитал буквы в листе «Энц<иклопедического> лекс<икона>» сравнительно с листом «Современника» и не решается меньше взять с листа «Энц<иклопедического> лекс<икона>», как 150 р. сер., и сверх того 2000 р. сер. за редакцию, а между тем Кр<аевский> предлагал ему только по 100 р. за лист без всякой платы за редакцию, и не случись тут меня — может быть, Кавелин и ошибся бы. Вообще поездка моя была полезна для «Современника»: Корш пишет нам статью «*История Венеции*» и взялся составлять статьи об аглицк<ой> лит<ературе>[6]. Грановский написал нам статью «Вал-

ленштейн» (действительно написал!) и пишет уже другую о *проклятых породах*[7], приискан сотрудник[8] для разбора московских книг; имеется в виду много хороших составных статей: дело в том, что Грановский назвал мне много интересных новых книг, о которых мы с Панаевым в Петербурге и во сне не видали,— и вот из них-то поручено составить статьи; редакцию этих статей, понукание к скорейшему их выполнению и пересылку ко мне взял на себя Боткин; и на будущее время обязанность его будет состоять в том, чтоб приискивать в Москве сотрудников и заказывать для нас состав<ные> статьи из новых книг иностранных. Важно и то, что я узнал настоящие мысли москвичей о «Современнике» и пр. и пр., чего не выразишь словами, но что вы легко можете себе представить. А живут москвичи весело: сойдутся двое — посылают за бутылкой, хоть бы в 10-ть часов утра; придет третий — посылают; перейдут к четвертому — посылают и т. д.— славная жизнь!.. Как смеются они над Мельгуновым по поводу его *«Совр<еменных> замет<ок>»*!.. Жаль, что нет времени рассказать всех анекдотов, которые случились по этому случаю! Он ужасно обиделся; целую неделю ходил от одного приятеля к другому рассказывать о том, как Панаев и Некрасов несправедливо с ним поступили,— и лицо у него было бледно и строго, в голосе отзывались слезы и благородное негодование[9]. Уморительный анекдот рассказывает о нем Корш. Высидев у Корша часов десять и надоев ему смертельно, он ушел и забыл какой-то сверток. *«Посидел!»* — говорит Корш, развертывая забытый сверток (он думал, что это какие-нибудь брошюры), и вдруг посыпались на пол вяземские пряники — в это самое время отворяется дверь и выглядывает бледная фигура Мельгунова. Бормоча что-то, он принялся подбирать пряники и с тех пор не мог взглянуть в глаза Коршу... В самом деле, Мельгунов — и вяземские пряники!.. Будет о москвичах и о «Современнике». Да! еще вы спрашиваете, кто писал вторую половину разбора «Дон-Жуана»[10],— *Кронеберг* (а первую — Майков). Кронеберг злой человек, и мне хочется его уговорить хоть изредка разбирать книжонки. А в помещении рассказа Бартенева[11] виноват я,— как у нас *не стало* в этом № двух романов да еще рассказа «Жид»[12], который мы было *хотели* напечатать без

имени, то с горя и попали тут и «Петерб<ургское> куп<ечество>» [13] и рассказ *Бартенева.*

Я не отвечал Вам, Тургенев, на Ваши письма и ничего не писал об успехе Ваших рассказов [14] — по злобе на Вас за надуванье статьей об немецк<ой> лит<ературе> [15]. Ну, черт Вам простит! Успех Ваших рассказов повторился еще в большей степени в Москве — все знакомые Вам москвичи от них <в> восторге и утверждают, что о них говорят с восторгом и в московской публике. Нисколько не преувеличу, сказав Вам, что эти рассказы сделали такой же эффект, как романы Герцена и Гончарова и статья Кавелина [16],— этого, кажись, довольно! В самом деле, это настоящее Ваше дело; Белинский говорит, что Вы еще написали рассказ [17]; если не думаете скоро написать другой, то высылайте хоть этот; это нам к осени куда хорошо; нас то и дело спрашивают, будут ли в «Современнике» еще Ваши рассказы. Вот оно куда пошло! На предложение Мюллера мы согласны и даже очень рады; по 50 талеров будем платить с охотой; только уж, пожалуйста, возьмитесь сами списаться с ним обстоятельно, какого рода статьи нам нужны (в особенности хорошо, если он возьмется писать нам об немецк<ой> лит<ературе>[18]; присылайте нам его адрес — мы заведем с ним переписку через Кронеберга, «Петушкова» я Вам вышлю [19], оригинал «Каратаева» [20] сохраню. Вы заработали у нас довольно много денег — за Вами не много; если нужны деньги, я Вам пришлю в Париж, только напишите еще рассказа два к осени.

Наконец слово к Вам, Павел Васильевич: во-первых, жму Вам руку, то есть руку, написавшую «Письма из Парижа» [21]. Во-вторых, попадете в Париж — пожалуйста, пишите опять, а я даю Вам слово перечитывать корректуру Ваших «Писем» внимательней, или лучше: заключим условие — за каждую опечатку Вы отныне имеете право взыскать с меня бутылку шампанского при свидании; сколь ни подло, но я буду все меры употреблять, чтоб Вам никогда не пришлось пить моего шампанского; только пишите иностранные слова и собственные имена разборчивее. Вообще я похлопочу, чтоб опечаток в «*Совр<еменнике>*» было меньше; вся беда в том, что у нас нет хорошего корректора, а во второй корректуре всех ошибок иногда не усмотришь; придется перечиты-

вать по два раза. Письма адресуйте так: *в Петербург, в контору «Современника»*. Прощайте, веселый и злой человек! когда-то я опять Вас увижу?

---

[1] О Панаеве И. И. см. т. 1, с. 327; Щепкине — т. 4, с. 385.

[2] В № 6 «Современника» за 1847 г. была напечатана первая и начало второй части романа Ж. Санд «Пиччинино». В следующем номере было объявлено, что продолжение не последует «по причинам, не зависящим от редакции». В сентябрьской книжке на шести страницах редакция напечатала краткое изложение содержания непропущенного цензурой окончания «Пиччинино». Под давлением цензуры «Современнику» пришлось отказаться от намерения опубликовать «Манон Леско» аббата Прево и «Леоне-Леони» Жорж Санд. Эти запрещения были связаны с революционными событиями, происходившими тогда во Франции, и политической реакцией на них в России.

[3] Галахов А. Д. — педагог, историк литературы, автор хрестоматий и ряда школьных пособий.

[4] Кавелин К. Д. — историк и публицист, умеренный либерал, впоследствии резко эволюционировал вправо.

[5] Проект «Энциклопедического лексикона» Краевского и Никитенко остался неосуществленным.

[6] Корш Е. Ф. — публицист и переводчик. Названные статьи в «Современнике» не появились.

[7] Статья Т. Н. Грановского «Валленштейн» напечатана не была; в сентябрьском номере появилась первая часть его статьи «Историческая литература во Франции и Германии в 1847 г.», содержащая отзыв о книге Ф. Мишеля «История проклятых пород».

[8] Речь идет, вероятно, о И. К. Бабсте.

[9] Мельгунов Н. А. — публицист и беллетрист, в «Современных заметках» «Современника» вел раздел, где сообщалось о новостях московской жизни. Белинский был недоволен статьями Мельгунова; в письме к Боткину от 20 апреля 1847 г. он писал, что все в них «умно, дельно, современно, но читать их скучно, и от них мало остается в голове...». Поэтому редакция приняла меры к тому, чтобы «расхолодить его <Мельгунова> усердие к журналу» и понизила ему гонорар. Вскоре сотрудничество Мельгунова в «Современнике» прекратилось.

[10] Речь идет об анонимной рецензии на вольный перевод поэмы Байрона, выполненный В. Любичем-Романовичем; опубликована в № 6 «Современника» за 1847 г. Как видно из письма, она принадлежит критику В. Н. Майкову и переводчику А. И. Кронбергу.

[11] Рассказ И. Бартенева «Из записок провинциала»; появился в № 6 «Современника» за 1847 г.

[12] Рассказ Тургенева, первоначально запрещенный цензурой, напечатан лишь в № 11 «Современника» за 1847 г.

[13] «Петербургское купечество (Физиологический очерк)» опубликован без подписи в № 6 «Современника» за 1847 г.

[14] Рассказы Тургенева из «Записок охотника», напечатанные в «Современнике»: «Хорь и Калиныч» (№ 1), «Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсяников», «Льгов», «Ермолай и мельничиха» (№ 5).

[15] По-видимому, эта статья не была прислана.

[16] Некрасов имеет в виду «Кто виноват?» Герцена, «Обыкновенную историю» Гончарова и статью Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России», напечатанную в № 1 «Современника» за 1847 г.

[17] О рассказе «Бурмистр», опубликованном в № 10 «Современника» за 1847 г.

[18] Статьи Мюллера в «Современнике» не появились.

[19] Повесть Тургенева «Петушков» была опубликована в № 9 «Современника» за 1848 г. Предполагают, что по просьбе автора небольшую стилистическую правку в ней сделали Некрасов и Белинский.

[20] Рассказ Тургенева «Петр Петрович Каратаев» был опубликован в № 2 «Современника» за 1847 г. с рядом цензурных изъятий.

[21] «Письма из Парижа» П. В. Анненкова печатались в «Современнике» в течение 1847 г. (с № 3 название было изменено на «Парижские письма») и в № 1 за 1848 г.

6. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<12 сентября 1848 г. Петербург>

Любезнейший Тургенев. Третьего дня Анненков читал у нас вечером Вашу комедию «*Где тонко, там и рвется*». Без преувеличения скажу Вам, что вещицы более грациозной и художественной в русской нынешней литературе вряд ли отыскать. Хорошо выдумано и хорошо исполнено,— выдержано до последнего слова. Это мнение не одного меня, но всех, которые слушали эту комедию, а их было человек десять,— между прочим, Дружинин, которого я знакомил с Анненковым.

Заметил я (и все со мной *тотчас* согласились), что немного неловка сказка о куклах, ибо *почтеннейшая публика* может принять все это место в самую ярыжную сторону и разразиться жеребячьим хохотом. Приведите себе на память это место, взгляните на него с *этой точки*,— может быть, Вы найдете это замечание достойным внимания и сочтете нужным заменить то место [1]. С этой целию я и сообщаю Вам его.

Недавно (в IX №) напечатали мы Вашу повесть «*Петушков*» [2], повесть эта хороша и отличается строгой выдержанностью — это мнение всех, с кем я о ней говорил. Мне она и прежде очень нравилась, и я очень рад, что не ошибся в ней.

Ваши два последние присланные рассказа[3] принадлежат к удачнейшим в «Записках охотника». Вообще, друг мой, говоря о Ваших последних трудах, приходится только хвалить и дивиться Вашим успехам (и трудолюбию), и я умолкаю только потому, что неловко распространяться. Скажу вкратце: Вы и Дружинин теперь два лица наиболее читаемые, хвалимые и любимые публикой и действительно наиболее заметные в русской литературе[4]. Герцен и Гончаров, которые могли бы тягаться с Вами в этом случае, ничего давно не пишут (то есть первый не печатает, а второй так заплыл жиром, что точно ничего и не пишет).

Эту часть письма мне было написать легко, но теперь наступает трудная. Я догадывался, и по одному намеку Анненкова убедился, что Вы на меня сердитесь, но, друг мой, если бы Вы все знали!! Когда писать и что писать?.. О смерти Белинского взялась написать Вам А. П. Тютчева[5]. Что касается до «Записок охотника», то в пользу семейства Бел<инского> их печатать нельзя[6]; *«Обык<новенная> истор<ия>»* Гончарова имела не менее успеха, но я напечатал ее отдельно, и в 8 месяцев продалось только *двести* экземпляров. Вот почему я молчал: чего-нибудь особенно важного написать не было, а свои ближайшие дела горой лежали на плечах. Притом Вы знаете мою безалаберность, так не сердитесь же!

Теперь о наших счетах. Денег у меня теперь нет и до декабря не будет. Но если Вам нужно раньше — напишите, я достану и пришлю. Напишите также, вышлете Вы или нет нам до декабря еще что-нибудь из своих повестей,— это нужно для того, чтоб знать, как распорядиться. У меня теперь два Ваши рассказа и комедия. Что оставить на первый № и что напечатать в 11 книжке, которая имеет для нас тоже великую важность? Если пришлете еще рассказов, то я напечатал бы комедию в 11 №, а рассказы все, сколько их будет, оставил бы на первый №. Напишите, как Вам хочется? Если комедию на 11 №, то поторопитесь с поправкой (разумеется, если вздумаете сделать ее).

У нас особенного ничего нет. Кавелин перебрался теперь сюда на службу и усердно работает для «Совр<еменника>»[7]. Кстати, знаете ли Вы, что редактор «Соврем<енника>» ныне уже не Никитенко, а *Па-*

наев?[8] Впрочем, Вы все увидите: вместе с сим посылается Вам (на имя Герцена) «Современник» (все IX книг) и будет высылаться впредь — это потому мы решились сделать, что Анненков заверил нас, что Вам будет теперь интересен «Совр<еменник>», чего мы, признаться, не думали.

Языков и Тютчев преуспевают понемногу с конторой[9]. Мы трепещем за наступающую подписку, ибо многие книжки журнала сряду были плохи, и альманах до сей поры не вышел[10]. Маслов здрав и все так же то появляется, то исчезает[11]. Анненков теперь нас всех соединил и оживил[12]. Дружинин малый очень милый и не то, что Иван Александрыч[13]: все читает, за всем следит и умно говорит. Росту он высокого, тощ, рус и волосы редки, лицо продолговатое, не очень красивое, но приятное; глаза, как у поросенка. Вот Вам — коли интересно! Если интересно также, то узнайте, что я пустился в легкую беллетристику и произвел, вместе с одним сотрудником,— роман в 8-мь частей и 60 печатных листов, который и печатается уже с X книжки[14]. Вот по причине этой-то работы мне и некогда было написать к Вам письма. Не шутя, Тургенев, не сердитесь, пожалуйста! Вы знаете, как естественно и просто делаются подобные вещи, хоть издали и могут принять характер важный и непростительный.

Напишите мне, пожалуйста, поскорей. Герцену поклон. Спасибо ему за его доброе письмо. Я плакал, читая «После грозы»[15] — это чертовски хватает за душу. Будьте здоровы.

Весь Ваш

Н. Некрасов.

Сентября 12 1848
СПб.

---

[1] Комедия напечатана в № 11 «Современника» за 1848 г. Сказка о куклах была исключена цензурой. Впоследствии Тургенев заменил ее «Сказкой о трех женихах баронессы».

[2] См. прим. 19 к № 5.

[3] «Гамлет Щигровского уезда» и «Чертопханов и Недопюскин».

[4] А. В. Дружинин, дебютировавший в 1847 г. в «Современнике» повестью «Полинька Сакс», в дальнейшем становится одним из ведущих критиков журнала.

[5] А. П. Тютчева — жена Н. Н. Тютчева (о нем см. прим. 13 к № 4). В своем письме она передавала Тургеневу подробности о последних днях Белинского, который умер 26 мая 1848 г.

[6] В середине 1848 г. Тургенев набросал новый проект издания «Записок охотника», доход от которого собирался передать семейству Белинского.

[7] О Кавелине см. прим. 4 к № 5.

[8] После отказа Никитенко от редактирования «Современника» «в виде опыта» редактором был утвержден И. И. Панаев, а издателями — Панаев и Некрасов.

[9] См. № 4 и прим. 13 к нему.

[10] Речь идет об «Иллюстрированном альманахе». Это издание было обещано подписчикам как бесплатное приложение к журналу за 1848 г. В февральском номере «Современника» опубликовано его подробное содержание. Редакция получила цензурное разрешение на выпуск «Альманаха» в свет, но уход Никитенко и ужесточение цензурных требований в связи со сгустившейся политической реакцией в России привели к вторичному рассмотрению альманаха в цензурном комитете, в результате которого на него был наложен запрет. Лишь в 1849 г. вышел особый «Литературный сборник», в который частично вошли материалы «Иллюстрированного альманаха». История с «Альманахом» обернулась для «Современника» потерей многих подписчиков на 1849 г.

[11] Маслов И. И.— чиновник при генерале Скобелеве, коменданте Петропавловской крепости. Маслов был близок кружку «Современника».

[12] Анненков незадолго до того возвратился из-за границы.

[13] Гончаров.

[14] О романе «Три страны света», написанном Некрасовым в соавторстве с А. Я. Панаевой (псевдоним — Н. Станицкий).

[15] Вторая глава книги А. И. Герцена «С того берега». Рукопись главы привез в Россию П. В. Анненков.

7. П. В. АННЕНКОВУ

<30 сентября 1850 г. Петербург>

Любезнейший и многоуважаемый Павел Васильевич. Пишу к Вам хоть и поздно, да зато теперь могу сказать не только, что получил с благодарностию и напечатал с радостию Ваше «Письмо» [1], но и прибавить, что «Письмо» это решительно всем нравится и в IX № «Соврем<енника>» составляет вещь самую заметную. Оно и действительно хорошо (по моему мнению) и, что еще важнее,— всегда было бы хорошо, не только в 1850 году [2]. Форма, избранная Вами, есть не только Ваша настоящая, но притом она же теперь и самая — как бы сказать? — удобная — выставьте в заглавии этой же вещи *рассказ* или *повесть*, да что много толковать? На IX №

набрали мы две повести — одну Сальяс, другую Дружинина [3], но от них не осталось и следа,

> Как от любви ребенка безнадежной,
> Как от мечты, которой никогда
> Он не вверял заботам дружбы нежной... [4]

Ваш ходебщик, да еще два, три лица в Ваших прежних «Письмах» есть нечто капитальное, что *останется* от тепершней русской литературы, от которой, вообще говоря, останется крайне мало. Это настоящие русские типы из народа, которым мелочные погрешности в народном языке не помешают жить долго. Чутье в публике на это имеется, и мне не один человек уже говорил (о последнем Вашем «Письме»), что это и повесть, да и нечто лучше всякой повести.

Новостей литературных более-то, кажется, и не имеется,— в той же IX книжке заметили Вы, вероятно, статью о Феофрасте [5], в своем роде прекрасную, а остальное, как сами видите, все обстоит благополучно. Того же ждите и впредь; впрочем, с X № я начал печатать очень хорошие «*Записки об Аварской экспедиции на Кавказе*» [6], и там же будет статья Галахова об Измайлове-журналисте — хорошая [7]. Повести будут дрянные [8]. Летом был у нас Тургенев, чему я очень обрадовался,— на мои глаза, он нисколько не переменился и все такой же милый человек, как был. Теперь он у себя в деревне. Слышал я, что он окончательно рассорился с своей матушкой; скоро будет сюда [9]. Написал он и прислал небольшую вещицу: хороша, да неудобна [10]. А Вы скоро ли сюда будете? Если нескоро, то хоть присылайте еще «Писем». Об этом прошу преусердно. Если будете скоро, то не поработаете ли для «Обозрения лит<ературы> за 1850 год»? [11]

Тютчев и Языков здравы [12]. В начале сентября прибыл Панаев и привез из Москвы много анекдотов. Ав<дотья> Як<овлевна> [13] тоже недавно воротилась из-за границы.

Больше на этот раз писать не буду, а если что явится интересное, то напишу. Будьте здоровы.

Душевно Вам преданный

30 сентября 1850 *Н. Некрасов.*
СПб.

---

[1] Седьмое из «Провинциальных писем» Анненкова — цикла очерков, печатавшегося в «Современнике» в 1849—1851 гг.

[2] То есть во времена жестоких притеснений. В «Обозрении русской литературы за 1850 г.» «Современник» писал о «Письмах» Анненкова: «...в каждом из них есть непременно умная мысль, а нередко бывает, что и выражена она прекрасно, за исключением некоторых частностей, на обделку которых, по-видимому, недостает терпения у нашего *автора-дилетанта*. В некоторых своих письмах автор удачно попадал даже на стороны русской жизни, на характеры совершенно новые, то есть новые в литературе, но в действительности давно существующие».

[3] О каких повестях писал Некрасов, не установлено. Вероятно, это повесть Е. Тур «Долг», опубликованная в № 11 «Современника» за 1850 г., и повесть Дружинина «Петербургский фонтан» — «Библиотека для чтения», 1850, № 12.

[4] Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

[5] «"Характеры" Феофраста» — статья Б. И. Ордынского.

[6] «Записки об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 года» Я. И. Костенецкого опубликованы в №№ 10—12 «Современника» за 1850 г.

[7] Имеется в виду статья А. Д. Галахова «Сочинения А. Е. Измайлова...» — «Современник», 1849, № 12; 1850, №№ 10—11.

[8] В № 10 «Современника» опубликованы повести К. А. Мытищева «История двух приятелей» и М. В. Авдеева «Ясные дни».

[9] Тургенев был в Петербурге в 20-х числах июня, возвратившись из Франции. Затем он уехал в Спасское, откуда приехал в Петербург в начале октября.

[10] Рассказ «Певцы».

[11] Участвовал ли Анненков в «Обозрении русской литературы за 1850 г.», печатавшемся в №№ 1—4 «Современника» за 1851 г., не установлено.

[12] См. прим. 13 к № 4.

[13] А. Я. Панаева.

8. Л. Н. ТОЛСТОМУ

<Середина августа 1852 г. Петербург>

Милостивый государь!

Я прочел Вашу рукопись («Детство»). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это

будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш, и талант меня заинтересовали. Еще я посоветовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией, если только Вы не случайный гость в литературе. Жду Вашего ответа.

Примите уверение в истинном моем уважении.

Н. Некрасов[1].

---

[1] Это письмо является ответом Некрасова на письмо Толстого от 3 июля 1852 г., присланное вместе с рукописью повести «Детство». Толстой писал Некрасову: «...я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое...». Вслед за этим, 5 сентября Некрасов еще раз писал Толстому по поводу его повести: «Я дал ее в набор на IX кн. «Современника» и, прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалась мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом для Вас, как для начинающего, думаю, всего важнее в настоящее время». «Детство» было помещено в № 9 «Современника» за 1852 г., за подписью Л. Н., под названием «История моего детства».

9. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<21 октября 1852 г. Петербург>

Любезный Тургенев. Спасибо тебе, что ты вспомнил меня, еще более спасибо за подробные известия о твоей охоте нынешним летом; дичи этот год везде мало — около Петербур<га> вовсе не было бекасов и очень мало дупелей,— но все-таки ты поохотился, как видно, весьма хорошо. Я охотился по железной дороге — эта дорога как будто нарочно пролегает чрез такие места, которые нужны только охотникам и более никому: благословенные моховички с жидким ельником, подгнивающим при самом рождении, идут на целые сотни верст — и тут-то раздолье белым куропаткам! Есть в этой стороне и тетерев, преимущественно мошник, довольно серых куропаток, но вальдшнепа нет и признаков; бекас и дупель попадаются только изредка. В три мои поездки туда убил я поболее сотни белых и серых куропаток и глухарей, не считая зайцев, и услыхал одно новое сло-

вечко, которое мне очень понравилось,— *па́морха.* Знаешь ли ты, что это такое? Это мелкий-мелкий, нерешительный дождь, сеющий, как сквозь сито, и бывающий летом. Он зовется *па́морхой* в отличие от *изморози,* идущей в пору более холодную. Это словцо Новг<ородской> губ<ернии>. Унылая сторона, населенная наполовину карелами, бедная и невероятно дикая,— но тем лучше для нашего брата-охотника; изобретение пороху еще не проникло сюда, и единственная охота, употребительная здесь,— это на уток, посредством брюха. Мужик идет по болоту и, завидев молодую утку, старается упасть на нее брюхом, что иногда и дается ему. Не думай, что я шучу. Я это сам видел. К охотникам с ружьем здесь даже оказывают явное нерасположение, и вот что со мной случилось. Раз я заблудился в нескончаемом моховичке с моим егерем (здесь не всегда найдешь проводника), долго мы не встречали ни души, чтоб спросить, как пройти в ближайшую деревню Борки. Я устал, проголодался, взмок от поту и брел в тупом озлоблении наудачу: наконец завидел человеческий зад и, очень обрадованный побежал к нему. Это была баба, сбиравшая гнилые масляники (кроме этих грибов, здесь других не водится). Я обратился к ней с моим вопросом и получил вот какой ответ:

Скинь портки,
Так и дойдешь в Борки.

И больше я ничего не мог добиться от этой бабы, глядевшей на меня с невероятным озлоблением.

Частию мои отлучки на охоту, а более другие неблагоприятные обстоятельства [1] были причиною, что журнал наш так запаздывал. Впрочем, мы это надеемся наверстать в последние месяцы этого года. Спасибо тебе, что не поленился написать нам свое мнение о нашем журнале,— мы согласны с ним; делай это и впредь; если не будет лень, обрати внимание на повесть «Детство» в IX № — это талант новый и, кажется, надежный [2]. Настоящее имя его — граф Ник<олай> Ник<олаевич> Толстой [3] — офицер, служащий на Кавказе. Что ты думаешь об авторе «Ульяны Терентьевны» и «Якова Яковлича»? [4] «Батманов» (особенно первая половина) очень хорош, но какое грубое существо этот господин (то есть автор)! Я думаю, ты уж прочел 2 часть «Бат-

манова»[5]; эта часть поразила меня своею грубостью; сцена с фраком, львица-*княгиня*, которая все толкает мужчин; письмо Наумовой о пощечинах с подписью: *женщина, которой очень хотелось за вас замуж* — как всё это нежно! Удивительно еще, как мало автор затрудняется в разрешении самых трудных вопросов. После этой повести, не знаю почему, он мне иначе не представляется, как *литературным городовым*, разрешающим все вопросы жизни и сердца палкой! Впрочем, потому все это и досадно, что таланту много. Присылай свою статью о книге Аксакова[6]. Мы спрашивали о тебе, и нам сказано, что ты можешь писать и печатать[7], только г. Крылов[8] (это уж он для себя) заметил, что лучше, если ты будешь представлять свои произведения *в целом*, чтоб можно было видеть идею сочинения. Если б ты нам прислал рассказ (напр., *«Переписку»*)[9] — это теперь нам принесло бы более пользы, чем целый роман другого автора.

Прощай. Я скоро буду тебе еще писать и пришлю тебе свои стихи, которые думаю поместить в 1-м № «Совр<еменника>»[10]. Панаев и Авдотья Яковлевна тебе кланяются. Здесь теперь Васинька[11]. О нем тоже напишу после.

В<есь> твой
Н. Некрасов.

21 октября 1852
СПб.

Пиши, голубчик.

---

[1] Вероятно, намек на цензуру.

[2] Тургенев отвечал Некрасову 28 октября: «Ты прав — это талант *надежный*... Пиши к нему — и поощряй его писать. Скажи ему, если это может его интересовать — что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему».

[3] В своем письме Некрасову Толстой указал обратный адрес брата — Николая Николаевича Толстого.

[4] «История Ульяны Терентьевны» и «Яков Яковлич» — автобиографические произведения П. А. Кулиша, опубликованные в №№ 8 и 10 «Современника» за 1852 г. под псевдонимом «Николай М.». Оценки творчества Кулиша — в ответных письмах Тургенева от 28 октября и 18 ноября. В частности, он писал: «в авторе есть талант, но небольшой и *ненадежный*».

[5] Повесть А. Ф. Писемского «Monsieur Батманов» опубликована в «Москвитянине» (1852, № 17—18).

[6] Статья Тургенева о книге С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника» появилась в № 1 «Современника» за 1853 г.

[7] Тургенев находился в это время в ссылке в своем имении Спасское за сочувственную статью, написанную на смерть Гоголя.

[8] Крылов А. Л.— цензор.

[9] Рассказ был закончен в 1854 г., в 1855 г.— не пропущен цензурой для опубликования в «Современнике», напечатан в № 1 «Отечественных записок» за 1856 г.

[10] В середине ноября 1852 г. Некрасов послал в письме к Тургеневу стихотворение «Муза». В № 1 «Современника» за 1853 г. появилось стихотворение «Старики».

[11] В. П. Боткин.

10. И. С. ТУРГЕНЕВУ

17 ноября 1853 г. <Петербург>

Милый Тургенев. Как ни люблю я тебя и как ни желаю почаще иметь о тебе известия, однако же мне редко удается писать к тебе — и это не потому, чтоб я был занят, а нахожусь почти постоянно в таком негодном духе, что самому скверно. Кажется, приближается для меня нехорошее время: с весны заболело горло, и до сей поры кашляю и хриплю — и нет перемены к лучшему, грудь болит постоянно и не на шутку; к этому, нервы мои ужасно раздражительны; каждая жилка танцует в моем теле, как будто у них вечный праздник, и мне от этого совсем не весело; каждая мелочь вырастает в моих глазах до трагедии, и вдобавок — стихи одолели — то есть чуть ничего не болит и на душе спокойно, приходит *Муза* и выворачивает все вверх дном; и добро бы с какой-нибудь пользой, а то без толку,— начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности,— и прежде чем успею овладеть мыслью, а тем паче хорошо выразить ее, катаюсь по дивану с спазмами в груди, пульс, виски, сердце бьют тревогу — и так, пока не угомонится сверлящая мысль. На этом основании я себя сравниваю с караульней, подымающей стукотню всякий раз, как проедет генерал. Зато начал много, да что толку. Посылаю тебе *«Филантропа»*[1] — скажи мне о нем свое мнение. Этой вещи я не почитаю хорошею, но дельною — может быть, в деревенском единообразии чтение ее доставит тебе некоторое удовольствие хоть тем, что напомнит старое — по крайней мере, я теперь вдруг вспомнил наши давние литератур-

ные толки, ту охоту, с которою я прочитывал тебе каждое мое новое стихотворение, и то внимание, с которым ты меня слушал. Давние времена! Мне теперь их жаль!

Поистине мне становится грустно, как подумаю о скуке, которую ты претерпеваешь [2]. Предыдущее письмо мое вызвала досада на людей, которые, может быть, охолодили в тебе даже охоту к труду, разругав тебе твой роман — и, я уверен, несправедливо: в романе твоем может недоставать соразмерности в построении, допускаю даже, что в нем проскользнуло что-нибудь фальшивое, но чтоб ты мог написать том дряни, этому поверю разве тогда, когда лишусь здравого смысла,— уверен, что там есть даже отличные вещи — жаль, что мне не удалось его прочесть [3]. В Москве я читал твой «Постоялый двор» [4] — вещь прекрасная, но выполнение слабее, чем в других твоих рассказах,— как-то бледновато, думаю — потому, что ты не имел цели окончательно его отделывать. Читал я *«Чувства души в высокоторж<ественный> праздник»*. Кому бы ни принадлежали эти стихи — они превосходны. Это мое мнение после троекратного их прочтения, с значительными промежутками. Если ты позволишь, мы бы напечатали их, даже прошу об этом [5]. Вот тебе литературная новость: Майков написал небольшую поэму «Дуня-дурочка» [6] — это решительно лучше всего, что он писал. Прощай. Напиши ко мне, пожалуйста, поскорее. Будь здоров.

Весь твой

Н. Некрасов.

«Филантропа» — не успел переписать, пришлю после.

Не сделаешь ли чего для 1 книжки «Современника»? [7] Что твой рассказ *«Переписка»*? [8]

---

[1] Напечатан лишь в № 2 «Современника» за 1856 г.

[2] См. прим. 7 к № 9.

[3] В письме к Тургеневу от 26 сентября 1853 г. Некрасов возмущался резким отрицательным отзывом В. П. Боткина и Н. X. Кетчера о незаконченном романе Тургенева «Два поколения». Оценка Некрасовым этого произведения — в его письме Тургеневу от 12 августа 1855 г. (см. № 17). Впоследствии Тургенев уничтожил роман; один из отрывков был опубликован в 1859 г. под названием «Собственная господская контора».

[4] Написан в 1852 г. (см. также прим. 3 к № 17).

[5] Стихи, присланные Тургеневым П. В. Анненкову 14—15 октября, автором которых являлся якобы дворовый матери писателя. Анненков считал, что они принадлежат самому Тургеневу. Оказалось, что эти стихи были опубликованы в «Литературной газете» в 1840 г. В «Современнике» они не появились.

[6] Напечатана в «Отечественных записках», 1854, № 1.

[7] В № 1 «Современника» за 1854 г. помещена повесть Тургенева «Два приятеля».

[8] См. прим. 9 к № 9.

11. Л. Н. ТОЛСТОМУ

<6 февраля 1854 г. Петербург>

Милостивый государь
Лев Николаевич!

Ваших писем я получил не два, а одно; отвечал Вам довольно скоро по получении рукописи («Запис<ки> марк<ера>») по старому Вашему адресу (на имя Н. Н. Толстого) [1]. Там я излагал и мнение мое об этой вещи, спрашивал Вас в заключение — печатать ли всетаки эту вещь, или Вы соглашаетесь на мои замечания? Итак, приходится мне теперь повторить эти замечания. «Зап<иски> мар<кера>» очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная Вами форма; язык Вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, Вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб, и лучшие вещи в нем пропали [2]. Извините, я тороплюсь и не выбирал выражений, но вот сущность моего мнения об этом рассказе; это я счел долгом сообщить Вам, прежде чем печатать рассказ, так как я считаю себя обязанным Вам откровенностью за то лестное доверие, которым Вы меня удостоили. Притом Ваши первые произведения слишком много обещали, чтобы после того напечатать вещь сколько-нибудь сомнительную. Однако ж я долгом считаю прибавить, что если Вы всетаки желаете, я напечатаю эту вещь немедленно, мы печатаем много вещей и слабее этой, и если я ждал с этою, то потому только, что ждал Вашего ответа. Жду его и теперь и надеюсь получить скоро вместе с «*Отрочеством*», которое может быть напечатано очень скоро,

если Вы не замедлите его присылкою. Уведомьте меня, куда Вам посылать «Современник» и деньги.

Примите уверение в моем истинном уважении и преданности.

Н. Некрасов.

P. S. Если вы заглядываете в «Современник» (начиная с XI книги, включительно), то можете заметить, что теперь Ваши[3] произведения не подвергнуты таким изменениям по цензуре, каким подвергались прежде.

6 февраля 1854, СПб.

Ваше письмо от 14-го января[4] я получил 6-го февраля.

---

[1] См. прим. 3 к № 9.

[2] Еще 25 октября 1853 г. Толстой записал в своем дневнике: «Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал «Зап<иски> мар<кера>». По содержанию едва ли я много бы нашел изменить или прибавить в них. Но форма не совсем тщательно отделана». «Записки маркера» появились в № 1 «Современника» за 1855 г. без авторской переделки, но с цензурной правкой. Через год, перечитав рассказ, Некрасов изменил к нему отношение. 17 января 1855 г. он писал Толстому: «...в 1-м чтении он <рассказ> мне не понравился... но прочитав его недавно... я нашел, что он очень хорош и в том виде, как написан, по крайней мере, был хорош в рукописи, потому что в печати и его-таки оборвали...»

[3] Вероятно, опечатка в первой публикации (автограф письма неизвестен). По смыслу следует читать «наши».

[4] Это письмо неизвестно. 13 января 1854 г. Толстой записал в дневнике: «...написал дерзкое письмо редактору».

12. Л. Н. ТОЛСТОМУ

<10 июля 1854 г. Петербург>

Милостивый государь
Лев Николаевич.

Исполняю Ваше желание и посылаю те книжки «Современника», в которых помещены Ваши рассказы[1]. Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как достаточно похвалить Вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать, да и не совсем ловко говорить в письме к Вам больше. Перо, по-

добно языку, имеет свойство застенчивости — это я понял в сию минуту, потому что никак не умею, хоть и покушаюсь сказать кой-что из всего, что думаю, выберу только, что талант автора «Отрочества» самобытен и симпатичен в высшей степени и что такие вещи, как описание летней дороги и грозы, или сидение в каземате, и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе[2]. Я напечатаю «Отрочество» в IX или X кн. «Современ<ника>»[3]. Не знаю получаете ли Вы его,— но он Вам в Бухарест высылался[4].

Примите уверение в моем душевном уважении и предан<ности>.

Н. Некрасов.

1854, июля 10
СПбург.

[1] № 9 «Современника» за 1852 г., где было напечатано «Детство», и № 3 за 1853 г., где появился рассказ «Набег».

[2] 24 августа Толстой записал в дневнике: «Получил лестное об «Отрочестве» письмо от Некрасова, которое, как и всегда, подняло мой дух и поощрило к продолжению занятий...».

[3] «Отрочество» было опубликовано в октябрьской книжке «Современника» за 1854 г. со значительными цензурными изъятиями.

[4] В то время Толстой служил в Дунайской армии; 11 июля он записал в дневнике: «...нынче получил «Современник»...».

13. И. С. ТУРГЕНЕВУ

9-го окт<ября>, пятн<ица 1854 г. Петербург>

Я уже третий день дома.— Ничего нет нового. Меншик<ов>, точно, не привез никаких особенных известий[1], Сент-Арно умер[2], да ты это, верно, знаешь из газет.— Это политика.

Теперь пойдет литература. Ты, верно, получил X № «Совр<еменника>». Он вышел здесь 2-го числа. Но в нем нового для тебя немного. Меня очень смешит местами повесть о майоре Гагагане[3], хотя в ней есть скучные длинноты, и вообще непостижимо терпение автора, который заставляет лгать своего героя сто страниц с лишком. Это производит такое же впечатление, как лгуны в натуре, но от лгунов в жизни можно бежать или прогнать их в шею, а с книжным не разделаешься, пока

не дочтешь его вранья. Вот то, что Друж<инин> именует чернокнижием, но нашему чернокнижию далеко до теккереевского[4].— Проездом через Москву увидал я у Базунова[5] толстейшую книжищу с названием *«Песни разных народов», перевод Берга.* Если б этот Берг был даже скотина, что и может быть, то все-таки книга его доставила мне на целый день (в дороге) интересное чтение, и я ему благодарен. Этого мало: я стою на том, что книга хороша и может занять даже и не в дороге. Вместе с этим письмом я пошлю записку к московскому Базунову, чтоб он тебе ее выслал. Из нее ты узнаешь — впрочем, мне некогда много писать, но ты сам увидишь, что, кроме дельности, книга имеет большое литературное достоинство — в ней встречаются настоящие перлы поэзии. Выпишу тебе одну песенку, самую коротенькую — *мадьярскую.*

Два милых было у меня
Дороже всей родни,
Да бедность одолела их —
И померли они.

Что одного-то милого
В саду я положу,
Другого я сердечного
Под сердцем схороню.

Полью в саду я милого
С Дунай-реки водой,
Полью дружка сердечного
Горючих слез рекой.

Мне это кажется удивительно хорошо[6] Будь здоров.

Твой
Некрасов.

---

[1] Меншиков А. С.— главнокомандующий сухопутными и морскими силами во время Крымской войны.

[2] Сент-Арно — военный министр, маршал и главнокомандующий французской армией во время Крымской войны.

[3] «Жизнь и приключения майора Гагагана» — повесть Теккерея, приложение к № 10 «Современника» за 1854 г.

[4] А. В. Дружинину преимущественно принадлежат остроумные, но пустоватые фельетоны «Сантиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» — «Современник», 1850, №№ 7—8, а также «Письмо Чернокнижникова, служащее окончанием его похождений», опубликованное в № 12. Часть стихов в «Сантиментальном путешествии» написана Некрасовым.

[5] Базунов И. В.— московский книгопродавец. В его магазине находилась московская контора «Современника».

[6] В ответных письмах (от 15 октября и 22 октября) Тургенев благодарил Некрасова «за мысль выслать <...> эту книгу», но, познакомившись с нею, отмечал, что «выбор пиес сделан очень дурно — и перевод большею частию вял и плох... Мысль хороша и дельна и заслуживала лучшего исполнения». В 1866 г. Некрасов писал о Н. В. Берге: «Переводы его грешат менее всего близостью к подлинникам. Но стихи его хороши». С рецензией на «Песни разных народов» в № 11 «Современника» выступил Н. Г. Чернышевский. Он так же, как и Тургенев, положительно оценил идею издания, но отметил неудачный подбор песен и лишь редкие удачи в переводе их.

14. И. С. ТУРГЕНЕВУ

16 окт<ября 1854 г.> СПб.

Получил вчера твое письмо.— Где это могли оказаться у тебя гаршнепы? Все-таки вы воротились домой не с пу́стом. Видел нашего доброго[1]: каталог у него был, да кто-то взял и проч., то есть каталога нет[2]. Он жизнью доволен — Пушкина получил[3] и на следующей неделе приступает к печатанию. Я не буду много писать, потому что голова моя занята шутовским сочинением, которое мне хочется написать для «Ералаша»[4]. 10 № «Совр<еменника>» ты имеешь, а XI идет хорошо — «Хлыщей» Панаева[5] пропустили без изменений и выпусков — пришлю тебе XI №, как и X, то есть ты его получишь на 6-ой день после выхода здесь. Новостей никаких нет, кроме известных тебе по газетам.— Здесь стоит сырая погода и можно бы еще охотиться — по улицам таскают бекасов и уток, да мне не до того. Смерть хотелось бы уехать за границу, да выросло новое препятствие[6], с которым, не знаю, справлюсь ли.— Кланяюсь Порфирию[7] и рад, что ему досталась хорошая жена. Посоветуй ему вывести скверный запах из первой его комнаты, а то мне отсюда видится, как морщится его жена, входя в эту комнату. Будь здоров. Я здесь немедленно по уши въехал в хлопоты, но выношу всякие гадости с бо̀льшим мужеством, чем от себя ожидал. Нимало не раскаиваюсь, что съездил к тебе, хотя и плохо поохотился,— это, кажется, укрепило меня.

Жаль только, что мало пробыл — даже не успел порядком войти в эту жизнь, для которой я, кажется, сотворен. Получил ли Сборник песен?[8] Не правда ли — стоит в нем порыться на досуге.

Некрасов.

---

[1] Так называли в дружеском кругу П. В. Анненкова.

[2] Речь идет о каталоге библиотеки Белинского, которую приобрел Тургенев примерно в 1853 г. В письме от 8 октября Тургенев просил Некрасова напомнить Анненкову о том, что он ждет присылки этого каталога. Однако неожиданно каталог отыскался среди бумаг самого Тургенева.

[3] Имеется в виду подготовлявшееся тогда Анненковым издание «Сочинения А. С. Пушкина», которое издатель получил из цензуры.

[4] «Литературный ералаш» — сатирическое и юмористическое приложение к «Современнику». Для него Некрасов написал стихотворение «Признания труженика» — «Современник», 1854, № 11 (см. т. I, с. 165).

[5] «Хлыщи» — цикл рассказов И. И. Панаева. Речь идет об одном из них — «Великосветский хлыщ», напечатанном в № 11 «Современника» за 1854 г.

[6] Что имелось в виду — неизвестно.

[7] П. Т. Кудряшов — сводный брат Тургенева.

[8] См. № 13 и прим. 6 к нему.

15. И. С. ТУРГЕНЕВУ

6 ноября <1854 г. Петербург>

Захлопотавшись с XI № «Совр<еменника>» (я тебе его вчера послал по легкой почте)[1], давно к тебе не писал. Во 1-х, я привел свои дела в такое положение, что могу ехать за границу хоть завтра, если будет можно. Во 2-х, в чаянии собрать несколько денег к отъезду, начал я изредка поигрывать в картишки — и пока с успехом; в 3-х, получили письмо от Вас<илия> Петр<овича> Боткина, который, говорит, что Баратынский был пьяница, стихов которого печатать не стоило[2], а по поводу «Отрочества» замечает, что таланты бывают благородные и неблагородные и еще что-то, так что по этой классификации выходит, что Гоголь — писатель был подлец, а Влад<имир> Ив<анович> Панаев благороднейший деятель литературы[3]. Как это все свежо! К этим литер<атурным> аристократам при-

числяет он и Толстого, которым очень восхищается. Ты хочешь знать об «Отрочестве» — конечно, все его хвалят, с кем мне случалось говорить, но видят настоящую его цену немногие — ведь Дружинин не дурак, а что он найдет для себя в «Отрочест<ве>»? Таких много и в публике; впрочем, мне случалось встречать круглых скотов, о коих я думал, что они ничего не читают,— они заговаривали со мной об «Отрочестве»; по-моему: это верный признак успеха, когда дураки считают долгом говорить о том, до чего им дела нет. Хорошо, что ты мне написал адрес Толстого,— я не знал, куда ему послать деньги за «Отр<очество>», и послал теперь ему запрос.— Прибыл сюда Авдеев [4],— и первый визит сделал нам! Едет сюда Писемский. Приезжай и ты.

Весь твой

Некрасов.

---

[1] Легкая почта — пересылка писем, бумаг. (Тяжелая — посылок).

[2] В № 10 «Современника» был опубликован цикл из 15 стихотворений Е. А. Баратынского, подготовленный к печати Тургеневым. Тургенев предпослал стихотворениям свое письмо, в котором разъяснял, что большая их часть «была напечатана в изданиях. не имевших обширного круга читателей, и потому мало известна публике».

[3] Панаев В. И.— поэт, писавший по преимуществу идиллии.

[4] Авдеев М. В.— писатель, сотрудник «Современника», затем — некрасовских «Отечественных записок».

16. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<30 июня — 1 июля 1855 г. Москва>

Здравствуй, милый Тургенев — ты, о ком думаю часто, всегда с приятным и никогда с горьким чувством. Не писал я к тебе долго потому, что нахожусь в каком-то туповатом и благодатном спокойствии,— даже лень взять в руки перо. Я занимаюсь здесь, по совету Иноземцева [1], питием какой-то минеральной воды — впрочем, без всякой веры в ее целебность для меня — и пью эту воду уже целый месяц. Кажется, скоро можно будет бросить это питье. Что тогда предприму, еще не знаю. Хочется ехать в Севастополь. Ты над этим не смейся.

Это желание во мне сильно и серьезно — боюсь, не поздно ли уже будет? А что до здоровья, то ему ничто не помешает быть столько же гнусным в Севастополе, как оно гнусно здесь. А оно крайне худо — и, право, брат, без фразы могу сказать, что едва ли не всего кислее в жизни и смерти — это медленное умирание, в котором я маюсь. Болезнь моя сделала заметные шаги вперед — я кашляю, особенно по ночам, каким-то сквернейшим, сухим и звенящим кашлем и бешусь, что у моей груди, как на смех, только и осталось силы для произведения этих противных звуков! Куда теперь и подумать на охоту! пройду полверсты — и едва отдышусь. Это не то, что прошлого года, когда еще по целым дням я плелся за тобой, делая два шага за твой один. Правда, я уходил весь в ноги — и никуда негодно стрелял, но все же ходить-то хоть мог. Однако ж об этом будет. Хочу тебе сказать несколько слов о своих занятиях. Помнишь, на охоте как-то *прошептал* я тебе начало рассказа в стихах — оно тебе понравилось; весной нынче в Ярославле я этот рассказ написал, и так как это сделано единственно по твоему желанию, то и посвятить его желаю тебе *[2] — с условием: вышли мне о нем свое искреннее мнение; на днях ты его получишь. Я уже начал переписывать его.— Весной нынче я столько писал стихов, как никогда, и, признаюсь, в первый раз в жизни сказал спасибо судьбе за эту способность: она меня выручила в самое горькое и трудное время. Но хорошего написалось мало. Стихи, впрочем, слишком расшатывают мои нервы, и я теперь придумал для себя работу полегче и хочу по этому поводу спросить твоего совета. Мне пришло в голову писать ** свою биографию, то есть нечто вроде признаний или записок о моей жизни — в довольно обширном размере.— Скажи: не слишком ли это — так сказать — самолюбиво? [4] Впрочем, я думаю прислать тебе начало: тогда ты лучше увидишь, может ли это быть пригодно; главное в том, что эта работа для меня легка и что, только увлекшись каким-нибудь продолжительным трудом, буду я в состоянии не чувствовать ежеминутно всей тягости моего существова-

* Кстати о посвящениях: Толстой посвятил тебе повесть «Юнкер» [3], которую прислал в «Современник».

** Для печати, но не при жизни моей.

ния, которое более плачевно, чем я об этом говорю. И вот еще к тебе просьба: у меня явилось какое-то болезненное желание познакомиться хоть немного с Бёрнсом, ты когда-то им занимался, даже хотел писать о нем: вероятно, тебе нетрудно будет перевесть для меня одну или две пьесы прозой (по своему выбору) — приложи и размер подлинника, означив его каким-нибудь русским стихом (ибо я далее ямба в размерах ничего не понимаю) — я, может быть, попробую переложить в стихи [5]. Пожалуйста, потешь меня, хоть страничку пришли на первый раз. Я вообще азартно предаюсь чтению и обуреваем с некоторого времени жаждой узнать и того, и другого, да на русском ничего нет, особенно поэтов; а если и есть, то 20—30-х годов. В этом отношении литература русская 20 лет назад была дельнее. Перечел всего Жуковского — чудо переводчик и ужасно беден как поэт; воет, воет, воет — и не наткнешься ни на один стих, в котором мелькнула бы грация скорби — о другом о чем-нибудь и не спрашивай! Труженическому терпению, которое пригодилось ему как переводчику, обязан он своими оригинальными произведениями, в которых только одно это терпение и удивительно. Странно, как он — такой мастер переводить — не чувствовал слабости собственных своих произведений! Впрочем, вкус-то у него не совсем был ясен: сколько он и дряни перевел наряду с отличными вещами! Однако нельзя не заметить, что многие послания и некоторые лицейские годовщины Пушкина вышли прямо из посланий Жуковского; Пушкин брал у него — иную мысль, мотив и даже иногда выражение!

Слышал я от Боткина и других друзей, как они славно провели у тебя в деревне время. Я тоже порывался к вам, да был в такой хандре, что мог только испортить общее веселье. И пиеса, которую вы сочинили и сыграли, мне пересказана [6]. Этот веселый вздор всего лучше свидетельствует, что вы находились в отличном состоянии духа — счастливцы! Еще я слышал, что ты находишься, как говорилось лет 15-ть тому назад, в «моменте распадения», то есть считаешь свое писательское поприще конченным и себя выдохшимся... Стыдись, любезный друг! Не тебе обижать природу или судьбу сомнением в своих силах и способностях! Это ты не лень ли свою прикрываешь, с которой не надеешься справиться? Хо-

чешь знать мое мнение? Из всех ныне действующих русских писателей ты, как бы сказать, обязался сделать наиболее, и сложить теперь руки было бы верх стыдовища. Я устал, а то много бы хотелось сказать по этому случаю. Знай, что из всех в России писателей и читателей только один человек думает, что твое поприще кончено,— и этот один — сам ты. Верь в себя и пиши — вот в коротких словах то, что я готов был бы доказывать на целой странице, если б рука служила. Будь здоров. Желаю тебе хорошо охотиться. Кстати об охоте: может быть, отложа в сторону Севастополь, после вод, то есть недели через полторы, я отправлюсь в деревню в 20-ти верстах от Ярославля; там нет холеры — итак, если у вас она еще продолжается, то приезжай сюда, поживи с нами несколько дней на даче, и поедем в деревню вместе; 240 верст от Москвы по шоссе. Охота там отличная, дом просторный — все удобства имеются, рады будут тебе сильно — хороший мой приятель Довго-Сабуров, страстный охотник (ярославский исправник), жаждет с тобой познакомиться и поохотиться, он говорил мне об этом еще весной. Напиши мне — если тебе понравится этот план, то он легко может быть приведен в исполнение. Будь здоров.

Твой

Н. Некрасов.

Р. S. Колбасину кланяйся [7]. Покуда ни у меня, ни в Петербурге нет денег. В августе я буду в Петербурге — и тогда добуду для него.

30 июня, 1855
Петровский парк

Скажи — понравятся ли тебе эти стихи:

К**

Давно отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам,
И полон думой роковою
Мгновенно кинулся к волнам;
Они приветливо яснели...
На край обрыва я ступил —
Вдруг волны грозно потемнели —
И тайный страх меня смутил!..
Поздней, любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда,
И ты благословляла волны,

Меня отвергшие тогда...
Теперь — один, забыт тобою.
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов —
И та же мысль приходит снова,
И на обрыве я стою....
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...

Это тоже ярославское произведение. Прощай.

31 июня

Подумай не шутя о поездке со мною. Я тебе обещаю превосходную охоту. Ты знаешь, что Ярославская губерния этим не бедна. А жизнь, *как дома*. Только вези Степана [8].

---

[1] Иноземцев Ф. И. — известный врач, профессор Московского университета.

[2] Речь идет о поэме «Саша».

[3] «Рубка лесу (Рассказ юнкера)»; опубликован в № 9 «Современника» за 1855 г.; см. также № 18.

[4] В ответном письме Тургенев сочувственно отнесся к замыслу Некрасова. «...Твоя жизнь именно из тех,— писал Тургенев,— которые... должны быть рассказаны, потому что представляют много такого, чему не одна русская душа глубоко отзовется». Однако в то время Некрасов не осуществил своего намерения. Его краткие автобиографические заметки были написаны, а частью продиктованы в 1870-е годы.

[5] В письме от 10 июля Тургенев просил Некрасова прислать ему экземпляр стихотворений Бернса и привел один из частых у Бернса стихотворных метров. Переводы Некрасова из Бернса неизвестны.

[6] С 12 мая по 1 июня 1855 г. у Тургенева в Спасском гостили В. Боткин, Григорович и Дружинин. Там был написан ими для домашнего театра фарс «Школа гостеприимства». Позднее на его основе Григорович написал одноименную повесть. Отзыв Некрасова о ней см. в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 г.» (с. 209).

[7] Колбасин Е. Я.— приятель Тургенева, критик и беллетрист, с 1855 г.— сотрудник «Современника». В это время жил в Спасском у Тургенева.

[8] Слуга Тургенева.

17. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<12 августа 1855 г. Москва>

Любезный Тургенев, мне совестно, что мы так давно к тебе не писали, и хоть в сию минуту некогда — одна-

ко напишу хоть несколько строк. В 1-х, спасибо тебе за твое письмо. В 2-х, рады мы с Боткиным, что ты повесть кончил [1], и нетерпеливо желали бы ее прочесть поскорее (кстати: если нет особых причин к замедлению ее напечатания, то 10 № «Современника» жаждет принять ее в свои объятия, или XI). Но вот в чем дело — мы в сию минуту все разъезжаемся: Боткин в Нижний, я в Ярославль; итак, если прежде печатания вздумаешь прислать кому из нас повесть на прочтение, то Боткина не найдешь в Москве ранее 1-ых чисел сентября; я же к 20 августа буду в Петербурге. Решительно не знаю, что с собой делать касательно поездки. Мне предстоит или уехать как можно скорее за границу, или на 8 месяцев запереться в четырех стенах. На днях на что-нибудь решусь и тебе напишу. Если вздумаешь прислать мне свою повесть лишь для прочтения, то я сумею обуздать в себе рвение журналиста и спишусь с тобой и даже, если велишь, рукопись обратно вышлю. Знаешь ли, теперь можно тиснуть твоего «Нахлебника» [2] — да и «Постоялый двор» [3] — а роман-то твой? [4] Ты, кажется, о нем не думаешь, а я решительно утверждаю, что первые его четыре главы превосходны и носят на себе характер той благородной деятельности, от которой, к прискорбию, так далеко отошла русская литература. Я велел Базунову отослать тебе 2 том «Мер<твых> душ». Вот честный-то сын своей земли! Больно подумать, что частные уродливости этого характера для многих служат помехою оценить этого человека, который писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в этой борьбе, и талант, положим, свой во многом изнасиловал, но каково самоотвержение! Как ни озлобляет против Гоголя все, что нам известно из закулисного и даже кой-что из его печатного [5], а все-таки в результате это благородная и в русском мире самая гуманная личность — надо желать, чтоб по стопам его шли молодые писатели в России. А молодые-то наши писатели более наклонны идти по стопам Авдеева. Грустно! И нет человека во всей литературе, нет критика, который хоть немного растолковал, куда ведет путь, проложенный Авдеевым и т. под. [6]

Прощай, некогда. Я напишу на днях. Бёрнса тебе послал [7].

Твой

Н. Некрасов.

---

[1] В письме от 25 июля Тургенев сообщил, что «вчера кончил большую повесть листов в 7 печатных». Эта повесть — «Рудин», опубликована в «Современнике» в 1856 г., №№ 1—2.

[2] В 1849 г. комедия Тургенева «Нахлебник», предназначенная для «Отечественных записок», не была пропущена цензурой. Под измененным названием — «Чужой хлеб» с другими переделками и цензурными искажениями она была напечатана в № 3 «Современника» за 1857 г.

[3] Рассказ опубликован в № 11 «Современника» за 1855 г. с цензурными искажениями.

[4] «Два поколения» (см. прим. 3 к № 10).

[5] Вероятно, имелись в виду «Выбранные места из переписки с друзьями».

[6] В 1854 г. появилась рецензия Чернышевского на «Романы и повести» М. Авдеева. Чернышевский критиковал Авдеева за отсутствие содержания и мыслей, принадлежащих «современной жизни». Из записей А. Н. Пыпина, сделанных в период предсмертной болезни Некрасова, видно, что поэт в 1877 г., спустя почти четверть века, вспоминал эту статью и высоко оценивал ее.

[7] См. прим. 5 к № 16.

18. Л. Н. ТОЛСТОМУ

2-го сентября 1855 г. СПб.

Милостивый государь

Лев Николаевич!

Я прибыл в Петербург в половине августа, на самые плачевные для «Современника» обстоятельства. Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша статья [1], испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то Ваш, конечно, не пропадет... он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде, среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил ее. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление Вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда — правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в

русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в Вашем даровании. Это правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с Вами того, что с большею частью из нас: не убили в Вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России. Вы молоды; идут какие-то перемены [2], которые — будем надеяться — кончатся добром, и, может быть, Вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. Однако я отвлекся от цели письма. Не буду Вас утешать тем, что и напечатанные обрывки Вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде,— это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно, что статья не была бы напечатана, если б это не было необходимо. Но имени Вашего под нею нет.

«Рубка леса» прошла порядочно, хотя и из нее вылетело несколько драгоценных черт [3]. Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; все остальное принадлежит Вам, и никем, кроме Вас, не могло бы быть написано [4]. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он *нов*, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы все, что знаете об этом предмете,— все это будет в высшей степени интересно и полезно [5].

Панаев передал мне Ваше письмо, где Вы обещаете нам скоро прислать «Юность». Пожалуйста, присылайте. Независимо от журнала я лично интересуюсь продолжением Вашего первого труда. Мы приготовим для «Юности» место в X или XI кн<иге>, смотря по времени, как она получится.

Деньги Вам будут на днях посланы.

Я поселился на зиму в Петербурге и буду рад, если Вы напишете мне несколько строк при случае.

Примите уверение в моем искреннем уважении.

Н. Некрасов.

Мой адрес: в Малой Конюшенной, дом Имзена, или в контору «Современника».

---

[1] Имеется в виду «Севастополь в мае». Опубликован в № 9 «Современника» за 1855 г. под названием «Ночь весною 1855 г. в Севастополе», без подписи. Прочитав рассказ, Некрасов писал Тургеневу 18 августа: «Толстой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать ее печатать». Уже набранный рассказ просматривал сам председатель Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин, после чего собственноручно переделал его, изуродовав до неузнаваемости. И. И. Панаев писал Толстому, что в таком виде он не хотел печатать рассказ, но Мусин-Пушкин обязал его сделать это.

[2] В связи со смертью Николая I и поражением царизма в Крымской войне.

[3] Рассказ опубликован в № 9 «Современника» за 1855 г., рукопись не сохранилась, поэтому полного представления о цензурных купюрах мы не имеем.

[4] Это утверждение Некрасова — ответ на письмо Толстого от 14 июня 1855 г., присланное в редакцию. Сообщая о своем желании посвятить рассказ Тургеневу, Толстой писал: «Эта мысль пришла мне потому, что, когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам».

[5] Ср. отзыв Некрасова о «Рубке леса» в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» (с. 222—223).

19. В. П. БОТКИНУ

16 сентября <1855 г.> СПб.

Любезный друг, прочел я, что пишет тебе Дружинин о Гоголе и его последователях, и нахожу, что Друж<инин> просто врет и врет безнадежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно. Хорош, привел он, между прочим, пример: Гомера! [1] Да не лучше ли бы гораздо оглянуться около себя,— где у нас (да и в Европе теперь) такие таланты, чтоб можно было наслаждаться их художественностью, забыв о времени, обществе и т. д. Дарования всегда разделялись и будут разделяться на два рода: одни — колоссы, рисующие человека так, что рисунок делается понятен и удивителен каждому без отношения к месту и времени (та-

ковы Шекспир, пожалуй, отчасти наш Пушкин и т. под.), другие: которые не могут иначе понять и изображать человека, как в данной обстановке и т. д.— и как рыба может жить только в воде, так эти другие, то есть их таланты, могут проявлять жизнь, давать плод только под условиями известных качеств воздуха, которым дышат они. Дружинин поглядел бы прежде всего на себя. Что он произвел изрядного (в сфере *искусства*)? — «Полиньку Сакс» [2], но она именно хороша потому, что в ней есть то, чего нет в дальнейших его повестях. И кабы Дружинин продолжал идти по этой дороге, так, верно, был ближе даже и к *искусству*, о котором он так хлопочет. Мне кажется, в этом деле верна одна только теория: люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству... Эту теорию оправдали многие великие мира сего и оправдывают лучшие теперешние писатели Англии и России. Впрочем, будет об этом. Если вздумаю писать фельетон, то разовью кое-что из этого.

Ты уже, я думаю, прочел *«Артель»* Писемского. В этой вещи есть несколько физиономий русских мужиков, очень верно схваченных,— вот его хорошая сторона; но жаль, что это потоплено в ненужной и утомительной болтовне, составляющей, так сказать, *приступ* и *заключение*. Мне показалась эта вещь *скучна* в целом — вот обстоятельство печальное! Ведь я аматер, вообразим же простого читателя? Еще: вкусу в этой вещи мало и претензии очень много. Вообще друг наш И. С. оказал плохую услугу Писемскому: он так хвалил «Артель», что заставил ждать чего-то необыкновенного, а вещь-то так себе: любой рассказ из «Зап<исок> охот<ника>» поспорит с нею. У Писемского иногда больше меткости в языке, больше подслушанных у самого народа фраз, но у Тургенева всегда больше ума, не говоря уже о преимуществах второстепенных: вкусе, такте и т. под. Рассказ о свадебных обрядах, вставленный в *«Артель»*, удивил меня особенно потому, что Писемский тоже разделяет дружининскую теорию об искусстве для искусства (прочитав наш фельетон [3], он, говорят, сказал, что сам так думал, когда был мальчишкой); и вообще этот

рассказ тут неуместен и увеличивает главное горе повести — скуку. Нет, эта штука не повеяла на меня здоровой и крепкой жизнью, и я отозвался бы о ней резче, кабы не боялся, что ты заподозришь журнальные отношения и т. под. (А Тургенева он просто надул мастерским чтением!) Перечти *«Питерщика»* того же Писемского, и ты поймешь, чего недостает *«Артели»*. Впрочем, прав ли я? Хочу знать твое мнение об «Артели» [4].

Когда ты приедешь! — Да не бросил ли ты опять в долгий ящик мысль об издании *«Пис<ем> об Исп<ании>»*? [5] Нет, этого я не позволю. Привози книгу, готовую к печати — надо выпустить к ноябрю. Я займусь этим делом с любовью, потому что уверен: окажу услугу публике. Прощай. Пиши хоть понемножку.

Весь твой

Н. Некрасов.

Скажи спасибо Солд<атенкову> — я деньги получил [6].

---

[1] Некрасов отвечал на письмо Боткина, в котором тот цитировал обращенные к нему слова Дружинина: «...Гомер не хотел править никого, а читая его, больше научишься, чем от всех последователей Гоголя...», и далее — о «молодом литературном поколении», возглавляемом Чернышевским: «Если мы не станем им противодействовать,— они ...повредят литературе и, желая поучать общество, нагонят на нас гонение и заставят нас лишиться того уголка на солнце, который мы добыли себе потом и кровью».

[2] В повести Дружинина «Полинька Сакс» Белинский отмечал талант, «сознательное понимание действительности», «много истины и душевной теплоты».

[3] В «Заметках о журналах за июль месяц 1855 года» Некрасов и Боткин писали: «Нет науки для науки, нет искусства для искусства».

[4] В письмах от 14 и 19 сентября Боткин отрицательно отозвался о «Плотничьей артели» Писемского. Некрасов подробно писал об этом произведении также в письме Тургеневу от 17 сентября 1855 г.

[5] См. прим. 3 к № 23.

[6] Солдатенков К. Т.— книгоиздатель. В 1856 году он выпустил «Стихотворения» Н. Некрасова.

20. В. П. БОТКИНУ

<8 октября 1855 г. Петербург>

Боткин. Ради бога напиши мне о Грановском [1]. Сегодня принесли газету — я нечаянно прочел — и опом-

ниться не могу. Ни о ком я так не жалел после Б<елинского>, даже о Гоголе, может быть потому, что лично его не знал. Словно как я одурел,—всё мараю то стихи, то прозу [2]— у меня так всегда, не могу оставаться в бездействии, когда сильно потрясен. Но нет силы привести в порядок стихи, а то бы тебе прислал. И никто ко мне нейдет — вот уж 4-ый час сижу один — измаялся, думая, жалея, припоминая. К этой скорби примешивается другая — понятная. Нет! не живется у нас людям, которые всего нам нужнее! Я никак не думал пережить Грановского. Последнее мое свидание с ним живо помню. В день его отъезда в деревню я пришел к Шевалье, где они втроем (с Кетч<ером> и Пик<улиным>) обедали, и принес — ему на дорогу—только что полученный 6 № «Современника». Он прочел стих<отворение> *«Русскому писателю»*, очень похвалил и сказал несколько слов по поводу мысли, в них высказанной. И слова эти помню: их можно назвать его завещанием русским литераторам — по крайней мере, я им останусь верен [3].— Не много написал Грановский, но не писателя в нем жаль, в нем жаль профессора, и еще более человека — он поощрял людей быть честными — вот его заслуга! Его влияние далеко простиралось. В деятельности писателя не последнюю роль играет так называемое духовное сродство, которое существует между людьми, служащими одному делу, одним убеждениям. Иногда у изнемогающего духом писателя, в минуты сомнения, борьбы с соблазном,— в самых муках творчества встает в душе вопрос: да стоит ли мне истязать себя? Если и добьюсь чего-нибудь путного, кто оценит мой труд? Кто поймет, чего мне это стоило? Кто будет ему сочувствовать? Так, по крайней мере, бывало со мной, смешно приводить в пример себя, но я пишу, чтоб поверить мое чувство чувством другого,— и в эти минуты к кому с любовью, с верой обращалась мысль моя? К тебе, к Тургеневу, к Грановскому. В эти же минуты я всегда глубже жалел Б<елинского> (человек никогда не может отделаться от самолюбия!). Если это не мое только личное чувство, то вот где самое сильное, широкое и поистине чудное влияние чистой и прекрасной личности на современников! О Грановском можно сказать, что он уже тем был полезен, что жил, и это не будет преувеличено, а как вдумаешься в эти слова, так

ведь это величайшая похвала, какую можно сказать человеку!

Напиши или приезжай сам скорее.

Твой

Н. Некрасов.

18-го октября 1855
СПб.

---

[1] О неожиданной кончине Т. Н. Грановского 4 октября 1855 г. Боткин написал Некрасову через два дня, в письме от 6 октября.

[2] См. «Заметки о журналах за октябрь 1855 года» (с. 222—227); позднее образ Грановского возникнет у Некрасова в сценах из лирической комедии «Медвежья охота» (т. II, с. 171).

[3] Кетчер Н. X.— врач и переводчик, член кружка Белинского; Пикулин П. Л.— врач, журналист. Встреча, которую описывает Некрасов, произошла в Москве. Стихотворение «Русскому писателю» поэт позднее переработал и включил в текст «Поэта и гражданина» (т. I, с. 223).

21. В. П. БОТКИНУ

<24 ноября 1855 г. Петербург>

Спасибо тебе за твое письмо, а за все остальное и спасибо говорить не умею: это выше всяких благодарностей, и очень мало я это заслужил. Но ты, кажется, не умеешь ничему предаваться вполовину. Хотел бы тебе сказать много, да как-то неловко, потому что тут вмешалась существенная сторона [1], а не за нее, как она ни важна в моих обстоятельствах, я тебе особенно благодарен. В последнее время лучшие биения моего сердца принадлежат тебе — прими это как хочешь и как знаешь.— Не писал я тебе потому сначала, что хворал, а потом приехал — Л. Н. Т., то есть Толстой [2], и отвлек меня. Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе он, верно, понравится. Приехал он только на месяц, но есть надежда удержать его здесь совсем. Некрасив, но приятнейшее лицо, энер-

гическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился.

Читал он мне 1-ую часть своего нового романа — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии [3]. Обещал засесть и написать для 1-го № «Современника» «*Севастополь в августе*» [4]. Он рассказывает чудесные вещи. «Юность» еще не окончена [5].

А Тургенев славно обделывает «Рудина». Ты дал ему лучшие страницы повести, натолкнув его на мысль развить студенческие отношения Лепицина и Рудина. Прекрасные, сердечно-теплые страницы и — необходимейшие в повести!.. Теперь Тург<енев> работает за концом, который также должен выйти несравненно лучше [6]. Словом, повесть будет и развита и закончена. Выйдет замечательная вещь. Здесь в первый раз Тург<енев> явится самим собою — еще все-таки не вполне,— это человек, способный дать нам идеалы, насколько они возможны в русской жизни. Ты это сам увидишь, прочитав, каков теперь вышел Лепицин. Умница-то он большой, но и ветрогон изрядный и вывихнут сильно... Вырывая из себя фразерство, он прихватил и неподдельные живые цветы поэзии и чуть тоже не вырвал их! Всякий порыв лиризма — его пугает, безоглядная преданность чувству — для него невозможна. Все проклятая боязнь расплыться! Этим только я объясняю, почему поэзия его природы так мало отражалась доныне в его писаниях. Авось эта похабная боязнь пройдет, по крайней мере начинает проходить.

Спасибо ему. Он словно почувствовал, что после твоего отъезда — мне тяжеленько, и похаживает-таки и посиживает.

Привел он раз ко мне Писемского да сам скоро и ушел. А Пис<емский> просидел долго за полночь, уничтожив все запасы вина, какие были. Уж говорил, говорил! Признался, что тебя не любит, но что читал твою статью о выставке [7] с наслаждением, ибо чувствовал-де, что человек пишет с любовью и кладет в работу часть своего сердца. Это его слова. А о Карлейле [8] Колбасин [9] приносит целые коробы известий, так что я и не припомню. Но если тебя интересует, так я скажу ему, чтоб он сам тебе написал. Тургенев тоже что-то говорил — эта вещь точно шумит, и это показывает, что русскую пуб-

лику еще можно расшевелить. Главное — статья много говорит молодому, не успевшему съежиться сердцу, а молодежь — мастерица трубить. С нее все начинается! — Вчера Тургенев прибежал ко мне впопыхах — сочини да сочини адрес Щепкину, а он тем временем побежал скликать литераторов, чтоб подписали, ибо юбилей в субботу и надо немедленно отправить. И отправили. Я думал, он пошлет к тебе, а сегодня узнал, что он послал к Погодину: говорит, что Погодин по телеграфу просил его об этом. Сочинил-то я что-то довольно сносное и горячее, но дело приняло официальный характер, обрезали — и вышло что-то плосковатое [10]. Напиши нам, что будет на юбилее — и, если успеешь, напиши так, чтоб можно было напечатать в XII № [11]. Будь здоров. Спасибо, что работаешь, и целую за ответ твой новым журналистам [12].

Некрасов.

Ноябрь,
24, ночь

Р. S. Не сглазить бы, а подписка *повалила!* И сколько *новых*,— понять не могу, что из этого выйдет.

---

[1] Боткин поддержал «Современник» материально в трудный для редакции момент.

[2] Толстой приехал из армии в Петербург 21 ноября 1855 г.

[3] Вероятно, начало «Казаков».

[4] «Севастополь в августе 1855 года» опубликован в № 1 «Современника» за 1856 г. Это первое произведение, напечатанное за полной подписью: «Граф Л. Толстой».

[5] См. прим. 4 к № 24.

[6] В октябре — декабре 1855 г. Тургенев неоднократно читал свой роман в литературных кругах и, прислушиваясь к замечаниям, переделывал его. В следующем письме Боткину (от 7 февраля 1856 г.) Некрасов писал: «Я сейчас прочитал «Рудина», вторую часть (хочу писать о нем), ей-богу, это очень хорошо,— нет, уж мы очень загнали нашего седого Митрофана! И эпилог хорош и верен...» Лепицин — впоследствии Лежнев.

[7] «Выставка в императорской Академии художеств» — «Современник», 1855, № 1.

[8] Карлейль Т. «О героях и героическом в истории», перевод В. П. Боткина — «Современник», 1855, № 10.

[9] О Колбасине — см. прим. 7 к № 16.

[10] «Письмо петербургских литераторов к М. С. Щепкину по случаю его пятидесятилетнего юбилея». Под письмом — 27 подписей. Опубликовано в № 12 «Современника» за 1855 г. Погодин М. П.— историк, профессор Московского университета, издатель журнала «Москвитянин».

[11] Боткин писал Некрасову, что «был праздник Щепкину великолепный», но очерк о юбилее артиста в «Современнике» не появился.

[12] В письме от 18 ноября Боткин сообщал Некрасову о том, что редактор «Русского вестника» М. Н. Катков хотел назвать его имя в объявлении о сотрудниках своего журнала. На это Боткин отвечал, что труды его принадлежат Некрасову.

22. В. Н. БЕКЕТОВУ

<29 марта 1856 г. Петербург>

Почтеннейший Владимир Николаевич,

Бога ради, восстановите вымаранные Вами страницы о Белинском [1]. Это слишком печальное действие, и я надеялся и надеюсь от врожденного Вам чувства справедливости, что Вы не будете гонителем беззащитного и долго поруганного покойника — хотя в том случае, где Вам прямо не предписывает этого Ваша обязанность. Нет и не было прямого распоряжения, чтоб о Белинск<ом> не пропускать доброго слова, равно не было велено и ругать его. Отчего же ругать его могли и ругали, а похвалить считается опасным?.. Вам принадлежит честь первого печатно пропущенного доброго слова о Белинском (в статьях о Пушкине) [2]. С тех пор много говорилось о нем в «Современнике» хорошего (не называя его), даже в «Отечеств<енных> зап<исках>» (в двух статьях) были добрые отзывы о нем [3], в «Петерб<ургских> вед<омостях>» упоминалась и самая его фамилия... Что ж, разве из всего этого вышло что-нибудь дурное? Нет, и, я убежден, ничего не выйдет: у кого достанет духу подымать гонение за доброе слово о человеке, уже лежащем в земле, особенно в теперешнее время? Что же Вас вдруг смутило? Цензор Фон-Крузе в Москве пропустил сочинения Кольцова с биографией, писанной Белинским и подписанной его именем [4]. Вот и еще факт.— Самое худое, что может случиться, что после напечатания этих страниц — не велят хвалить Белинского. Ну, тогда и перестанем, а теперь умоляю Вас поступить с прежней снисходительностию. Да я убежден, что ничего и не выйдет, ибо, если б чему-нибудь быть, то было бы после статей о Пушкине, где о Белинск<ом> говорилось

еще больше и с некоторым увлечением, тогда как здесь тон спокойный, ничего не задевающий и никого не раздражающий. Будьте друг, лучше запретите мою «Княгиню»[5], запретите десять моих стихотворений кряду, даю честное слово: жаловаться не стану даже про себя.

Отец родной, пробегите эти страницы и решите спокойно: могут ли они кого-нибудь раздражить и вызвать бурю? Клянусь, нет. В них только повторено то, что уже Вы пропустили прежде в разбивку в нескольких статьях.— Но, бога ради, не носите этого вопроса в комитет — это пойдет тогда в долгий ящик и притом будет похоже на вопрос: а не высечь ли еще такого-то? на который чаще всего говорится: высечь. Зачем сечь тех, кого можно не сечь? А если им суждено быть высеченными, то пусть это случится как можно позже и не по нашей вине.

Я хотел сегодня сам к Вам приехать, но, говорят, погода хуже, и езда через Неву меня испугала.

Душевно Вас уважающий

29 марта 1856 *Н. Некрасов.*
СПб.

Бекетов Владимир Николаевич — цензор петербургского цензурного комитета.

[1] Речь идет об «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, печатавшихся в «Современнике» с конца 1855 до конца 1856 г.

[2] Имеются в виду статьи, написанные также Чернышевским — «Современник», 1855, №№ 2, 3, 7 и 8. Высказано предположение, что эти статьи создавались в творческом содружестве с Некрасовым.

[3] Вероятно, имеются в виду статьи: В. П. Гаевского об анненковском издании Пушкина («Отечественные записки», 1855, № 6) и А. Ф. Писемского о втором томе «Мертвых душ» Гоголя (там же, № 10).

[4] Второе издание стихотворений А. В. Кольцова со статьею Белинского вышло в Москве, в марте 1856 г. Первое издание было подготовлено в 1846 г. при участии Некрасова.

[5] Стихотворение опубликовано в № 4 «Современника» за 1856 г.

23. В. П. БОТКИНУ

<16 июня 1856 г. Ораниенбаум>

Милейший Васинька, ты вправе обругать меня свиньей, что не писал тебе и даже спасибо не сказал за

избавление меня от работы, то есть за исправление статьи Бодиско[1]. Дней десять, как я воротился к путному образу жизни, и впредь буду не так гнусен в отношении к приятелям. Пиши мне, пожалуйста. Явился Григорович. В числе разных сплетен он сообщил, что Островский будто ужасно сердится за резкое мнение о Филиппове[2]. Напиши, в какой степени это справедливо. Однако, если и так, то я все-таки скажу, что «Современник» — по крайней мере, пока я в нем — не будет холопом своих сотрудников, как бы они даровиты ни были. Начни вникать, кто кому друг, так зайдешь черт знает куды. К тебе едет Панаев, и ты узнаешь от него, что по настоянию доктора я здесь остался до 15-го августа. Живу на даче. Холодно и скучновато.

А что ж «Письма об Испании»?[3] Сделай милость, пришли мне их. Я их еще при себе издам. Чем тебя понудить? Ну хоть тем, что, издав их, я добыл бы несколько денег, которые теперь мне не были бы лишними и которые я потом мог бы возвратить тебе.

Книгу моих стихов пропустили великолепно. Я пишу Солдатенкову, чтоб он позволил мне самому печатать ее здесь, а я ему вышлю все до единого экземпляра и счет, что будет стоить издание[4]. Не знаю, согласится ли и на это сей меценат. Вот тебе стихи, которые я третьего дня написал:

* * *

«Самодовольных болтунов,
Охотников до споров модных,
Где много благородных слов,
А дел не много благородных —
Ты откровенно презирал,
Ты не однажды предсказал
Конец велеречивой сшибки
И слово «русский либерал»
Произносил не без улыбки.
Ты силу собственной души
Бессильем их надменно мерил
И добродушно ей ты верил...
И точно, были хороши
Твои начальные порывы:
Озолотил бы бедняка!
Но дед и бабка были живы,
И сам ты не имел куска.
И долго спали сном позорным
Благие помыслы твои,
Как дремлют подо льдом упорным
Речные вольные струи.

Ты их лелеял на соломе
И только применять их мог
Ко псу, который в жалком доме
Пожитки жалкие стерег.
И правда: пес был сыт и жирен
И спал все, дворнику назло...
Теперь... теперь твой круг обширен,
Взгляни: богатое село
Стоит обставлено скирдами,
Спускаясь по горе к ручью,
А избы полны мужиками...»

Въезжая в вотчину свою,
Такими мыслями случайно
Был Решетилов осажден,
И побледнел необычайно
И долго озирался он...

Они позволены [5]. Будь, голубчик, здоров. Прощай. Пиши.

Некрасов.

16 июня

---

[1] 15 мая Боткин писал Некрасову: «Сегодня посылается... статья Бодиско, мною просмотренная и... выправленная». Бодиско В. К.— сын русского посланника в Соединенных Штатах, в 1856 г. в «Современнике» публиковались его «Письма из Америки» (№№ 3, 4 и 5).

[2] В «Заметках о журналах за май 1856 г.» Чернышевский резко отозвался о статье славянофила Т. И. Филиппова, посвященной комедии Островского «Не так живи, как хочется» («Русская беседа», 1856, № 1).

[3] Отдельные «письма» из этого цикла Боткина печатались в «Современнике» 1847—1851 гг. Некрасов получил рукопись книги накануне своего отъезда за границу (выехал 11 августа 1856 г.). Она вышла в свет в начале января 1857 г.

[4] «Стихотворения» Некрасова печатались в Москве.

[5] Стихотворение напечатано в № 9 «Современника» за 1856 г. (см. т. I, с. 222).

24. Л. Н. ТОЛСТОМУ

<22 июля 1856 г. Ораниенбаум>

Не сердитесь, Лев Николаевич, что я Вам долго не отвечал на Ваши письма. Приезд Тургенева был отчасти тому причиною — мы предавались болтанию на прощанье с удвоенной яростью. Вчера мы его проводили за

границу. Какую он чудесную повесть написал! («Фауст»). Жаль только, что не кончил — и увез с собою за границу[1]. Он говорит, что вещь Вашего брата очень хороша, очень я этому рад. Все дело теперь зависит от Вас: будьте столь любезны ко мне и к «Современнику» — обделайте ее к 1-м числам августа и вышлите,— она необходима на 9-й № «Совр<еменника>»[2], к ней еще прибавим два маленькие очерка Григоровича[3] (больше он не успеет написать), и книга будет хорошая. Дайте мне знать, к какой книжке можно рассчитывать на «*Юность*»[4]. Да еще вот что: что же мы будем печатать в 1-м №? — мы общим голосом решили, что надо Вам писать для него. Подумайте об этом — я все боюсь, чтоб, вместо удвоенного участия в «Современнике»[5], все вы не сложили руки. На последние книжки 1856 года у меня есть в виду:

На № 9 — *рас<сказ>* Вашего брата
«*Очерки*» Григоровича.

На № 10 — Ваша «*Юность*»

На № XI — «*Фауст*» Тург<енева> и
«*Не сошлись характ<ерами>*» Островск<ого>[6],

(Или наоборот: «Фауст» в X, а «Юность» в XI, как успеете,)

На № XII — «*Лир*» Дружинина[7], и
«*Очерки*» Григоровича.

А начиная с 1-го № ровно пока ничего. Надо, надо Вам писать.

О том, что в Ваших письмах, хотел бы поговорить на досуге. Но ни с чем я не согласен. Особенно мне досадно, что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным. Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве. Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени

перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов?[8] И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше,— то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину. Напишу Вам еще на днях. Об этом мне не скучно писать, да теперь нет времени. Что такое Вы пишете мне о деньгах,— то выдать, то не надо?[9] Напишите. Я еду 16-го августа. Денег у меня лишних нет. Но, я думаю, эту сумму можно будет дать.

Рад я об Лонгинове и не сомневался, что Вы дойдете до истины. Избыток гордости и упрямства — Вам временно заволокли зрение. Я, кажется, Лонгинова не увижу перед отъездом, да и, во всяком случае, ловко ли, чтоб я ему говорил?[10] Скажите сами или поручите В. Боткину, когда поедете через Москву.

Будьте здоровы. Напишите мне.

Ваш

Некрасов.

---

[1] Повесть опубликована в № 10 «Современника» за 1856 г. 31 июля Некрасов писал А. А. Фету: «...какую он повесть написал! Я всегда думал, что с этого малого будет прок, но, право, удивился и, разумеется, сильно обрадовался. У него огромный талант, и коли правду сказать,— так он в своем роде стоит Гоголя. Я теперь это положительно утверждаю. Целое море поэзии могучей, благоуханной и обаятельной вылил он в эту повесть из своей души, а зачем он так долго держал ее у себя и выдавал так скупо — спросите его, седого гуся! Повесть называется «Фауст» — это заглавие ничего Вам не скажет, но повторяю: повесть — чудо!»

[2] «Охота на Кавказе» Н. Н. Толстого появилась в «Современнике» лишь в начале 1857 г. (в № 2).

[3] Имеются в виду «Очерки современных нравов» Григоровича («Современник», 1857, № 3).

[4] Опубликована в № 1 «Современника» за 1857 г.

[5] Речь идет об «обязательном соглашении», которое Некрасов заключил в 1856 г. с Толстым, Тургеневым, Григоровичем и Островским. Согласно соглашению, эти писатели за свое исключительное сотрудничество в «Современнике» приобретали право на «наблюдение за общими выгодами и интересами» и на участие в прибылях от издания журнала. Договор не дал ожидаемых результатов и в 1858 г. был расторгнут.

[6] Пьеса Островского напечатана в № 1 «Современника» за 1858 г.

[7] Перевод «Короля Лира» Шекспира появился в № 12 «Современника» за 1856 г.

[8] Некрасов отвечает на письмо от 2 июля 1856 г., в котором Толстой упрекал его как редактора за то, что Некрасов «упустил

Дружинина» из союза «Современника» и доверил критику Чернышевскому. Нападки на Чернышевского переросли у Толстого в обвинения всей современной литературе, ее обличительному направлению: «У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе утвердилось мнение, что быть *возмущенным, желчным, злым* очень мило. А я нахожу, что очень скверно. <...> Человек желчный, злой, не в нормальном положении».

[9] В письме от 29 июня Толстой просил денег у Некрасова на приобретение бумаги для печатания в Петербурге книг «Отрочество» и «Военные рассказы». В письме от 2 июля Толстой писал: «О бумаге, что я просил Вас, теперь не нужно, я получил деньги».

[10] В марте 1856 г. Толстой послал М. Н. Лонгинову вызов на дуэль. Усилиями Некрасова дуэль удалось предотвратить. 2 июля Толстой писал, что просит «от души... извинения» у Некрасова. «Ежели Вы будете видеться с Лонгиновым, то Вы меня одолжите, объяснив ему дело и показав ему хоть то, что я Вам пишу».

25. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

<10 августа 1856 г. Петербург>

Милостивый государь

Николай Гаврилович,

Уезжая на долгое время, прошу Вас, кроме участия Вашего в разных делах «Современника», принимать участие в самой редакции журнала и сим передаю Вам мой голос во всем, касающемся выбора и заказа материалов для журнала, составления книжек, одобрения или неодобрения той или другой статьи и т. д., так, чтоб ни одна статья в журнале не появлялась без Вашего согласия, выраженного надписью на корректуре или оригинале.

Вам душевно преданный

Н. Некрасов.

СПб. 1856. Августа 10

Условия с г. Чернышевским

1) Писать статьи для отделов критики и библиографии и заведовать этими отделами.

2) Составлять статьи для отдела Наук и Смеси.

3) Составлять иностр<анные> известия.

4) Читать вторые корректуры всего журнала.

5) Принимать участие в заготовлении материалов и редакции журнала.

6) Писать «Заметки о журналах».

Г-ну Чернышевскому получать 3000 руб. сер. в год, то есть по 250 р. сер. в месяц, а расчет производить в конце года по листам за статьи (в нынешнем году по 40 р. сер. с листа, а в будущем от 40 до 50-ти, смотря по подписке; за остальные труды — мера вознаграждения будет определена после, по взаимному согласию).

Н. Некрасов

26. Л. Н. ТОЛСТОМУ

Вена <22 августа>/3 сентября 1856 г.

Любезный Лев Николаевич. Несказанно был я доволен и тронут, получив Ваше последнее письмо накануне отъезда моего из Петербурга. Отвечать оттуда не успел, но оно со мной, и здесь еще раз я его перечел и с любовью думал о Вас. Пожалуйста, не смешивайте во мне официального человека — да еще бедного, да еще не умеющего выдерживать роли — с мной самим,— тогда, может быть, Вы меня точно полюбите, впрочем для этого Вам еще нужно меня покороче узнать. Но покуда в одном не сомневаюсь, что недругами мы быть не можем и не будем. Что до меня, то ничто случившееся со времени нашего знакомства с Вами не убавило во мне симпатии к той сильной и правдивой личности, которую я угадывал по Вашим произведениям, еще не зная Вас. На мои глаза, в Вас происходит та душевная ломка, которую, в свою очередь, пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только — к выгоде или невыгоде — отсутствием скрытности и пугливости. Признаюсь, я лично люблю такие характеры и для меня самая дикая крайность, самое безобразное упорство (в данную минуту) лучше апатического «как угодно» или трусливого «сам не знаю». Но довольно об этом. Я не шутил и не лгал, когда говорил когда-то, что люблю Вас,— а второе: я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных.

О себе покуда еще ничего не могу Вам сказать. Не успел оглядеться, но теперь же скажу, что хорошо выскочить из своего муравейника и вдруг очутиться среди людей, которым до нас ровно никакого дела нет. Вена удивительно красива, великолепна и чиста. Адресуйте мне в Венецию poste restante впредь до моего уведомления. В Венеции я буду проездом, оттуда в Рим и в Неаполь, а где зимую, сам еще не знаю. Напишу. Будьте здоровы. Пишите мне. Не забывайте «Современника».

Весь Ваш

Н. Некрасов.

27. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Рим <21 сентября>/3 октября <1856 г.>

Милый Тургенев. Я писал из Вены к Фету — вероятно, он тебе сказывал: желал бы я от тебя получить весточку. Где ты будешь зимой? Хорошо ли живешь? Я целые 8-мь дней был доволен своей судьбой — это так много, что я и не ожидал. Девятый вал меня немного подшиб,— но в этом, кроме моей хандрящей натуры, никто не виноват. Полагаю, что если при гнусных условиях петербургской жизни лет семь мог я быть влюблен и счастлив, то под хорошим небом, при условии свободы и беспечности, этого чувства хватило бы на 21 год по крайней мере. А. Я.[1] теперь здорова, а когда она здорова, тогда трудно приискать лучшего товарища для беспечной бродячей жизни. Я не думал и не ожидал, чтоб кто-нибудь мог мне так обрадоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Должно быть, ей было очень тут солоно, или она точно меня любит больше, чем я думал. Она теперь поет и попрыгивает, как птица, и мне весело видеть на этом лице выражение постоянного довольства — выражение, которого я очень давно на нем не видал. Все это наскучит ли мне или нет, и скоро ли — не знаю, но покуда ничего — живется. Вот тебе очень откровенное, хоть, может быть, и не очень поэтическое решение того вопроса, который меня занимал, когда мы с тобой прощались.

О путешествии не умею ничего сказать. Не потому, впрочем, чтоб ровно ничего не заметил, а потому, что как-то сам еще плохо доверяю впечатлениям, которые испытываю, и мыслям, которые приходят в голову. Одно верно, что, кроме природы, все остальное производит на меня скорее тяжелое, нежели отрадное впечатление. В Ферраре забрел я в клетку, где держали Тасса [2], и целый день потом было мне очень гадко. Вся стена исцарапана именами приходивших взглянуть на тюрьму Тасса (то-то много ему от этого радости!). Я не посмел нацарапать своего имени там, где, между прочим, прочел имя Байрона, а хотелось.

Мне очень понравилась Венеция. Там я прожил 8 дней. В Риме я всего второй день. Сейчас едем в Фраскати. Погода удивительная, хочется зелени — думаю там нанять на месяц нечто вроде дачи — рано еще забиваться в городе в четырех стенах. Впрочем, хорошенько не знаю еще, что сделаю: может быть, пожив неделю или две в Риме, поеду в Неаполь — поживу там и тогда уже решу — в Риме или Неаполе просидеть зиму. Скажи это Фету, которого я целую, обнимаю и жажду видеть. Я его письмецо в Венеции получил. Если ему нечего делать в Париже, пусть едет к нам — нечего и говорить, что мы будем ему рады не менее, чем он нам. А ты? — Я бы тебе советовал на зимние месяца два-три приехать в Италию. Право, прожили бы их недурно и, может быть, что-нибудь сделали бы. Пиши мне тотчас ответ (и Фета о том же прошу). Я если и решусь ехать в Неаполь, то дождусь здесь вашего ответа.— Послал ли ты *«Фауста»* в Петербург? [3] — Да и с комедиями не мешкай [4]. Будь здоров.

Твой

Н. Некрасов.

Адресуй в Рим, poste restante.

---

[1] А. Я.— А. Я. Панаева.

[2] Итальянский поэт Торквато Тассо в 1579 г. за дерзкие слова по приказу герцога Феррары Альфонсо был закован в цепи и посажен в подвал госпиталя св. Анны, где помещались буйные сумасшедшие. Там он провел семь лет.

[3] См. прим. 1 к № 24.

[4] Задуманное Некрасовым издание драматических произведений Тургенева не осуществилось.

28. В. П. БОТКИНУ

Рим. <7>/19 окт<ября 1856 г.>

Милейший Васинька. Ты меня приводишь в отчаяние своим молчанием. Не рассердился ли ты на меня? Если б ты знал, как часто я здесь о тебе думаю с бесконечной нежностью, ты бы увидал, что нехорошо так долго молчать. Я здесь не то чтобы хандрю, но уж начинаю что-то быть не в духе, а, кажется, чего бы? Воздух чудный, природа красивая, кругом все ново и шевелит даже мое притупленное любопытство! Сказать тебе по секрету — но чур по секрету! — я, кажется, сделал глупость, воротившись к... Нет, раз погасшая сигара — не вкусна, закуренная снова!.. Сознаваясь в этом, я делаю бессовестную вещь: если б ты видел, как воскресла бедная женщина [1],— одного этого другому, кажется, было бы достаточно, чтоб быть довольным, но никакие хронические жертвы не в моем характере. Впрочем, совестно даже и сказать, чтоб это была жертва,— нет, она мне необходима столько же, сколько... и не нужна... Вот тебе и выбирай, что хочешь. Блажен, кто забывать умеет, блажен, кто покидать умеет — и назад не оглядывается... Но сердце мое очень оглядчиво, черт бы его побрал! Да и жаль мне ее, бедную... Ну, будет. Не показывай этого никому. Из этих малых штрихов твой умудренный сердечной опытностью глаз усмотрит во всей подробности узор, по которому плетется теперешняя моя жизнь. Впрочем, я в сию минуту в хандре. Сказать по совести, первое время я был доволен и только думал: кабы я попал с нею сюда ранее годами 5-тью — 6-тью,— было бы хорошо, очень хорошо! Да эти *кабы* ни к чему не ведут. Однако вот еще кабы. Кабы ты приехал, всё бы для меня просветлело. Напиши, друг, что-нибудь. Целую тебя.

Некрасов.

Адрес: в Рим, poste restante.

---

[1] А. Я. Панаева. Ср. в первоначальном варианте стихотворения «Слезы и нервы»:

...Мне не вкусна
Ни раз погасшая сигара,
Ни обманувшая жена.

29. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Рим. <9—17>/ 21<—29> октября <1856 г.>

Спасибо тебе за письмо, за добрые вести и за твое радение о «Современнике». Вместе с твоим я получил 2 письма — одно от Вульфа [1], другое от Чернышевского; оба они воздают хвалу твоей аккуратности, жалуясь в то же время на всех остальных: и на Островского, и на Толстого, и на Григоровича [2], которые по разным причинам или без всяких причин не исполнили своих обещаний. Но вот что они сделали: рядом с твоим «Фаустом» в X № «Совр<еменника>» они поместили «Фауста» [3] в переводе Струговщикова — понравится ли тебе это? кажется, ничего, а перевод Стр<уговщикова> довольно хорош, и авось русский читатель прочтет его на этот раз, заинтересованный твоей повестью, которую наверно прочтет. Чернышевский оправдывается в помещении двух «Фаустов» тем, что нечего было печатать, и очень боится, чтоб ты не рассердился.

Я живу так себе — ни худо, ни хорошо — или, вернее, то хорошо, то худо — полосами. Совет твой жить со дня на день очень хорош, но я как-то лишен способности наладиться на такую жизнь; день, два идет хорошо, а там смотришь — тоска, хандра, недовольство, злость... всему этому и есть причины и, пожалуй, нет... Писать об этом больше трудно, а поговорить когда-нибудь можно. Рим мне тем больше нравится, чем более живу в нем,— и я твержу про себя припев к несуществующей песенке:

Зачем я не попал сюда
Здоровей и моложе?

Да, хорошо было бы попасть сюда, когда впечатления были живы и сильны и ничто не засоряло души, мешая им ложиться. Я думаю так, что Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости,— в ком есть что-нибудь непошлое, в том оно разовьется здесь самым благодатным образом, и он навсегда унесет отсюда душевное изящество, а это человеку понужней цинизма и растления, которыми дарит нас щедро родная наша обстановка.— Но мне, но людям, подобным мне, я думаю, лучше вовсе не ездить

сюда. Смотришь на отличное небо — и злишься, что столько лет кис в болоте,— и так далее до бесконечности. Возврат к впечатлениям моего детства стал здесь моим кошмаром,— верю теперь, что на чужбине живее видишь родину, только от этого не слаще и злости не меньше. Всё дико устроилось в русской жизни, даже манера уезжать за границу, износивши душу и тело... Зачем я сюда приехал!

Чтоб больше жизни стало жаль... [4]

По наклонности к хандре и романтизму иногда раздражаюсь здесь от бесчисленных памятников человеческого безумия, которые вижу на каждом шагу. Тысячи тысяч раз поруганная, распятая добродетель (или найди получше слово) и тысячи тысяч раз увенчанное зло — плохая порука, чтоб человек поумнел в будущем. Под этим впечатлением забрался я третьего дня на купол св. Петра и плюнул оттуда на свет божий — это очень пошлый фарс — посмейся. Во мне мало здоровой крови. Жить для себя не всякий день хочется и стоит (с какой ноги встанешь с постели) — и тогда приходит вопрос: зачем же жить? Поживем для того, чтоб хоть когда-нибудь кому-нибудь было полегче жить,— отвечает какой-то голос, очень самолюбивый голос! Но когда он молчит, когда нет этой веры, тогда плюешь на все, начиная с самого себя. Ах, милый мой Тургенев, как мне понравились твои слова: «Наше последнее слово еще не сказано» — не за веру, которая в них заключается и которая может обмануть, а за готовность жить для других. С этой готовностью, конечно, сделаешь что-нибудь.

Я поджидаю Фета [5]; сегодня уж 29 октября (письмо это начато давно), а его что-то нет. Если и поеду в Неаполь, то не надолго. Жить зиму буду в Риме; теперешняя моя квартира не на солнце; ищу другую — и возьму такую, чтоб была лишняя комната для тебя, коли ты найдешь удобным у меня поселиться. Нечего и говорить, что я обрадовался ужасно надежде пожить с тобой в Риме. Не изменяй плана, разве в таком случае, если жаль будет покидать m-me В. [6]. Ну, тогда бог с тобою — увидимся в феврале — я думаю в феврале быть

в Париже. Здоровье мое изрядно, то есть я таков, каков был до потери голоса. А. Я.[7] тебя благодарит и кланяется. Прощай.

Твой

Некрасов.

29 окт.

---

[1] Вульф К. И.— служащий редакции «Современника», затем владелец типографии.

[2] Участники «обязательного соглашения». См. прим. 5 к № 24.

[3] В № 10 «Современника» за 1856 г. был опубликован «Фауст» Гете в переводе А. Н. Струговщикова.

[4] Реминисценция из стихотворения «Старушке» (1845): «Иначе было б жизни жаль...»

[5] Ср. №№ 30 и 31.

[6] Полину Виардо.

[7] А. Я. Панаева.

30. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<25 ноября>/7 декабря <1856 г.> Рим

Я не писал к тебе потому, что работал. 24 дни ни о чем не думал я, кроме того, что писал. Это случилось в первый раз в моей жизни — обыкновенно мне не приходилось и 24 часов остановиться на одной мысли. Что вышло, не знаю,— мучительно желал бы показать тебе,— даже, кажется, превозмогу лень, перепишу и отправлю к тебе в Париж. Скажи мне, пожалуйста, правду. Это для меня важно. Право, для меня прошло время писать из любви к процессу писания — хочу знать, надо ли и стоит ли продолжать? — потому что впереди еще очень много труда — было бы из чего *убиваться*, говоря словом Фета. Он мою вещь очень хвалит, но, кроме тебя, я никому не поверю.— Я — ты не откажешь мне в этом — дошел в отношении к тебе до той высоты любви и веры, что говаривал тебе самую задушевную мою правду о тебе. Заплати мне тем же. Пусть не стоит перед тобой призраком моя нетерпимость и раздражительность, которую я иногда обнаруживал при твоих замечаниях. Правда, я не легко отказываюсь от того, что признавал истинным и хорошим, но это не от слепо-

ты самолюбия — дельное слово гвоздем забивается в мою голову,— но мне надо убедиться, чтоб отказаться от своего. То, что я тебе пошлю, только шестая доля всей поэмы, но отрывок имеет цельность, и по нем ты будешь в состоянии судить. Завтра или послезавтра пошлю его тебе [1].

Прискорбно мне было читать известие о твоем пузыре, но авось он уже тебя не мучит — ты весел и работаешь? Если б ты знал, как мы с Фетом ждем тебя! У нас только и речи, что о тебе. Смотри же не надуй.— Ты получаешь «Современник», а я до сей поры нет. Мне пишут, что «Фауст» сильно гремит — в этом я был уверен; надеюсь, что мне скоро пришлют «Современник», и как я рад буду перечитать эту повесть. Столько поэзии, страсти и свету еще не бывало в русской повести. «Современник», кажется, идет хорошо. Чернышевский просто молодец, помяни мое слово, что это будущий русский журналист, почище меня, грешного, и т. п. Напиши Панаеву, что не один я бешусь, зачем он пачкает «Современник» стишонками Гербеля и Грекова [2], за что я ему написал на днях ругательство.

Говорят, вышли мои стихи, и мне пишут, будто 500 экз., присланные в Петербург с первым транспортом, разошлись в два дня [3] — это похоже на пуф. Вульф, верно, уже прислал тебе мою книгу. Когда ты будешь ее перелистывать, то увидишь, что я не поправил ничего, что ты мне заметил. Это произошло оттого, что мне опротивела рукопись, и я торопился ее сбыть.

В Париже есть г. Делаво, желающий писать в «Современнике». Закажи ему статью — нечто вроде: о современном состоянии французской литературы (и журналистики, пожалуй). По первой увидим, будет ли стоить печатать его статьи. Предложи ему по сту франков за лист или немного более — ведь нужно еще будет платить за перевод [4].

Здоровье мое плоховато — то есть не становится лучше. Общее состояние, кажется, даже слабее, чем было, но местных гадостей нет никаких, кроме довольно большого отделения мокроты. Погода здесь как у нас в сухую и ясную осень; бывают дни чисто летние. Мы с Фетом отправились было на охоту, но попали неудачно — вылет вальдшнепов был самый ничтожный, нашли все четырех — убили одного. Оно и хорошо, а то бы я

разлакомился. Нет, уж лучше подожду. Природа около Рима гадость (мы доезжали до самого моря).

Чернышевский просит меня поблагодарить тебя *за несколько одобрительных слов* твоих о нем в письме к Колбасину [5]. Что это, однако ж, за господин? Он очень умен, но пишет ко мне такие письма, из которых видно, что либо он сам глуп, либо почитает меня величайшим глупцом. Хотел бы я тебе показать, что он написал мне по поводу выхода моей книги [6].

Не имеешь ли ты известий от Толстого? Я отвечал на его письмо и с тех пор от него не имею известия. Боткин наконец написал мне несколько строк. Никто не умеет быть так неумолимо умен, как он, когда захочет, то есть когда найдет на него охота говорить правду. И так как его письмо не было следствием раздражительности, а, кажется, любви — то это злое письмо не пробудило во мне ничего, кроме благодарного чувства. На закуску вот тебе прелестнейшее стихотворение Фета, какими и он не часто обмолвливается.

У КАМИНА

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек,
Так плещет на багровом маке
Крылом лазурный мотылек.

Видений пестрых вереница
Влечет, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят.

Встают ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль [7].

Прощай, милый Тургенев. Будь здоров. Пиши.

Некрасов.

Мой адрес: Piazza di Spagna, № 32.

---

[1] Речь идет о поэме «Несчастные». Некрасов послал Тургеневу почти полностью вторую ее часть (со слов «В толпе строптивой// Меж нами был один...»), озаглавив ее «Крот». В примечаниях содержится краткое пояснение о том, что было в первой части.

[2] 5 ноября Чернышевский писал Некрасову: «Стихотворений особенно хороших... не было... количество вознаграждает за качество... в «Совр<еменнике>» № XI напечатаны 8 стихотворений А. К. Толстого, 2 Фета, 2 Грекова, 2 Вл. Павлова... 1 Гербеля: из Шиллера (этого, пожалуй, лучше бы не печатать...)».

[3] «Стихотворения» Некрасова, вышедшие в 1856 г.,— первый сборник после неудачной книги 1840 г. «Мечты и звуки». В него вошли лучшие стихотворные произведения из созданного поэтом за пятнадцать лет. Тургенев на основании известий из России писал Герцену «о громадном и неслыханном успехе стихотворений Некрасова»: «1400 экземпляров разлетелись в две недели; этого не бывало со времен Пушкина».

[4] Делаво — французский критик и переводчик русских писателей. Статей Делаво в «Современнике» нет.

[5] «От статьи Чер<нышевско>го,— писал Тургенев Д. Я. и Е. Я. Колбасиным 19/31 октября о шестой статье «Очерков гоголевского периода русской литературы»,— я пришел в умиление — пожмите ему от меня за нее руку. Чер<нышевски>й, без всякого сомнения, лучший наш критик и более всех понимает, что именно нужно; вернувшись в Россию, я постараюсь сблизиться с ним более, чем до сих пор».

[6] 5 ноября 1856 г. Чернышевский писал Некрасову по поводу выхода сборника: «Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех».

[7] Опубликовано в № 2 «Современника» за 1857 г.

31. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Рим. <6>/ 18 декабря 1856

Письмо твое застигло меня в самом разгаре работы и как варом обдало [1]. (Из Петербурга мне об этом не пишут.) Не знаю, буду ли в состоянии кончить работу, в которую думал вылить всю мою душу,— без первой половины то, что я послал тебе [2], не имеет того значения, какое, я надеюсь, получит вещь в целом. Признаюсь, она мне нравится. Глупый человек! Я воображал, что можно будет напечатать ее. О Тургенев! Зачем же жить,— то есть мне, которого жизнь — медленное, трудное умиранье. Впрочем, к черту хандра и скуление. Хоть для тебя — кончу. Панаев неисправим [3], я это знал. Гроза могла миновать «Современник», будь хоть ты там. Такие люди, как он, и трусят и храбрятся — всё некстати. Я не меньше люблю «Современник» и себя или мою известность,— недаром же я не решился поместить «Поэта и гражд<анина>» в «Современнике»? Так нет! надо было похрабриться. Впрочем, Панаева винить смешно: не гнилой мост виноват, когда мы проваливаемся!

О книге моей пишут чудеса,— голова могла бы закружиться. Когда я писал к тебе, я имел известие толь-

ко от Вульфа и Чернышевского — чего только не было там,— я даже рассердился,— но пришло письмо Панаева (к Ав. Як.) [4], и в нем то же. Неслыханная популярность, успех, какого не имел и Гоголь (!),— *приличный* Панаев, дозволивший себе такие выражения, заслуживал хоть вполовину доверия, и я порадовался. Твои слова много позолотили пилюлю, которую я проглотил в твоем письме. Впрочем, хорошо, что ты написал. Я уж хотел посылать на днях (до конца недалеко) мою поэму в Петербург на I книжку.— Кончивши, начну ее портить; может, и пройдет, если вставить несколько верноподданнических стихов [5].

Друг мой Тургенев, в твоих жалобах на пузырь послышалась мне и кольнула сердце неуверенность, что ты приедешь в Рим. Не сомневаюсь, что пузырь болит, но подумай окончательно, приедешь ли ты? — а то я приеду в Париж,— это намерение у меня было, да я оставил его в надежде, что ты сюда будешь. Здесь воздух чудо — тепло, как летом, большую часть дней (кроме ноября, который был дурен и холоден), но вряд ли полезен мне римский воздух,— как подует *широко* [6], так от волнения грудь теснит. Говорят, это признак хороший в больном, но вообще я чувствую себя слабее, чем когда-либо,— и это, говорят, хороший признак для начала; может быть! а я все-таки подсыхаю заметно. Работа доводит до изнеможения, да уж не брошу, не кончив. Пиши мне, что ты посоветуешь делать мне с моей вещью (я пришлю тебе на днях остальное) при теперешних ценз<урных> обстоятельствах. Панаев ничего не пишет и только просит настойчиво моих стихов для № 1-го. Будь я сам на месте, я бы знал, надолго ли подул tramontano [7] и что делать.

Спасибо тебе за разные твои известия, но что не пишешь, как идет твоя работа? Зачем у меня нет твоих сочинений! [8] Черт знает что делает Вульф! Привези их в Рим — да и «Современник». Мне и видеть его хочется и читать нечего. Пропорол слишком 1000 страниц «Ньюкомов» [9]. Люблю Теккерея. После тебя, это любимый мой современный писатель. Хотел вычеркнуть *после тебя*, но я теперь не в таком духе, чтоб говорить любезности. Это сорвалось — и пусть останется. Русский характер, или мой лично, странно устроен,— когда твоя всегда милая для меня личность со всем своим влияни-

ем на идущее сменить нас поколение стоит передо мной (а это часто бывает), кажется, сказал бы тебе много, а станешь говорить или писать — того гляди, слетит с языка злостная закорючка, а доброе слово мрет на языке или зачеркивается.

Ну, прощай. За этим письмом я развлекся от мыслей, которые нагнало на меня известие твое. Не хотел бы воротиться к ним — но и к поэме подойти дико. Нет! и мудрый Теккерей не все еще знает,— он не бывал в душе русского писателя.

Фет тебе кланяется, он сегодня у меня обедает. Жаль, он хочет уехать 18 января; а я один буду тебе плохой собеседник, каким всегда был,— да не испугает тебя это. Здесь есть еще два-три человека. Желаю, желаю, чтоб твое леченье шло хорошо. Дела сердечные — бог с ними! Когда же мы угомоним сердечные тревоги? Ведь ты уж сед, а я плешив!

Плещет меня не поразило[10]. Ав. Як.[11] тебе кланяется, я тебя целую и глажу.

Твой

Некрасов.

Пиши мне чаще — об этом очень прошу.

---

[1] Тургенев писал Некрасову о цензурных неприятностях, вызванных перепечаткой в «Современнике» из только что вышедшей книги Некрасова стихотворений: «Поэт и гражданин», «Забытая деревня», «Отрывки из путевых записок гр. Гаранского». Цензура запретила дальнейшие перепечатки входящих в книгу стихотворений, а также упоминание сборника в критике. Новое издание «Стихотворений» Некрасова было разрешено лишь через пять лет.

[2] Речь идет о поэме «Несчастные», см. прим. 1 к № 30.

[3] Хотя выбор стихотворений для перепечатки был сделан Чернышевским и им же была написана вводная заметка, предваряющая эту публикацию, Некрасов, Тургенев и другие сотрудники в своих письмах досадовали на Панаева как на более опытного редактора, допустившего такой промах в отношениях с цензурным комитетом. Отказ на ходатайство редакции о разрешении ввести в программу журнала политическое обозрение явился одним из следствий перепечатки стихотворений Некрасова.

[4] К Авдотье Яковлевне Панаевой.

[5] О творческой и цензурной истории поэмы «Несчастные» см. т. I, с. 350.

[6] Siroccо (итал.) — знойный ветер в средиземноморских странах.

[7] Северный ветер (итал.).

[8] Имеется в виду первое отдельное издание «Повестей и рассказов» Тургенева, вышедшее в конце 1856 г.

[9] В. Теккерей. Ньюкомы. История одной весьма достопочтенной семьи. Роман печатался как приложение к «Современнику» в 1856—1857 гг.
[10] В стихотворении Фета «У камина», см. предыдущее письмо.
[11] А. Я. Панаева.

32. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<18>/30 дек<абря> 1856. Рим

Получил твое письмо. Спасибо за доброе мнение о «Кроте» и за замечания на него — все они дельны и верны. Писать буду, хоть, кажется, мне грозит что-то не совсем хорошее по возвращении в Россию [1]. Напиши — не знаешь ли ты — откуда вышла буря: от министерства или докладывалось выше? [2]. А может, и так пронесет. Мы видывали цензурные бури и пострашней — при <Николае I>, да пережили. Я так думаю, что со стороны цензуры «Современник» от этого не потерпит,— к прежней дичи всё же нельзя вернуться. Иное дело со стороны литературной. За наступающий год нельзя опасаться — покуда есть в виду и в руках хорошие материалы, а что до подписки, то она будет, несомненно, хороша, но жаль, если союз пойдет на разлад [3]. Что сказать о Толстом, право, не знаю. Прежде всего он самолюбив и не способен иметь убеждение — упрямство не замена самостоятельности; потом ему еще хочется играть роль повыше своей; Панаева он не любит, и, как этот господин хвастливостью и самодовольствием мастерски умеет поддерживать к себе нерасположение, то, верно, теперь не любит еще более; при нынешних обстоятельствах, естественно, литературное движение сгруппировалось около Дружинина — в этом и разгадка. А что до направления, то тут он мало понимает толку. Какого *нового* направления он хочет? Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современ<ник>» — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому. Иное дело — может быть, Черныш<евский> недостаточно хорошо ведет дело — так дайте нам человека или пишите сами. Больно видеть, что

Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружин<иным> и Григоров<ичем>, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит всякий честный человек в России. А с чего приплетены тут денежные соображения? После этого я вправе сказать, что Толстой переходит на сторону Дружинина, чтоб скорее попасть в капитаны. И последнее правдоподобнее. Не знаю, как будет кушать публика г<...> со сливками, называемое дружининским направлением, но смрад от этого блюда скоро ударит и отгонит от журнала всё живое в нарождающемся поколении, а без этих сподвижников, еще готовящихся,— журналу нет прочности.

Однако все это ясно для нас, но не для Толстого. Чем его удержать? Не удержит его покуда хоть то, что он — при обстоятельствах, доныне не изменившихся,— подписал наше условие? Заставить журнал дать ложное обещание публично — поступок нехороший. Думаю на днях написать к нему.

О Дружинине ты думаешь верно — своя рубашка к телу ближе.

Сегодня я получил письмо от Черныш<евского>,— там есть нечто о тебе. Для краткости посылаю самое письмо. Кажется, Чернышевский прав — но если решишься послать повесть, то смотри напиши письмо в редакцию и требуй, чтоб его напечатали перед повестью [4].

Итак, если ты не приедешь сюда — я еду в Париж. Жду твоего письма. Напиши, однако, сколько ты думаешь еще пробыть в Париже и вообще за границей? Чтоб я мог сообразить свой выезд. Я все-таки желал бы тронуться не ранее февраля.— А то я было думал приехать в Париж весной, сделать консилиум — и оттуда в Ахен брать железные и серные ванны — а в июле в Россию.

Жаль мне тебя, Тургенев, но посоветовать ничего не умею. Знаю я, что значит взволнованное бездействие — все понимаю. Оба мы равно жалки в этом отношении.

Письмо меня утомило. Напишу еще на днях. Пожалуйста, не забрасывай журналов — хоть у тебя их прочту, а мне не высылают, книги моей тоже.

Будь здоров, голубчик. Обнимаю тебя.

Н. Некрасов.

Не надо ли денег. У меня есть.

Ав<дотья> Як<овлевна> тебе очень кланяется.

---

[1] Как вспоминал позднее Е. Колбасин, Некрасова по возвращении из-за границы собирались арестовать.

[2] Герцен писал в «Колоколе» (номер от 1 августа 1857 г.), что на стихи Некрасова стали жаловаться «воры и укрыватели воров большой руки — аристократическая сволочь нашла в книжке какие-то революционные возгласы, чуть не призыв к оружию... и снова дали волю цензурной орде с ее баскаками...».

[3] Имеется в виду «обязательное соглашение» (см. прим. 5 к № 24).

[4] 5 декабря Чернышевский известил Некрасова о «глупой выходке» Каткова против Тургенева: в объявлении о подписке на журнал Катков писал, что повесть «Призраки», обещанная «Русскому вестнику», появилась в «Современнике» под названием «Фауст». «По-моему,— считал Чернышевский,— Т<ургенев> должен был послать «Р<усскому> в<естнику>» обещанную повесть и сказать, что он прекращает всякие личные отношения с людьми, оскорбившими его не как писателя, а как человека». Однако Тургенев, узнавший о «выходке Каткова» еще до получения писем Чернышевского и Некрасова, направил письмо в редакцию «Московских ведомостей», написанное «в совершенно умеренном тоне», в котором объявил себя «свободным от обязанностей дать им <журналу «Русский вестник»> повесть». Это письмо по просьбе Тургенева было напечатано в «Современнике» (1857, № 1).

33. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Рим. <26 марта>/7 апреля 1857 г.

Я вчера воротился в Рим, хочу здесь посмотреть пасху — и поеду в Париж. В Неаполе прожил я три недели очень хорошо, везде был, даже влезал на Везувий и спускался в самый кратер (с Грибчиком[1], который тебе кланяется,— все это время он был неразлучен с нами, и только третьего дня мы расстались — он уехал морем во Флоренцию). Погода в Неаполе стояла отличная — поездки наши (не без средств *против* желудка) как-то все удавались, природа — чудо (особенно Соренто) — да ты все это сам видел; сущность в том, что я провел время хорошо. Когда нет душевной истины и свободы, такая жизнь только и возможна,— как где засидишься, так и хуже. О работе я забыл и думать — без вышеписанных элементов это самый безжалостный род насилия

из всех, какие мне доводилось делать над собою. А ты что? Я не писал тебе долго, частию от лени, частию потому, что надоел, чай, тебе и так в последнее время моим скуленьем, но о тебе хотелось бы знать больше. Получил в Неаполе твое письмо, говорят, было и другое, да отослали в Неаполь — а я уехал сюда. Надеюсь, мне его оттуда пришлют на днях. Дела в «Современнике» поправляются — третья книжка вышла лучше двух первых; подписка хороша, но, впрочем — не все ли равно? — повторю и я вслед за тобою. Мало, очень мало стал я надеяться на себя. Бродячая жизнь — не по моему характеру, а вряд ли не умнее ли бы мне было оставаться за границей как можно долее — что-то говорит сердцу, что там будет еще хуже. Посмотрим.

Живя, умей все пережить [2]

Ворочусь, попробую, авось и сумею! В конце этого месяца я буду в Париже — тебя там не застану, но ведь ты опять хоть на короткое время будешь же в Париже? Напиши мне в Париж из Лондона poste restante хоть два слова об этом. Я бы прислал тебе денег для покупки мне собаки и ружья. В Россию поеду в конце июля. Право бы, нам съездить на охоту в мою деревнишку, Влад<имирской> губ<ернии> — там дичи-то, дичи! Кланяюсь Толстому и Орлову [3]. Последний так часто припоминается мне с своим одиноким, добрым глазом, что написал бы ему, кабы не был он князь да и пр. Впрочем, в том, что он князь,— он, слава богу, не виноват, а натура его делает все, что может; он конфузится в салонах, зато, я уверен, он был бы как дома за нашими обедами в доме Степанова или Имзена [4] — больше нельзя требовать от человека! — Застану ли я его в Париже? А Толстой? Где он — теперь бы ему самое время в Италию, позже будет нестерпимо жарко, и теперь уж часто душно.— Пожалуйста, увидайся с Плетневым и извини меня чем-нибудь вроде того, что в Рим я уехал внезапно по причине какой-нибудь сверхъестественно важной [5].— Я обделал стихи 30-е апреля [6], вышли плохи — в Россию пошлю, а тебе и посылать не стоит. Будь здоров. Целую тебя.

Некрасов.

P. S. Я буду тебе писать время от времени, а ты вели пересылать письма в Лондон.

P. S. Я читал недавно кое-что из твоих повестей. «Фауст» точно хорош. Еще мне понравился весь *«Яков Пасынков»* и многие страницы *«Трех встреч»*. Тон их удивителен — какой-то страстной, глубокой грусти. Я вот что подумал: ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе. И ты один из новых владеешь формой — другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию. Написал бы тебе об этом больше, но опять проклятая мысль — не принял бы ты этого за пустую любезность! Но прошу тебя — перечти «Три встречи»,— уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски — и напиши что-нибудь этим тоном. Ты сам не знаешь, какие звуки польются, когда раз удастся прикоснуться к этим струнам сердца, столько жившего — как твое — любовью, страданьем и всякой идеальностью. Нет, просто мне надо написать статью о твоих повестях,— тогда я буду свободнее — я буду писать не для тебя, а для публики, и, может быть, скажу что-нибудь, что тебе раскроет самого себя как писателя: это самое важное дело критики, да где мастер на него? Сумею ли, не знаю, даже не уверен, что напишу статью.

А<вдотья> Я<ковлевна> тебе кланяется.

---

[1] П. М. Грибовский, знакомый Тургенева и Герцена.

[2] Из стихотворения Тютчева «Не рассуждай, не хлопочи...»

[3] Орлов Н. А. — сын шефа жандармов и председателя Государственного совета А. Ф. Орлова, дипломат и писатель, близкий знакомый Тургенева.

[4] До середины 1856 г. петербургская квартира Тургенева находилась в доме Степанова, Некрасова — в доме Имзена. У них часто собирались литераторы.

[5] С П. А. Плетневым у Некрасова в это время были денежные счеты, связанные с «Современником».

[6] О каких стихах идет речь — неясно.

34. Л. Н. ТОЛСТОМУ

<31 марта — 1 апреля> / 12—13 апреля <1857 г.> Рим

Я отвечаю Вам на письмо, писанное Вами в сентябре прошлого года и только теперь пересланное сюда

из Венеции. В этом письме есть нечто, пробудившее во мне следующую мысль: отчего это время не сблизило нас, а как будто развело далее друг от друга? Если Вы припомните первое наше свидание по приезде Вашем в Петербург, то едва ли будете спорить против этого факта. Отчего это? Любопытно бы уяснить. Я попробую. Но прежде всего выговариваю себе право, может быть, иногда на рутинный и даже фальшивый звук, на фразу, то есть буду говорить без оглядки, как только и возможно говорить искренно. Не напишешь, ни за что не напишешь правды, как только начнешь взвешивать слова; советую и Вам давать себе эту свободу, когда Вам вздумается показать свою правду другому. Что за нужда, что другой ее поймает — то есть фразу,— лишь бы она сказалась искренно — этим-то путем и скажется ему та доля Вашей правды, которую мы щепетильно припрятываем и без которой остальное является в другом свете.— Я могу и хочу объяснить только одну сторону дела, а Вас попрошу объяснить другую. Вашу,— то есть, скажу Вам, почему *я* не приблизился к Вам душевно со времени нашего знакомства, а как бы отдалился. Мне кажется, не дикие и упорные до невозможной в Вас ограниченности понятия, которые Вы обнаружили (и от которых вскоре отступились), восстановили меня и нек. др. против Вас, а следующее: мы раскрылись Вам со всем добродушием, составляющим, может быть, лучшую (как несколько детскую) сторону нашего кружка, а Вы заподозрили нас в неискренности, прямее сказать, в <не>честности. Фраза могла и, верно, присутствовала в нас безотчетно, а Вы поняли ее как основание, как главное в нас. С этой минуты уже нам не могло быть ловко,— свобода исчезла,— безотчетная или сознательная оглядка сделалась неизбежна. Большая часть поводов к разногласию давно исчезла: от многого Вы отказались, еще большее поняли, остальное само собою уничтожилось, будучи только минутным следствием застигнутого врасплох самолюбия,— а легче не стало. Отношения не могли стать на ту степень простоты, с какой начались, а след. не могли двигаться вперед по пути сближения. На этом мы и стоим. Это мне кажется верным не только за себя, но еще более за Тургенева. Эта душа, вся раскрывающаяся,— при Вас сжалась, и как-то упорно не размыкается. Грустно Вас видеть вместе. Вы

должны бы быть друзьями, а вы что? Как-то у меня оборвалась нить этой мысли, которую еще далеко я не досказал, но как я непременно хочу Вам послать это письмо, то перехожу прямо к Вашему желанию, высказанному в письме, «чтоб наша переписка сделала нас серьезно друзьями». И я этого хочу всем сердцем, оттого и написал эти строки. Вы, как и я, верно, не смотрите на друга (глупая рутина иронии едва дала мне силу написать это слово) как на человека, с которым можно убить приятно ненужный час, который хорошо умеет щекотать наше самолюбие и у которого можно при случае занять денег. Вы, верно, смотрите поглубже — и чем долее будете жить, тем серьезнее будете смотреть. Для меня человек, о котором я думаю, что он меня любит,— теперь все, в нем моя радость и моя нравственная поддержка. Мысль, что заболит другое сердце, может меня остановить от безумного или жестокого поступка — я это говорю по опыту; мысль, что есть другая душа, которая поскорбит или порадуется за меня, наполняет мое сердце тихой отрадой,— может быть, от равнодушия к жизни, но, верите ли? я чувствую, что для такой души я не в состоянии пожалеть своей, и одна мысль о возможности этого подвига наполняет меня таким наслаждением, какого ничто в жизни уже мне не может дать.— Но, право, я пишу что-то такое, чего, верно, не пошлю, если перечту после обеда, к которому зовет звонок гостиницы в эту минуту. Итак, иду и даю себе слово — не перечитывать предыдущего, а что напишу далее, не знаю.

На другой день. Слова не сдержал — перечел, однако дав себе прежде другое, что все-таки пошлю. Результат предыдущего тот, что дружба, как всякое счастие, дается нелегко. Однако позволительно и должно искать этого, как всякого другого законного счастья. Теперь я совсем в другом настроении — продолжать начатого не могу, но вот какая пришла мне мысль. Рутина лицемерия и рутина иронии губят в нас простоту и откровенность. Вам, верно, случалось, говоря или пиша, беспрестанно думать: не смеется ли слушатель? Так что ж? Надо давать пинка этой мысли каждый раз, как она явится. Всё это мелочное самолюбие. Ну, если и посмеются, если даже заподозрят в лицемерии, в фразе, экая беда! Мы создаем себе какой-то призрак — страшилище, который без-

отчетно мешает нам быть самими собою, убивает нашу моральную свободу.— Ну, будет.

Жаль, что Вы теперь не в Риме. Все эти дни я смотрел разные религиозные дивы, подобных которым нигде нельзя увидать, кроме Рима. Сейчас воротился с самой эффектной церемонии. Папа с балкона благословлял народ и кидал буллы. Огромная площадь св. Петра битком была набита народ<ом> и экипажами. Зрелище удивительно красивое — в размерах колоссальных. Сегодня вечером св. Петр будет весь мгновенно освещен — пойду смотреть.

Я на днях выезжаю из Рима, буду во Флоренции, в Генуе, в Ницце, а к 1-м числам мая явлюсь в Париж. А Вы где будете? Что делаете? Тургенев мне писал, что Вы окончили новую повесть [1]. Он ее очень хвалит. Обделайте и посылайте в «Современник». Если б Вы знали, как я краснею при мысли, что «Современник» заковылял! Надо, надо тянуть — коли взялись за гуж. Проклятая поездка за границу! Проклинаю минуту, когда я решился ехать... Но, впрочем, не поездка виновата, а я сам. Если мне удастся справиться, то есть совладеть с собою,— я еще постою за «Современник».— Делать я покуда ничего не делаю, кстати скажу, что я был серьезно обижен тем несомненным фактом, что все мои литературные друзья в деле о моей книге приняли сторону сильного, обвиняя меня в мальчишестве. Ах, любезный друг! Не мальчишество на этом свете только лежание на пуховике, набитом ассигнациями, накраденными собственной или отцовской рукой [2]. Каковы бы ни были мои стихи, я утверждаю, что никогда не брался за перо с мыслью, что бы такое написать или как бы что написать: позлее, полиберальнее? — мысль, побуждение, свободно возникавшее, неотвязно преследуя, наконец заставляло меня писать. В этом отношении я, может быть, более верен свободному творчеству, чем многие другие. Да и такие вещи написал я не все — в моих бумагах можно найти целую серию недоконченных пьес. Все это говорю к тому, что изменить характера своего писания я не могу, так же как Вы не можете разделять убеждений гг. Гончарова и Дружинина, хотя меня в том и уверяли как в несомненном,— а потому не ждите от меня ничего по части стихов, что бы пришлось по Вашему вкусу. Впрочем, вернее сказать, и сам не знаю, покуда, что бу-

ду писать. Есть план большой вещи[3], от которой я в восторге, да времени и труда за ним бездна,— страшно приниматься. Однако прощайте. Если выедете из Парижа, то пишите мне в Париж, poste restante. Кланяйтесь Тургеневу.

Ваш
Н. Некрасов.

---

[1] Речь идет о повести «Альберт», первоначальный вариант которой был озаглавлен «Пропащий».

[2] О «мальчишеской неосторожности, с которой «Современник» велся», писал Тургеневу 18 ноября 1856 г. Дружинин, причем не только от своего имени, но ссылаясь на Боткина и других литераторов. Он имел в виду редакторскую деятельность Чернышевского и прежде всего перепечатку «Поэта и гражданина» Некрасова.

[3] Возможно, Некрасов писал о замысле поэмы «Тишина».

35. Л. Н. ТОЛСТОМУ

Париж. <5>/ 17 мая 1857 г.

Мне уж, видно, суждено получать Ваши письма долго спустя после того, как они написаны. На днях я получил Ваше письмо, писанное Вами в Неаполь. Спасибо Вам за него — я его сейчас перечел, и на меня повеяло каким-то теплом; Вы не без участья думали обо мне, когда его писали. По принятой мною с Вами системе даю опять себе свободу говорить, что думается, не заботясь, что из того выдет, и не подшибая крыльев у чувства или мысли поминутной оглядкой. Не дивитесь, если не будет наружной связи (зачем тратить время — ведь не для печати), если от спешности дурно выражу, все-таки Вы поймете. Вы грустны, у Вас, кажется, хандра. Хандра и грусть у человека в Вашем положении, мне кажется, может быть только, когда у него нет цели в жизни. Ближайшая цель, труд, у Вас есть, но цель труда? Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к

собственному существованию, ни к сущ<ествованию> других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (то есть люди в настоящем смысле), чувствуют то же — жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука. Все это я выразил очень плохо и мелко — что-то не пишется, но авось Вы ухватите зерно. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном человеке — думайте, что и с другими происходит то же самое, и спешите им на помощь. Ах, как что-то выходит неясно, нет, я не способен сегодня писать, мне жаль моей мысли, так бедно я ее поймал словом. Изорвать хочется — чувствую тоскливость, которую Вы, верно, знаете — хочется сказать, а не сказывается. Что Вы в этом случае делаете? Бросаете работу или нудите и пытаете себя? Бывало, я был к себе неумолим и просиживал ночи за пятью строками. Из того времени я вынес убеждение, что нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да еще вот что: надо иметь веры в ум и проницательность другого, по крайней мере, столько же, сколько в собственные. Недостаток этой веры иногда бессознательно мешает писателю высказываться и заставляет откидывать вещи очень глубокие, чему лень, разумеется, потворствует.

Скажу несколько слов о себе и о Тургеневе. Я кормлю и лечу себя — вот главная моя теперь забота. Гоню дурные мысли и попеременно чувствую себя то хорошим человеком, то очень дрянным. В первом состоянии мне легко — я стою выше тех обид жизни, тех кровных уяз-

влений, которым подверглось мое самолюбие, охотно и искренно прощаю, кротко мирюсь с мыслью о невозможности личного счастья; во втором я мученик, и мученик, не достойный сожаления, начиная с моего собственного; от мелкой раздражительности до готовности воткнуть нож в свое или другое чье-нибудь горло — я все переживаю. Легко сказать — зачем же это? Хуже всего человеку, когда у него нет сил ни подняться, ни совершенно упасть! Я, кажется, в этом положении, но злость приходит все реже, реже — если в ней нет законности, она уляжется, но — но мне надо сделаться очень, очень хорошим человеком, чтоб многое в прошедшем меня не замучило или не привело к чему-нибудь дикому. Делать ничего не могу, нет спокойствия и душевной свободы.

Тургенев просветлел, что́ Вам будет приятно узнать. Болезнь его не мучит, другие дела, важные для него, идут, должно быть, хорошо. Я так его люблю, что, когда об нем заговорю, то всегда чувствую желание похвалить его как-нибудь, а бывало — — когда-нибудь расскажу Вам историю моих внутренних отношений к нему. Теперь устал. На днях мы как-то заговорили о любви — он мне сказал: «Я так и теперь еще, через 15 лет, люблю эту женщину, что готов по ее приказанию плясать на крыше, нагишом, выкрашенный желтой краской!» Это было сказано так невзначай и искренно, что у меня любви к нему прибавилось. Прощайте, ясный сокол (не знаю, сказывал ли я Вам, что мысленно иначе Вас не называю). Напишите (я пробуду здесь до 15 июня). Не ставьте себе в обязанность писать мне много и затем не затягивайте письма, напишите два слова, а много напишете, как охота придет.

Некрасов.

Я написал в Петер<бург>, чтоб Вам дали денег сколько могут, а Вы пошлите им адрес, куда послать[1]. Мой адрес: Hôtel du Louvre. № 256.

Тургенев скоро уедет в Лондон.

---

[1] В письме от 7/19 мая 1857 г. к И. А. Панаеву (заведовавшему с 1856 г. хозяйственными и финансовыми делами «Современника»). Некрасов писал: «...Граф Л. Н. Толстой просит вперёд денег 300 р. сер— он Вам пришлет адрес, куда их послать,— деньги эти надо будет ему дать».

36. Л. Н. ТОЛСТОМУ

<16 декабря 1857 г. Петербург>

Милый, душевно любимый мною Лев Николаевич. Повесть Вашу набрали, я ее прочел и по долгу совести прямо скажу Вам, что она нехороша и что печатать ее не должно. Главная вина Вашей неудачи в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагодарен. В то время как грязная сторона Вашего героя так и лезет в глаза, каким образом осязательно до убедительности выказать гениальную сторону? — а коль скоро этого нет, то и повести нет. Все, что на втором плане, очень, впрочем, хорошо, то есть Делесов, важный старик и пр., но все главное вышло как-то дико и ненужно. Как Вы там себе ни смотрите на Вашего героя, а читателю поминутно кажется, что Вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром — нужен доктор, а искусству с ним делать нечего. Вот впечатление, кото рое произведет повесть на публику; ограниченные резонеры пойдут далее, они будут говорить, что Вы пьяницу, лентяя и негодяя тянете в идеал человека, и найдут себе много сочувствователей... да, это такая вещь, которая дает много оружия на автора умным и еще более — глупым [1].

Если Вы со мной не согласны и вздумаете отдать дело на суд публики, то я повесть напечатаю. Эх! пишите повести попроще. Я вспомнил начало Вашего казачьего романа [2], вспомнил «Двух гусаров» [3] — и подивился, чего Вы еще ищете — у Вас под рукою и в Вашей власти Ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения; к знанию жизни у Вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте — чего же еще надо, чтоб писать хорошие — простые, спокойные и ясные повести?

Покуда, в ожидании Вашего ответа, я Вашу повесть спрятал и объявил, что Вы раздумали ее печатать. Будьте здоровы и напишите мне поскорее.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

16 дек. 1857.
СПб.

P. S. Я понимаю, что в решимости послать мне эту повесть главную роль играло желание сделать приятное мне и «Совр<еменнику>», и очень это ценю. Но недаром Вы колебались[4], да и Анненк<ов> на этот раз прав, если только эту повесть Вы ему читали[5].

---

[1] Речь идет о повести «Пропащий» («Альберт»).

[2] «Казачий роман» — повесть «Казаки».

[3] «Два гусара» — повесть, опубликованная в № 5 «Современника» за 1856 г.

[4] В письмах от 25, 27 (неотправленное) и 28 ноября 1857 г. Толстой неоднократно писал Некрасову, что в его повести «есть места из рук вон плохие» и что необходимы переделки. 2 декабря, узнав, что произведение не идет в набор для № 12 журнала, Толстой попросил выслать ему рукопись. После переделок «Альберт» был опубликован в августовском номере «Современника» за 1858 г.

[5] Отзыв Анненкова об «Альберте» неизвестен.

37. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Москва, 18 июля <1860 г.>

Часа три тому назад получил Ваше письмо, утешительного в нем не много. Эх! постарался человек уходить себя. Это поскорей моего! Но коли дело поправимое, то надо поправлять. Прежде всего отвечаю на Ваш вопрос *приезжать* или *оставаться*? Оставаться за границей — вот мой ответ, а Вы при этом помните Ваши слова, следующие за вопросом: я *положусь на Ваше решение*. Итак, это дело конченное. Я, признаться, думал, что оно кончено еще предыдущим моим письмом, где я положительно этот вопрос оставлял на Вашу волю,— да с Вами вдруг не решишь. Знаете, эта нерешительность происходит от болезненного состояния Ваших нерв; когда они развинтятся, то человек всему придает вдвое больше важности. Я это испытывал, и до готовности плакать у меня доходило, и от героических поступков был на шаг, или, лучше сказать, глупостей, и то задумывалось, что завтра представлялось не могущим забрести в голову. Как только такое пойдет в голову или слезы начнут

подступать — надо сейчас успокоиться фи<зи>чески — лечь и полежать полчаса неподвижно, потом поесть, а если уж совсем не хочется, то книгу взять, впрочем есть должно иногда и насильно начинать. И помнить, что всё на свете, начиная с жизни, не так серьезно, как кажется, что люди большею частию, да и мы сами, легкомысленны, что всё перемалывается и что на все должно смотреть с нескольких сторон, а только не всегда смотрится, оттого и человек уходит в мрак и спутывается.— Это опыт быть полезным другому своею опытностью по части расстроенных нерв — не знаю, удастся ли он. Теперь докончу о деле, которое Вас особенно устрашает, о деньгах. Я, если б Вас меньше знал, то мог бы даже рассердиться. За кого же Вы нас принимаете? Я уже сам не раз говорил, что Ваше вступление в «Современник» принесло ему столько пользы (доказанной цифрою подписч<иков> в послед<ние> годы), что нам трудно и сосчитаться, и во всяком случае мы у Вас в долгу, а не Вы у нас. Счеты пойдут тогда, когда почему-нибудь наши дела упадут: тогда, конечно, Вы будете получать меньше, хоть работать и больше. Какие же иные могут быть между нами условия и отношения? Итак, единственная мера в настоящем случае — *возможность*, а я уже Вам сказал, что Вы можете в нынешнем году получить до 6 т<ысяч> р<ублей> с<еребром>. Что до *необходимого*, то и говорить нечего — да, наконец, чтоб успокоить Вас по этой части, скажу Вам, что в нынешнем году я выиграл до 60 т<ысяч>, из коих наличными 35 и на заемные письма 25. Из наличных у меня до 25 т<ысяч> в руках сию минуту. Куда Вам прислать денег и кому здесь дать? Пишите. Ну! надоела эта материя!

Что бы Вам написать. Да хорошего не много. Старый я дурак возмечтал о каком-то сердечном обновлении. И точно, четыре дня у меня малиновки пели на душе. Право! как было хорошо. То-то бы так осталось — да не осталось. Во-1-х, девушка хоть не ангел или ангел падший — да, к несчастию моему, оказалась порядочной женщиной — вот и беда! Еще и жертва тут подвернулась, в ее положении не пустая — польстившись на мои сладкие речи — а я куда как был красноречив!—она бросила человека, который ее обеспечивал (дуре-то всего 19 год— это так скоро свертелось, что я и не ожидал, а то бы, я думаю, сам отговорил ее). Ну а теперь уже

бродит мысль, зачем я все это затеял? Только и отрады, что деньгами авось развяжусь. Зачем я сижу теперь в Москве, как думаете? Был я с моим ангелом в деревне и весело охотился, да простудился, и у меня во рту сделалось нечто прегнусное — жар, слюна лезет, как из сапатой лошади, боль. Черт знает что это. Боюсь, не отрыжка ли опять старого? Так как я много съел меркурию, то, говорят, это он теперь гуляет. И я лечусь, а ангел кротко и любовно скучает около меня — жарища при этом страшная, ни пить, ни есть — ничего и не думай, выходить тоже нельзя. Ну что тут хорошего? Согласитесь, не стоит и поздравлять с ангелом! Право, не знаю, чье положенье лучше. Впрочем, одному хуже. Самый, так сказать, неважный ангел за границей очень много значит,— и я приписываю большую часть Вашей хандры одиночеству. Знаете ли, очень может быть, что я к Вам приеду — куда только ангела деть, да возьму с собою [1].

Напишите мне что-нибудь об Ав<дотье> Як<овлевне>. Вы, верно, ее скоро встретите, если она огорчена, то утешьте ее как-нибудь: надо Вам сказать, что я ей кратко, но прямо написал о своих новых отношениях. Ведь надо ж было! — хоть эти новые отношения едва ли прочны. Я очень чувствителен. Она не жалела меня любящего и умирающего, а мне ее жаль (а почем я, дурак, знаю — может быть — и вероятно — она приняла мое известие спокойно и только позлилась!). Я уж четвертый год все решаюсь, а сознание, что не должно нам вместе жить, когда тянет меня к другим женщинам, во мне постоянно говорило. Не желал бы, однако, да и не могу стать вовсе ей чуждым. Странное дело! Без сомненья, наиболее зла сделала мне эта женщина, а я только минутами на нее могу сердиться. Нет злости серьезной, нет даже спокойного презрения. Это, что ли, любовь? Черт бы ее взял! Когда ж она умрет! Я начинаю злиться. Сколько у меня было души, страсти, характера и нравственной силы — все этой женщине я отдал, все она взяла, не поняв (в пору, по крайней мере), что таких вещей даром не берут,— вот теперь и черт знает к чему все пришло. Ну, да будет. Я сполоснул рот какой-то вяжущей гадостью, и во рту стало так же скверно, как на душе. Карта — спасительница, зачем ты летом не в ходу? [2] Знаете, Добролюбов, что скверно,— у меня

нет никакой силенки делать дело, так что же — все в карты? Меня берет некоторый страх, и чувство гадливости проходит по мне, словно я гляжу на что-то скверное, а гляжу-то я на себя в эту минуту. Вот и мои нервы дошли до того, что надо лежать, а потом есть или читать. Прощайте.

По-моему, любая из статей, которые Вы назвали [3], — годится. Присылайте хоть все. Завтра пошлю вторую половину Вашего письма к Черныш<евскому> — он Вам напишет. Будьте здоровы. Адресуйте мне в Петербург.

Весь Ваш
Некрасов.

Статья Ваша о Плещееве [4] получена еще при мне.

---

[1] В письме, написанном в конце июня 1860 г., Некрасов признавался Добролюбову: «Ангела я себе приискал <...> Чудо! Я не шутя влюблен». Сведениями об этой недолгой привязанности Некрасова мы не располагаем.

[2] «Только бы и быть ему Гарибальди в своем месте... — писал Добролюбов Некрасову 23 августа.— А он вон что толкует: карты... Да ведь это злостное банкротство... Бросьте, Некрасов, право — бросьте!»

[3] К письму Добролюбова был приложен «Особенный листок» по поводу дел в «Современнике». Этот листок не сохранился.

[4] Статья «Благонамеренность и деятельность». Напечатана в № 7 «Современника» за 1860 г.

38. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

1-е января нашего стиля <1861 г. Петербург>

Сегодня на меня напал припадок аккуратности. Седьмое письмо пишу. Я Вам кой на что не отвечал в предыдущем моем письме. Но прежде всего возвещу радостное событие: после больших хлопот мы таки добились того, что нам дали в цензоры Бекетова! [1] Что бы этот чудак ни стал делать, все это будет праздность после глупого Рахманинова, который с каким-то аматерским чувством

относится к своей должности и может быть сравнен в бестолковости и трусости только с покойным Лукичом Крыловым[2]. Вторую половину «*Невероятн<ой> странности*»[3] остановил Рахм<анинов>, теперь сунем ее Бекетову. Но все-таки продолжение лучше пришлите в форме особой статейки. Все статьи, которые Вы предлагаете, мы с Чернышевским нашли удобными. Пишите и присылайте какую-нибудь «*Заграннч<ную> русск<ую> лит<ературу>*» — отчего же этому заглавию не пройти? А о Риме в форме письма из Рима, кажется, всего было бы завлекательнее. О Венгрии 1848 тоже бы хорошо[4].

Теперь уже столько времени прошло после разных гнусных выходок на нас, что пустить по поводу этого статейку очень бы не худо. Если напишется, присылайте. Вы, верно, читали Воскобойникова[5]. Экой милашка! — Что Тургенев на всех нас сердится, это не удивительно — его подбивают приятели, а он таки способен смотреть чужими глазами. Вы его, однако, не задевайте, он ни в чем не выдерживает долго — и придет еще к нам (если уж очень больно не укусим), а в этом-то и будет Ваше торжество, да и лично мне не хотелось бы, чтоб в «Совр<еменнике>» его трогали[6].

Ваши братишки[7] славные ребята. А<вдотья> Я<ковлевна> с ними возится — вот пригодилась же. Сегодня стол накрыт у меня во всю длину моей комнаты, целое детское население сбирается, через полчаса будем обедать. Я потом всех вытурю и лягу спать... то есть порядок или беспорядок моей жизни не изменился. Что Вы о моих стихах? они просто плохи, а пущены для последней строки[8]. Умный мужик мне это рассказал, да как-то глупо передалось и как-то воняет сочинением. Это, впрочем, всегда почти случается с тем, что возьмешь вплотную с натуры. В 1 № я тоже написал довольно длинную штуку[9]. В нем будут: «Старое старится, молодое растет», роман, ч. I, Потанина, порядочно очень[10]. «Литературные воспоминания» Панаева — наверно, произведут говор не без примеси скандальцу[11], рассказы Успенского[12], две статьи Черныш<евского>[13] и проч. Он поспеет числу к 18-му. Вы уже знаете, что я приурочил к постоянным сотруд<никам> «Совр<еменника>» Михайлова — он очень полезен по редакции:

читает корректуры, хлопочет о статьях и у цензоров — ну, а статьи[14] так себе. Будьте здоровы. Пишите.

Весь Ваш

Н. Некрасов.

---

[1] В ноябре 1856 г. В. Н. Бекетов за разрешение книги стихотворений Некрасова получил строгий выговор и был отстранен от цензурования «Современника».

[2] Крылов А. Л.— профессор статистики Петербургского университета, цензор. С мая 1848 г. в его ведении был «Современник». Никитенко писал, что он то запрещал «самые невинные статьи», то пропускал «такие, которые при существующем порядке вещей считаются вредными». Аналогичный отзыв о цензоре Ф. И. Рахманинове содержится в письме Чернышевского к Добролюбову от 28 ноября.

[3] Описка — вместо «Непостижимая странность». Первая часть этой статьи Добролюбова с цензурными купюрами была опубликована в № 11 «Современника» за 1860 г.; вторая была запрещена цензурой и появилась лишь в посмертном издании сочинений Добролюбова (1862 г.).

[4] По-видимому, эти статьи не были написаны Добролюбовым.

[5] Воскобойников Н. Н. — реакционный публицист. Некрасов, вероятно, имеет в виду его статью «Перестаньте бить и драться, гг. литераторы» («Санкт-Петербургские ведомости», 1860, № 261), направленную против обличительной литературы и публицистики, содержащую выпады против «Современника». В «Гимне времени» Некрасов писал:

И Войскобойникова лай
Без раздражения внимай...

[6] Написано по поводу разрыва Тургенева с «Современником» после опубликования статьи Добролюбова о романе «Накануне» — «Когда же придет настоящий день?» («Современник», 1860, № 3) и резкого отзыва Чернышевского о романе «Рудин» в рецензии на книгу Н. Готорна «Собрание чудес» («Современник», 1860, № 6). В это время Некрасов еще не верил, что уход Тургенева из журнала окончательный (см. № 39).

[7] Владимир и Иван Добролюбовы, незадолго до того приехавшие в Петербург. После смерти Н. А. Добролюбова воспитывались на средства «Современника» и Некрасова. Впоследствии из кассы журнала выплачивалась также пенсия матери умершего в 1862 г. И. И. Панаева и его четырехлетнему сыну, оказывалась помощь жене и малолетним детям Чернышевского после его ареста.

[8] О стихотворении «Знахарка», опубликованном в № 11 «Современника» за 1860 г. (см. т. 1, с. 358). Оно кончается строками:

Ты нам тогда предскажи нашу долю,
Как от господ отойдем мы на волю.

[9] О стихотворении «На Волге» (см. т. 1, с. 360).

[10] Роман Г. Н. Потанина печатался в первых четырех книжках журнала за 1861 г. Текст его сильно пострадал от цензурного вмешательства. Первоначальное название — «Крепостное право». В письме к Добролюбову, написанном в июне 1860 г., Некрасов так передавал свое первое впечатление от знакомства с автором и романом: «Цензура рассвирепела, да авось уймется. Пришел ко мне ихний бедный выгнанный из штатных смотрителей человек по фамилии Потанин и принес роман — он его писал десять лет и еще не кончил, думаю, что и никогда не кончит: так он любит свое детище и так возится с ним, но вещь замечательная, талант большой и русский, народного элемента много (то есть не то чтоб действовали мужики, а по-русски дело ведется и рассказывается), столько еще не бывало в русском произведении, как дальше будет, а десять глав, мною прочитанные, мне очень понравились. Я ему дал денег, и он уехал в Бугульму к семейству — и дописывать. Осенью думаю пустить эти десять глав, если он их вышлет. Хлопотал я, чтоб ему дали место, да покуда не добился, а выгнали его за то, что сочинил сатиру на местные власти. Эка! не удержался человек!»

[11] Вероятно, Некрасов имел в виду прежде всего страницы воспоминаний Панаева, посвященные Краевскому.

[12] «Летний день» и «Зимний вечер» (из «Очерков народного быта») Н. В. Успенского, беллетриста-демократа, активно печатавшегося в «Современнике» в конце 1850-х — начале 1860-х гг.

[13] В первой книжке «Современника» помещена статья Чернышевского: «Кредитные дела» и обозрение в разделе «Политика».

[14] Михайлов М. Л.— поэт, беллетрист, публицист и переводчик. Начал сотрудничать в «Современнике» в 1852 г. В первой книжке журнала за 1861 г. была напечатана его статья «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд» и «Мелкие заметки». Активное участие Михайлова в редакционной работе было оборвано его арестом 14 сентября 1861 г. и ссылкой в Сибирь.

39. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<15 января 1861 г. Петербург>

Любезный Тургенев. Желание услышать от тебя слово, писать к тебе у меня, наконец, дошло до тоски. Сначала я не писал потому, что не хотелось, потом потому, что думал, что ты сердишься, потом потому, чтоб ты не принял моего писания за желание навязываться на дружбу и т. д. Нет, ты этого не бойся — эти времена прошли, но все-таки выяснить дело не худо, чтоб я мог

считать его порешенным, а то мне тысячу раз ты приходил в голову, и всякий раз неловкость положения останавливала меня от писания к тебе. Перед отъездом[1] ты не нашел времени забежать ко мне, сначала я приписал это случайности, а потом пришло в голову, что ты сердишься. За что? Я никогда ничего не имел против тебя, не имею и не могу иметь, разве припомнить то, что некогда любовь моя к тебе доходила до того, что я злился и был с тобою груб. Это было очень давно, и ты, кажется, понял это. Не могу думать, чтоб ты сердился *на меня* за то, что в «Современ<нике>» появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться. То есть не то, что относится там лично к тебе,— уверен, что тебя не развели бы с «Соврем<енником»> и вещи более резкие *о тебе собственно*. Но ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип — и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей[2],— что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место, и ты увидишь, что с такими людьми, как Черн<ышевский> и Добр<олюбов> (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались),— сам бы так же действовал, то есть давал бы им свободу высказываться на их собственный страх. Итак, мне думается, что и не за это ты отвернулся от меня. Прошу тебя думать, что я в сию минуту хлопочу не о «Современнике» и не из желания достать для него твою повесть[3] — это как ты хочешь,— я хочу некоторого света относительно самого себя, и повторяю, что это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне.

Чтобы не ставить тебя в неловкое положение, я предлагаю вот что: если я через месяц от этого письма не получу от тебя ответа, то буду знать, что думать[4]. Будь здоров.

Твой

Некрасов.

15 января 1861
СПб.

---

[1] Тургенев выехал из Петербурга за границу 24 апреля 1860 г.

[2] На вопрос Тургенева в его письме от 20 сентября/2 октября 1860 г.: «Правда ли, в «Современнике» начали меня ругать?», Е. Я. Колбасин отвечал: «Насчет же «Современника» Анненков рассказывал мне, что они дали себе слово щелкать Вас, в надежде запугать и выманить от Вас повесть».

[3] О романе «Отцы и дети» («Русский вестник», 1862, № 2).

[4] Тургенев ответил Некрасову, но это письмо неизвестно. В письме от 5 апреля Некрасов ссылается на него: «"не нужно придавать ничему большой важности" — ты прав».

40. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

<3 апреля 1861 г. Петербург>

Я Ваше письмо и статью получил с неделю назад; ждал, что сделают со статьей, ее пропустили хорошо, она помещ<ена> в 3 №[1]. Статья очень хорошая. Присылайте чаще. «Соврем<енник>» идет недурно, в сию минуту 6250 под<писчиков>; с Вами было бы больше — задирающего у нас выходит маловато.

Когда Вам возвращаться? Сами знаете. В мае — и не позже августа; до осени-то еще, положим, перебьемся, но в августе, пожалуйста, непременно, разумеется, если здоровье будет исправно. Что Вы так тревожитесь насчет денежных дел? В Ваши лета я был в долгу, как в шелку,— и не унывал. Что ж Вы-то? Была бы сила, а деньги у Вас будут. Временные же Ваши затруднения я с удовольствием беру на себя, да едва ли это будет и нужно. Во всяком случае я рассчитываю навалить на Вас работу по редакции и рад Вас закупить заблаговременно. У меня шевелится мысль поехать за границу[2], если решусь, то рассчитывать буду, что пошатаюсь месяца два с Вами. Тогда поговорим обо всем обстоятельно, да вместе и вернемся. Покуда прощайте, перо скверное. Пишите ко мне и в «Современ<ник>». Все — то<есть> Ав<дотья> Як<овлевна>, Ив<ан> Ив<анович>[3] и Черн<ышевский> Вам кланяются. Николай Гаврилыч всё такой же шутник. На днях я говорил с ним об моих стихах и сказал, что чувствую тупость и отныне буду писать только для «Свистка». А он мне на это: да, это бывает. Вот Гете одно время вообразил, что ему следует перекладывать ученые мысли в стихи — и ничего больше не делал.— Это было сказано с до-

бродушием, к которому способен только Ник<олай> Гавр<илович>. Нельзя его не любить; и вот что: репутация его растет не по дням, а по часам — ход ее напоминает Белинск<ого>, только в больших размерах.

Весь Ваш

Н. Некрасов.

Не нужно ли Успенск<ому>[4] денег или Вам?

3 апр.

---

[1] В № 3 «Современника» за 1861 г. напечатана статья Добролюбова «Из Турина».

[2] В 1861 г. это намерение не осуществилось.

[3] А. Я. и И. И. Панаевы.

[4] Н. В. Успенский в 1861 г. был за границей на средства «Современника». Вероятно, в январе произошла его встреча с Добролюбовым в Ницце.

41. И. А. ГОЛЫШЕВУ

28 марта <1862 г. Петербург>

Милостивый государь,

Посылаю Вам 1500 экземпляров моих стихотворений, назначающихся для народа[1]. На обороте каждой книжечки выставлена цена — 3 копейки за экземпляр,— потому я желал бы, чтобы книжки не продавались дороже: чтобы из 3-х копеек одна поступала в Вашу пользу и две в пользу офеней (продавцов) — таким образом, книжка и выйдет в три копейки, не дороже. После пасхи я пришлю к Вам еще другие, о которых мы тогда и поговорим.

Желаю Вам полнейшего успеха в Ваших делах.

Н. Некрасов.

Голышев И. А. — крестьянин Владимирской губернии. Владелец литографии и магазина в Мстере. Занимался торговлей иконами и лубочными изданиями с привлечением продавцов-ходебщиков.

[1] Так называемые «Красные книжки» — издание для народа, предпринятое Некрасовым. Первую из них составили «Коробейники», во вторую вошли: «Бобыль Наум Сорокодум» А. Ф. Погосского, стихотворения Некрасова: «Забытая де-

ревня», «Огородник», «Городская кляча» (вторая главка из стихотворения Некрасова «До сумерек», входящего в цикл «О погоде»), «Школьник». Второй выпуск был осуществлен в 1863 г., вслед за тем цензура прекратила издание. Специальным циркуляром владимирский губернатор запретил также продажу уже вышедших книжек.

42. В. А. ЦЕЭ

<Апрель 1862 г. Петербург>

Милостивый государь

Василий Андреевич.

Я ознакомился насколько мог с книгою Сюдра (кроме русского, я почти не читаю ни на каком языке) и должен сказать, что напечатать нам ее неудобно: не то чтоб мы расходились с автором в том, что он говорит о главном предмете своей книги, но этот главный предмет соприкасается с другими, о которых «Современник» часто высказывался иначе. Итак, печатать ее для нас значило бы рисковать тем кредитом, который приобрел «Современник» в общественном мнении. Будучи убежден, что Вы сами не желаете подвергнуть нас подобному риску, и надеясь притом, что журнал наш найдет возможность с течением времени другим образом отклонить от себя несправедливое подозрение в коммунистических тенденциях,— я покорнейше прошу Вас простить мне прямоту этого объяснения, на которую вызвала меня Ваша собственная прямота и доброта.

В знак глубокого моего к Вам уважения и благодарности честь имею приложить при этом книгу моих стихотворений.

Вашего превосходительства

преданнейший слуга

Н. Некрасов.

Апреля, 1862

СПб.

Цеэ В. А. — председатель Петербургского цензурного комитета в 1862—1863 гг. Он рекомендовал напечатать в «Современнике» перевод книги А. Сюдра «История коммунизма или историческое опровержение социалистических утопий», (Париж, 1848). Впервые на русском языке она появилась в 1870 г.

43. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

<3 ноября 1862 г. Петербург>

Я поставил себя в неловкое положение, из которого может вывесть меня только Ваша деликатность, глубокоуважаемый Федор Михайлович. Я обещал Вам 2 стихотв<орения> и не отказываюсь от моего обещания, обещаю Вам их и более, но *теперь* мне неудобно появиться с моим именем в чужом журнале [1]. Про меня здесь распустили слухи, что я отступился от прежних сотрудников, набираю новых, изменяю направление журнала, все это завершается прибавлением, что я *предал* Чернышевского [2] и гуляю по Петербургу; дошло уже и до Москвы, как мне пишут; дойдет, конечно, и до провинции. Ввиду всего этого мне покуда необходимо не подавать новых поводов к двусмысленным толкам. Начнет выходить «Современник», дело разъяснится для публики, и тогда я исполню мое обещание [3]. А покуда простите и подождите. Самая опрометчивость, с которою я дал Вам мое обещание, не сообразив настоящих обстоятельств, может служить Вам порукою моей всегдашней готовности быть полезным Вам и вашему журналу насколько могу. При лучших обстоятельствах я это докажу на деле. Извините меня перед Михаилом Михайловичем [4] и не сердитесь сами.

Душевно преданный Вам

Н. Некрасов.

3 ноября

---

[1] В начале июня 1862 г. издание «Современника» было приостановлено на восемь месяцев «по высочайшему повелению».

[2] 7 июля Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

[3] В № 1 «Времени» за 1863 г. был опубликован отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» — «Смерть Прокла».

[4] Достоевский М. М. — брат Ф. М. Достоевского, писатель и переводчик, официальный редактор журнала «Время».

44. А. Н. ОСТРОВСКОМУ

<После 7 марта 1864 г. Петербург>

Могу винить себя только в том, что не отвечал Вашему брату [1], а о «Современнике» сделано было распо-

ряжение еще в конце прошлого года, чтоб выдавать в Москве тем же лицам, которым выдавали в предыд<ущем> году. Получив письмо Вашего брата, послал его в здешнюю нашу контору и получил ответ, что распоряж<ение> давно сделано и подтверждение будет тотчас послано.

Из всего этого Вы можете усмотреть, что забвения, а паче пренебрежения не было, да Вы знаете, что и невозможно тому быти.

А все-таки досадно, да Вы бы просто послали к старикашке[2] записку и вытребовали. На всякий случай прилагаю теперь таковую свою.

Узнав из письма Вашего брата о Вашей болезни, собирался писать и забрать справки, но, конечно, заигрался и ничего не сделал. Поправляйтесь, отец! Надо Вам что-нибудь сработать весной, чтобы летом иметь право и расположение *гулять* по-прошлогоднему[3]. Надеюсь, столкнемся опять на несколько дней либо в Москве, либо в одном из спопутных Вам городишков, а может, и ко мне в деревню надумаете заглянуть. У меня теперь просторно, есть особое помещение. Что вы там толкуете о своем увядании?[4] Это случайная болезнь на Вас хандру нагнала. Вы наш богатырь, и я знаю и верю, что Вы еще нам покажете великую силу. «*Сон на Волге*» непременно пишите[5]. Это гениальная вещь будет, так я думаю и прибавлю: ничто никогда мне так не нравилось, как этот план — по тому простору, какой дается в нем.

Напишите мне словечко о «*Морозе*», если он того стоит[6].

---

[1] Вероятно, Петру Николаевичу; во время болезни Островского он писал по поручению брата Некрасову.

[2] И. В. Базунову, книгопродавцу, в магазине которого находилась Московская контора «Современника».

[3] В июне — начале июля 1863 г. у Некрасова в Карабихе (усадьба близ Ярославля, которую купил поэт в конце 1861 г. «*не для дохода*, а для собственного проживания летом») гостили М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский, А. А. Потехин, И. Ф. Горбунов, артисты И. Е. Турчанинов и А. А. Рассказов.

[4] В письме от 7 марта Островский так в шутливой форме передавал свое впечатление от комедии Л. Толстого «Зараженное семейство»: «У меня... завяли уши... Хорошо еще, что я сам весь увядаю преждевременно».

[5] Пьеса «Воевода, или Сон на Волге» была закончена лишь в конце 1864 г., опубликована в № 1 «Современника» за 1865 г.

[6] Островский просил Некрасова выслать ему № 1 «Современника» за 1864 г.: «Интересно очень прочесть Вашу вещь и статью Салтыкова, о которых все отзываются с необыкновенными похвалами». Отзыв о поэме «Мороз, Красный нос», данный Островским в это время, неизвестен.

45. Ф. М. РЕШЕТНИКОВУ

<16 февраля 1866 г. Петербург>

Я прочел рукопись Вашу до конца 1-ой части. Всё, что последовало за изнасилованием Елены, то есть пространные разговоры об этом, хождение к исправнику, к управляющему, опять к исправнику, сечение дочери и т. п.— всё это должно быть выключено. Обо всем этом можно написать страницу и перейти прямо к главе, где они пошли за грибами. Иначе печатать нельзя [1]. Зайдите ко мне сегодня часов в 7-мь или завтра утром.

Ваш

Некрасов.

Решетников Ф. М. — писатель демократического направления. Приехал в Петербург в 1863 г. В 1864 г. опубликовал в «Современнике» повесть «Подлиповцы». С этого времени Решетников — один из постоянных сотрудников журнала.

[1] Первая часть неоконченного романа Решетникова «Горнорабочие» напечатана в №№ 1 и 2 «Современника» за 1866 г. Вторая и третья части неизвестны. Руководствуясь замечаниями Некрасова, Решетников внес в рукопись исправления.

46. Д. И. ПИСАРЕВУ

<6 июля 1867 г. Карабиха>

Многоуважаемый Дмитрий Иванович.

Наши условия о двух статьях для сборника остаются во всей силе [1]. Что ж касается до третьей (об «Дыме»), то спешу сказать Вам следующее. Я только теперь

прочел эту повесть и, находя художественную ее часть безусловно прелестною, думаю, что едва ли мы с Вами сойдемся во взгляде на другую ее часть — полемическую, или, так сказать, политическую[2]. Тронутые в ней вопросы так важны для русского человека, и тронуты они так решительно, что обязываться напечатать статью об «Дыме», не зная, в чем будет заключаться ее содержание[3],— напечатать в книге, где будет много моих статей и о которой все-таки неизбежно пройдет в публике слух, что я был ее составителем,— представляется для меня делом рискованным.

Итак, если будете писать статью об этой повести, то не имейте в виду помещения ее в сборнике.— Да еще просьба: пожалуйста, не говорите об этом, да и вообще о сборнике; если разойдется слух, что я собираюсь издать сборник, то могут явиться с предложением услуг такие люди, участие которых для меня нежелательно и которых услуги отклонить будет трудно.

Если вздумаете написать ко мне, то адресуйте на мое имя в Ярославль, в собственном доме.

Пред. Вам

Н. Некрасов.

6 июля 1867 г.
Карабиха, близ Ярославля

---

[1] После прекращения «Современника» Некрасов вынашивал план издания литературного сборника. Он обратился к Д. И. Писареву, незадолго до этого освобожденному из Петропавловской крепости, где он провел больше четырех лет, и заказал ему несколько статей. До запрещения «Русского слова» Писарев был главным критиком этого журнала. О своем свидании с Некрасовым он сообщал матери: «...было говорено достаточно — и о сборнике, и о предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел...». Писарев предложил для сборника три статьи, но проект издания не осуществился. В №№ 1—2 обновленных «Отечественных записок» появилась его статья «Романы Андре Лео», вторая статья — о Дидро — не была закончена.

[2] Расхождения взглядов Писарева и редакции «Современника» на творчество Тургенева проявилось уже при оценке романа «Отцы и дети».

[3] Роману Тургенева «Дым» была посвящена статья А. М. Скабичевского «Новое время и старые боги» («Отечественные записки», 1868, № 1). В ней критик осуждал Тургенева за незнание русской жизни, пессимизм, отсутствие в романе героя. Писарев статьи о «Дыме» не написал, но, по просьбе Тургенева, дал оценку романа в письме к нему. Она близка оценке Скабичевского.

47. Ф. М. РЕШЕТНИКОВУ

<11 мая 1868 г. Петербург>

Уважаемый Федор Михайлович.

Посылаю Вам пятьдесят рубл<ей> — Первую часть Вашего романа я получил от Салтыкова [1].— Видно, что он не совсем ею доволен, однако советует печатать. Жалуется, что много длиннот и видна спешность; да еще выражает сомнение, не есть ли эта часть в некотором роде повторение «*Глумовых*» [2]. Не сомневаюсь, что он в этом ошибается.

Скоро ли Вы возвратитесь в Петербург?

Пред. Вам

Н. Некрасов.

11 мая 1868. СПб.

Я замедлил высылкою денег потому, что потерял Ваше письмо.

---

[1] Речь идет о романе «Где лучше», напечатанном в №№ 6—10 «Отечественных записок» за 1868 г. Отзыв Салтыкова содержится в его мартовских — апрельских письмах к Некрасову.

[2] Незаконченный роман Решетникова из жизни уральских горнозаводских рабочих в дореформенное время, опубликованный в журнале «Дело» в 1866—1867 гг.

48. А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВУ

<22 апреля/4 мая 1869 г. Париж>

Многоуважаемый Алексей Михайлович. Я недавно прибыл в Париж, просидев довольно долго в Висбадене. Поэму Вашу прочел несколько раз. В ней есть очень хорошие места, особенно вся вторая половина, в негодовании много искренности и есть сила. Но полемический характер поэмы — едва ли не послужит препятствием к напечатанию ее в каком-либо журнале [1]. Вообще я думаю, что Вам надо было бы приехать в Россию, пообжиться в родном воздухе — и тогда Вы, полагаю, увидели бы, что подобную вещь следует пускать в печать не иначе как особой брошюрой или в собрании стихот-

ворений Ваших (которые, истинно скажу, теперь самое бы время Вам выпустить,— оно было бы встречено известной частью журналистики с несомненным сочувствием). Скажу еще: Вы не согласны исключить ничего, кроме 4-х стихов, но при печатании теперь поэмы в журнале пришлось бы исключить гораздо более. У нас времена теперь нехороши — недавняя новая студентская история [2] и т. п.— Салтыков, разделяя мое мнение о неудобстве многих мест, между прочим, замечает, что «*Весть*» может притянуть Вас к суду [3].

Поэму отошлю по назначенному Вами адресу или к Вам, дождавшись Вашего извещения. Я пробуду еще с месяц в Париже, а потом уеду в Киссинген пить воды. Спасибо Вам за доброе слово об моих стихах [4]. Теперь меня так травят [5], что доброе слово особенно дорого.

Искренно и вполне Вас уважающий

Н. Некрасов.

4 мая

Адрес: Hôtel de Louvre, 78.

Я Вам должен 15 р. за ст<ихотворение> «Заколд<ованный> месяц» [6], куда их девать?

Жемчужников А. М.— поэт. В содружестве с братом Владимиром и поэтом А. К. Толстым создал литературно-пародийный образ Козьмы Пруткова. Сотрудничал в «Современнике» и «Отечественных записках».

[1] О поэме «Перед возвращением на родину». Посылая ее Некрасову, Жемчужников писал: «Теперь я с Вами совершенно согласен, что отрывки прошлого года печатать не следовало. Но что Вы скажете теперь о целом?»

[2] О студенческих волнениях в Петербурге в марте 1869 г.

[3] «Весть» — реакционная газета, редактировавшаяся В. Д. Скарятиным. Салтыков писал о полемике в поэме «Я и пророк» в письмах к Некрасову от 5 апреля 1869 г. и Жемчужникову от 30 апреля. Тогда же у Жемчужникова появилась мысль издать свою поэму отдельной брошюрой. Некрасов отвечал ему в письме от 2/14 мая 1869 г.: «Вы забыли <...>, что по законам о печати без цензуры нельзя выпустить книгу *объемом менее 10-ти листов*, стало быть о выпуске поэмы отдельной брошюрой нечего и говорить, ибо подвергнуть ее цензуре значило бы хуже чем уничтожить. Мое мнение: время для нее не уйдет, так как ее цель — характеристика известного периода, во всяком случае ставшего уже до некоторой степени прошедшим, а не нападение на Каткова, за каковое она была бы принята многими, если б явилась в журнале или даже отдельной брошюрой. Понимаете теперь, почему я думаю, что ей всего выгоднее явиться между другими Вашими произведениями». (См. прим. 2 к № 50).

[4] Жемчужников писал Некрасову: «Прочел Вашу поэму <«Кому на Руси жить хорошо», Пролог, гл. I—III — «Отечественные записки», 1869, №№ 1—2> с большим удовольствием; а некоторые места (например, описание ночного неба и проч. и проч.) с наслаждением».

[5] См. № 49.

[6] Стихотворение было написано в 1859 г., но из-за цензурных условий долго не появлялось в печати. Опубликовано в № 1 «Отечественных записок» за 1869 г.

49. М. Е. САЛТЫКОВУ

<Конец апреля / начало мая 1869 г. Париж>

<2-й набросок>[1]

Мне попался здесь «В<естник> Е<вропы>», и я прочел выдержки из писем Бел<инского>. Прямо беру их на себя[2], ибо они для меня не новость. Не такой был человек Бел<инский>, чтоб долго молчать. Помолчав несколько дней, он высказал мне горячо и более резко, чем в этих письмах, свое неудовольствие и свое сожаление о внутреннем разрыве со мною. Последовали объяснения сначала со мною, потом со мною и с Панаевым[3]. Может быть, плодом этих объяснений и было второе письмо к Тургеневу, в значительной доле уничтожающее первое[4]. Сопоставив эти два письма, останется, что «Н<екрасов> действовал добросовестно, но не переходя той черты, где начиналась его невыгода, из-за принципа, до которого он не дорос». Кажется, так? Я останавливаюсь на этом.— Я был очень беден и очень молод, восемь лет боролся я с нищетою, видел лицом к лицу голодную смерть; в 24 года я уже был надломлен работой из-за куска хлеба. Не до того мне было, чтоб жертвовать своими интересами чужим. Белинский это понимал, иначе не написал бы в том же первом, обвиняющем меня письме, что он *«и теперь»* меня *«высоко ценит»*. А во втором письме он говорит, что почти переменил свое мнение и насчет *источника* моих поступков. С меня этого довольно. Я не знаю, исчезло ли в его воззрении на меня впоследствии это *почти*, но отношения наши до самой его смерти были короткие и хорошие. Я не был точно *идеалист*[5] (иначе прежде все-

го не взялся бы за журнал, требующий [как коммерческое предприятие, расчетливости и устойчивости, выдержанности в однажды установленном плане] практических качеств), еще менее был я ровня ему по развитию; ему могло быть скучно со мною, но помню, что он всегда был рад моему приходу. Отношения его ко мне до самой смерти сохранили тот характер, какой имели вначале. Белинский видел во мне богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною [он ловил меня часто на слове — и это одно слово давало ему повод высказать мне многое, что было для меня и ново и полезно], имевшие для меня значение поучения. Несмотря на сильный по тому времени успех «Современника» в первом году, мы понесли от первого года 10 т. убытка*; денежные заботы, необходимость много работать (вся, так сказать, черновая работа по журналу: чтение и исправление рукописей, а также и добывание их, чтение корректур, объяснения с цензорами, восстановление смысла и связи в статьях [что приходилось иногда делать с одною статьей по нескольку раз — лежала на мне] после их карандашей лежали на мне; да я еще писал рецензии и фельетоны) — все это, а также и последовавшие с февраля 1848 года цензурные гонения[6], сопровождавшиеся крайней шаткостью почвы под ногами каждого причастного тогда литературе, довело мое здоровье до такого расстройства, что Б<елинский> часто говаривал, что я немногим лучше его. Белинский вообще знал мою тогдашнюю жизнь до мельчайшей точности и строго говаривал мне: «Что Вы с собой делаете, Н<екрасов>,— смотрите! берегитесь! иначе с Вами то же будет, что со мною!» При этом в его умирающих глазах я уловил однажды выражение, которое не умею иначе истолковать, как тою любовью, о которой упоминается в письме к Тургеневу, как о потерянной мною. В этом взгляде была еще глубокая скорбь. Впоследствии я узнал от общих наших друзей, что в близкой моей смерти он был убежден положительно. Припоминая и тысячу раз передумывая, я прихожу к убеждению, что главная моя вина в том [что не случилось, как иногда думал Белинский, т. е.],

---

* В 1-м году «Современник» имел 2000 подписчиков.

что я действительно не умер вскоре за ним, но за эту вину я готов выносить не только клеветы г. Антоновича[7], но и тонкие намеки г. Тургенева, которые он хитро старается скрепить авторитетом Белинского.

---

[1] Это письмо сохранилось в четырех набросках, было ли оно закончено и отправлено — неизвестно. Зачеркнутое Некрасовым воспроизведено в квадратных скобках.

[2] В № 4 «Вестника Европы» за 1869 г. Тургенев опубликовал свои воспоминания о Белинском, в которых писал о том, что Белинский «был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него», и «вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял место... наемщика». В подтверждение Тургенев привел выдержки из писем к нему Белинского от 19 февраля/3 марта и 1/13 марта 1847 г. Фамилии в цитатах Тургенев заменил звездочками.

[3] Об этом объяснении Некрасов писал Тургеневу 15 февраля 1847 г.: «Я было предложил ему условие, которое обеспечивало ему при хорошем ходе дел журнала, кроме жалованья, до 5 т. асс. ежегодно во все продолжение времени, пока издается нами журнал, хоть бы почему-либо он и оставил у нас работу. Но он — странный человек — сказал, что для него будет лучше постепенное увеличение платы за его труды по мере успехов журнала, и на этом порешили. Впрочем, скажу Вам, что при этом он не обнаруживал и тени неудовольствия, и вообще, кажется, по этой части он теперь спокоен. На поездку за границу он решился, когда я объявил ему, что жалованье за полгода, которые он проездит, все-таки будет выдано ему — и в самом деле без этого он не мог бы ехать. Теперь эта мысль его занимает».

[4] Тургенев напечатал лишь ту часть второго письма Белинского, в которой критик оправдывал поведение Некрасова тем, что тот как человек, выросший в «грязной положительности», не дорос до понятия о «высшем праве», которое исповедывалось остальными членами их кружка. Другую часть письма, где Белинский вразрез со своим прежним отзывом утверждал, что Некрасов никогда не будет капиталистом, как то произошло с Краевским, Тургенев утаил от читателей.

[5] Ср. высказывание Некрасова об идеалистах в рассказе о своей молодости и вхождении в литературные круги (в передаче А. С. Суворина): «Идеалисты сердили меня, жизнь мимо них проходила, они в ней ровно ничего не смыслили, они все были в мечтах, и все их эксплоатировали...» и т. д. («Недельные очерки и картинки», Новое время, 1878, № 662, 1 января).

[6] Речь идет о доносах на «Современник» в цензурный комитет и III Отделение (Булгарина, Б. Федорова). Некрасова обвиняли в сочувствии французской революции и коммунизму.

[7] В марте того же 1869 г. вышла брошюра М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы», в которой бывшие сотрудники «Современника», не вошедшие в редакцию новых «Отечественных записок», обвиняли Некрасова в корыстолюбии, предательстве друзей (как это было, по их мнению, с Чернышевским), показном либерализме.

Антонович и Жуковский редактировали в то время журнал «Космос» и позволяли себе в нем делать постоянные выпады против личности и поэзии Некрасова. Впоследствии Антонович писал о необоснованности выдвинутых им против Некрасова обвинений.

50. А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВУ

<26 февраля 1870 г. Петербург>

Уважаемый Алексей Михайлович.

Простите, что я Вам не писал. Хворал, а теперь здоров. Скука у нас жестокая. Если на Вас нападает иногда хандра в Висбадене, то утешайтесь мыслию, что здесь было бы то же — и, вероятно, в большей степени, с примесью, конечно, злости по поводу тех неотразимых общественных обид, под игом которых нам, то есть нашему поколению, вероятно, суждено и в могилу сойти [1]. Более тридцати лет я все ждал чего-то хорошего, а с некоторых пор уже ничего не жду, оттого и руки совсем опустились и писать не хочется. А когда не пишешь, то не знаешь, зачем и живешь. Благо Вам, что Вы, по-видимому, до этого еще не дошли. Ваши последние вещи (как в «Петерб<ургских> ведомостях» [2], так и нам присланные), отчасти мне известные, хороши; в новой своей форме они много выиграли. Говорю это Вам для того, чтоб Вы не складывали рук. Ваши стихотворения (кроме пьесы *«Свободное слово»*) напечатаны на первых страницах 3-го № «Отеч<ественных> зап<исок>» [3]. Пишите, что делать с оставшеюся пьесою и серией пьесок *«В альбом современных портретов»*, которую мы тоже не решились напечатать [4]. Деньги за напечатанное отошлю по Вашему указанию.

Напишите мне, пожалуйста, Ваше мнение о последних главах *«Кому на Руси жить хорошо»* во 2 № «От. з.» [5]. Продолжать ли эту штуку? Еще впереди две трети работы.

Будьте здоровы и бодры.

Душевно Вас уважающий

Н. Некрасов.

26 февр. 1870
СПб.

[1] Ср. в поэме «Дедушка» (1870):

> Взрослые люди — не дети.
> Трус, кто сторицей не мстит!
> Помни, что нету, на свете
> Неотразимых обид (т. II, с. 224).

[2] В газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1870, № 30, 30 января), в составе цикла «О времени недавно прошедшем и частью о настоящем (опыт фельетона в стихах)» Жемчужников поместил отрывок из поэмы «Перед возвращением на родину» (Ср. № 48) в новой редакции. Позднее поэма получила название «Пророк и я».

[3] В № 3 «Отечественных записок» за 1870 г. был опубликован цикл из пяти стихотворений Жемчужникова — «Современные песни».

[4] Стихотворение «Свободная печать» под названием «Литераторы-гасильники» и серия из 15 эпиграмм, упоминаемые Некрасовым, появились как продолжение цикла «О времени недавно прошедшем и частью о настоящем» в «Санкт-Петербургских ведомостях», 1870, № 146 от 29 мая.

[5] Имеются в виду главы: IV — «Счастливые» и V — «Помещик». Отзыв Жемчужникова о них содержится в письме от 25 марта/6 апреля: «Две последние главы Вашей поэмы... и в особенности «Помещик» — превосходны. Эта поэма есть вещь капитальная, и по моему мнению, в числе Ваших произведений она занимает место в передовых рядах. Основная мысль очень счастливая: рама обширная, вроде рамы «Мертвых душ». Вы можете поместить в ней очень много. *Продолжайте;* без всякого сомнения *продолжайте»*.

51. М. С. ВОЛКОНСКОМУ

<9 июня 1872 г. Петербург>

Уважаемый Михаил Сергеевич.

У меня давно засела в голове некоторая мысль, а решение сообщить ее Вам созрело только теперь, накануне моего отъезда. Извините, если невпопад, и смело скажите «нет», коли не понравится. Вот в чем дело:

Вы сами подали мне мысль, что я хотя местами мог бы воспользоваться тоном и манерою «Записок» М. Н. В<олконской>, которые должны послужить основой для моей поэмы. Да, это было бы хорошо; в «Записках» есть столько безыскусственной прелести, что ничего подобного не придумаешь. Но именно этою стороною их

я не могу воспользоваться, потому что я записывал для себя только *факты*[1], и теперь, перечитывая мои наброски, вижу, что колорит пропал; кое-что, затем, припоминаю, а многое забыл. Чтоб удержать тон и манеру, мне нужно бы просто *изучить* «Записки», и вот моя просьба. Есть русская пословица: кормили до усов, кормите до бороды; дайте мне, князь, эти «Записки» на 2 месяца моего отъезда[2], и Вы не можете себе представить, какое великое одолжение Вы мне окажете. Я теперь весь поглощен мыслью о моей поэме, еду с намерением написать ее и чувствую, что мне недостает кое-чего; недостаток этот будет парализировать работу; *поправить* можете беду только Вы, Михайло Сергеевич. Я искренно Вас прошу, и не будет меры благодарности в моей душе.— Со мною едет в деревню моя сестра, она хорошо переводит (переводила много для «Совремн<ника>» и «От<ечественных> зап<исок>»[3]). Она переведет мне «Записки», осенью, по приезде в Петербург, я вручу Вам и перевод и оригиналы, и даю *честное слово*, что не оставлю у себя списка и не дам никому. Словом, даю Вам право огласить меня бесчестным человеком, если у кого-нибудь появится от меня хоть страница этих «Записок»; да и у себя не оставлю списка. Если умру ранее осени, «Записки» возвратит Вам моя сестра.

Словом, «Записки» мне очень хочется иметь, и мне кажется, что они необходимы для успешного выполнения моей работы. Если со временем, когда напечатаются «Записки», заметят, что я кое-что взял из них почти буквально, то, по крайней мере, не упрекнут меня, что я не понял характера. А теперь — без этих «Записок» — я просто в беспрестанном колебании. Без них мне остается один путь: взяв за основание факты, предаться воле воображения, и тогда выйдет не то, чего Вы первый, может быть, ожидаете от моей поэмы, хотя, может быть, и будет эффектно для публики. Но мне более улыбается мысль остаться наивозможно близким к действительности, и я повторяю мою просьбу.

Если хотите исполнить мою просьбу, то назначьте час (суббота до 6-ти), когда я могу к Вам заехать, чтоб получить «Записки», а не хотите — то не отвечайте на это письмо; и поверьте, что я не сохраню в душе по этому поводу ни тени неудовольствия[4].

Во всяком случае, извините, что заставил Вас читать это длинное писание.

Душевно преданный Вам

Н. Некрасов.

P. S. Повторяю, что я не пущу в печать моей поэмы, если не буду уверен, что Вы ничего против этого не имеете.

Пятница, 12 часов вечера.

Волконский М. С. — сын декабриста С. Г. Волконского. Некрасов и Волконский познакомились в 1860-х годах. В феврале 1864 г. Волконский в письме к Некрасову восторженно отзывался о поэме «Мороз, Красный нос» и просил выслать ему оттиск для отца, жившего тогда в Италии. Некрасов послал Волконскому книгу своих стихов. В апреле 1872 г. Некрасов познакомил Волконского с поэмой «Княгиня Трубецкая», еще до появления ее в печати.

[1] В предисловии к «Запискам» своей матери М. С. Волконский вспоминал, что три вечера, по настойчивой просьбе Некрасова, он читал рукопись «Записок». Некрасов, на слух воспринимая беглый перевод текста с французского, делал краткие заметки. (См. прим. к «Княгине Волконской», т. II, с. 404).

[2] Некрасов уезжал в Карабиху.

[3] Переводы А. А. Буткевич для «Современника» и «Отечественных записок» неизвестны.

[4] В письме от 10 июня Волконский ответил Некрасову отказом. Он писал, что тон «Записок» не придаст поэме «выгодный колорит, так как целиком перейти в нее не может. Они так *интимны*, так *семейны*, что это не представляется возможным».

52. М. С. ВОЛКОНСКОМУ

<22 ноября 1872 г. Петербург>

Многоуважаемый Михаил Сергеевич,

Мне ни особенно трудно, ни особенно жаль сделать те исключения в моей поэме, о которых Вы пишете. Я совершенно сглажу тот интимный характер, который придают поэме некоторые подробности, взятые из «Записок» [1]. Воспользуюсь также Вашими замечаниями в чисто художественном смысле, так как они большею частью верны. Имена заменю первыми буквами, упомина-

ние о замужней сестре вовсе выкину, словом в отношении упрека с чьей-либо стороны Вам, как знавшему поэму до ее появления в свет, сделаю даже больше, чем, по моему мнению, нужно[2]: не забудьте, что, с тех пор как начали появляться материалы времен декабристов[3], этот сюжет сделался открытым для каждого пишущего. Многое, что вошло в мою поэму, находится в этих материалах в статье Бартенева[4], наконец, в устных рассказах[5], напр<имер>, сцену в шахте я слышал до чтения «Записок», мне передавали, что работавшие в шахте, пораженные внезапным появлением кн<ягини> В<олконской>, стали на колени,— я не ввел этого в поэму потому только, что побоялся упрека в мелодраматичности[6].— А главное, в моей поэме нет ничего, чем бы кто-либо с какой-либо точки зрения мог обидеться[7]. Распространяюсь об этом потому, что Вас, по-видимому, огорчило, что я не послал ее Вам перед Вашим отъездом. Дело в том, что в тот же день, как Вы у меня были, я уехал на охоту и воротился только в понедельник, а Вы писали, что уедете в воскресенье. Вот причина, что я не побывал у Вас и не отвечал Вам.

Не знаю еще, поеду ли за границу зимой, но весной непременно.

Примите уверение в моем душевном расположении и уважении.

22 ноября 1872 *Н. Некрасов.*
СПб.

[1] В письме от 30 октября 1872 г. Волконский, прослушавший поэму, потребовал от Некрасова исключить все то, что касается частной жизни семьи Волконских. «В поэме,— писал он,— выведены такие подробности, которые представляют принадлежность семейной, замкнутой истории. Название по именам множества лиц, некоторые еще живы; многие эпизоды, в которых эти живущие лица сами участвовали, много таких мелочей, которые передавались нам, детям, и одним нам: все это желал бы я видеть обойденным и прошу Вас это сделать».

[2] По замечаниям М. С. Волконского Некрасов исключил из четвертой главы восьмистишие о найме прислуги в дорогу, строки, которые, как писал Волконский, «действуют неприятно и охладительно», а также описание родов и несколько строк о старшей сестре Волконской Екатерине (в замужестве Орловой).

[3] См. о них в прим. к поэме «Русские женщины» (т. II, с. 401).

[4] Вероятно, имеется в виду статья П. И. Бартенева «Пушкин в южной России», опубликованная в 1861 г. в газете «Русская речь и Московский вестник» и перепечатанная в 1866 г. в «Русском архиве».

[5] Некоторые подробности о жизни декабристов и их семей в Сибири услышал и передал Некрасову Гончаров, возвращавшийся через те же места из кругосветного плавания на фрегате «Паллада».

[6] О замечании М. С. Волконского по поводу этой сцены и ответ Некрасова см. в прим. к поэме «Княгиня Волконская» (т. II, с. 404).

[7] Уже после того, как поэма была опубликована, Волконский сообщал Некрасову, что на его родных она произвела «самое лучшее впечатление», но сомневался, что «такое же впечатление родственного удовольствия произвела она на семью Раевских».

53. Ф. А. НЕКРАСОВУ

<26 февраля 1873 г. Петербург>

Любезный брат Федор Алексеевич.

Отзовись, пожалуйста! Как Вы поживаете? В каком настроении находитесь? Как идут дела? Сестра [1] Вам кланяется. Она не прочь приехать в Москву, если Вы туда выедете, и уже много раз со мною об этом заговаривала.

Я живу недурно, хотя не очень здоров и хандрю. Моя поэма «Кн<ягиня> Волконская», которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний [2],— прочти ее. Вместе с этим письмом я велел послать тебе новую 5 часть моих стихов, где и поэма эта находится. Все идет по-старому. Литературные шавки меня щиплют [3], а публика читает и раскупает. Подписка на «От<ечественные> зап<иски>» нынче так повалила, что печатаем второе издание. Из всего этого можешь заключить, что дела идут недурно, и, кабы лет десяток с костей долой, так я, пожалуй, сказал бы, что доволен. Да ничего не поделаешь! человек, живя, изнашивается, как платье; каждый день то по шву прореха, то пуговица потеряется.

И не много уже остается;
Что возможно еще потерять...

А там и ноги протягивай, и к этой мысли надлежит приучать себя заблаговременно. Эх! с ноября пошло мне на шестой десяток!

Поклонись от меня Наталье Павловне[4]. Зина[5] тоже от души Вам обоим кланяется.

Весь твой

Н. Некрасов.

26 февр. 1873
СПб.

---

[1] А. А. Буткевич.

[2] См. об этом в прим. к поэме «Княгиня Волконская» (т. II, с. 404).

[3] Некрасов имеет в виду выступления в печати против поэмы «Княгиня Волконская» В. П. Буренина, В. Г. Авсеенко и др.

[4] Наталья Павловна Некрасова, вторая жена Федора Алексеевича Некрасова.

[5] Зинаида Николаевна (так называл ее Некрасов, настоящее имя — Фекла Анисимовна Викторова), жена поэта.

54. П. В. АННЕНКОВУ

29-го марта <1873 г. Петербург>

От души благодарю Вас, многоуважаемый Павел Васильевич, за доброе слово и за замечание[1], которое признаю безусловно верным и которым воспользуюсь при дальнейшем писании, которого много еще мне предстоит[2], если эта тема не надоест мне внезапно и если в состоянии буду победить некоторые затруднения, кои суть: 1) цензурное пугало, повелевающее касаться предмета только сторонкой, 2) крайняя неподатливость русских аристократов на сообщение фактов[3], хотя бы и для такой цели, как моя, то есть для прославления. Усердный мой поклон Глафире Александровне[4], а Вас, старый друг и надежный человек, от души целую и благодарю.

Весь Ваш

Н. Некрасов.

---

[1] 8/20 марта 1873 г. Анненков писал Некрасову: «Прочел Вашу «Волконскую», ...и теплота чувства, разлитая в пиесе, пригрела и меня». Замечание Анненкова сводилось к тому, что в поэме Некрасова не нашел отражения «особый оттенок» «доблести и самоотвержения» жен декабристов, ей недостает «благородно-аристократического мотива, который двигал сердца этих женщин».

[2] О плане продолжения «Русских женщин» см. т. II, с. 401.

[3] См. №№ 51, 52 и прим. к ним.

[4] Глафира Александровна — жена П. В. Анненкова.

55. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

<22 августа 1873 г. Петербург>

Милый друг Полонский.

Поистине говорю Вам, что разделение Вашей поэмы не только не повредит ей, но послужит к усугублению ее успеха, так как ее будут иметь перед глазами не один, а два месяца — и самые сезонные. Где же это видано, чтобы шесть листов стихов (рифмованных!), шесть листов журнальных, что, собственно, значит 10-ть обыкновенных, подносилось публике разом; как будто и автор и журналист тем самым говорят ей: лупи это, как прозу! Хотя в Вашей поэме и содержание интересно, но все-таки главное в ней вовсе не содержание, а стих и поэзия подробностей; разделение же опасно только для вещей, в которых мало чего, кроме содержания, и печальная была бы та поэма, которая бы от этого пострадала. Поверьте моему такту и опытности, ее следует разделить для ее собственной выгоды. Но если Вы решительно этого не хотите, то я могу ее пустить и всю. Только буду об этом жалеть, и это меня искренно огорчит, как любящего Вас человека и поэта [1]. Уведомьте меня и, если можете, заезжайте после Вашего комитета [2] ко мне, только сегодня, ибо я к вечеру уеду в Чудово. Посылаю корректуры; прочитав их, отошлите *подписанные* в типографию.

Весь Ваш

Н. Некрасов.

P. S. Обе части равны по объему, и вторая нисколько не слабее 1-й, а сильнее; повторяю: разделите. Самое содержание так устроено, что разделение не повредит, а между тем даст время читателю насладиться самими стихами. И притом в октябре все уже съедутся, и Вы будете иметь возможность осязательнее увидеть в Петербурге впечатление поэмы.

P.S.P.S. Если случится, что не увидимся, то сдайте корректуры в типографию с отметкою: печатать всю или половину в 9-м №.

22 авг. 1873

Я пробуду в Чудове с неделю.

---

[1] О поэме «Мими», опубликованной в №№ 9 и 10 «Отечественных записок» за 1873 г.

[2] То есть комитета иностранной цензуры, где служил Полонский.

56. П. Н. ЮШЕНОВУ

<31 марта — 25 апреля 1874 г. Петербург>[1]

М<илостивый> г<осударь>. Я не справлялся с «Толковым словарем» (Даля), когда писал *«Несжатую полосу»*, а употребил слово «станица» потому, что с детства слышал его в народе, между прочим, в этом смысле: птицы летают *станицами;* воробьев *станичка* перелетела и т. под. Заглянув ныне в словарь Даля, я увидел, что и там слову этому придается, между прочим, и то значение, в котором я его употребил (см. т. III, стр. 285, столб. второй). Что слово употребляется и в других смыслах, из этого не следует, чтобы в данном случае оно было употреблено неточно. Слова: группа, партия, даже стая, которыми можно было бы заменить его в *«Несжатой полосе»*, кроме своей прозаичности, были бы менее точны, лишив выражение того оттенка, который характеризует птицу перелетную (о которой идет речь в стихотворении), располагающуюся время от времени *станом* на удобных местах для отдыха и корма. Вот все, что имею сказать на предложенный Вами вопрос. Примите и пр.

СПб. 31 марта, 1874 г.

P. S. Письмо это, по моей оплошности, заваллось между бумагами и будет сдано на почту только сегодня, 25 апреля.

Юшенов П. Н. — педагог, директор Владимирской военной гимназии в Киеве. Некрасов отвечал на письмо Юшенова, в котором тот просил разъяснить смысл строк из стихотворения «Несжатая полоса»:

Нас что ни ночь разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы.

57. Г. И. УСПЕНСКОМУ

<14 июля 1874 г. Чудовская Лука>

Многоуважаемый Глеб Иванович.

Само собою разумеется, что Вы можете распорядиться Вашими сочинениями, не стесняясь тем планом издания, который предполагался при моем посредстве[1]. За катастрофой с № 5 «От<ечественных> зап<исок>»[2] я по этому делу ничего не начинал.

Только не печатайте *«Очень маленького человека»* — вторую половину: она была напечатана в 5-м, погибшем нумере «От<ечественных> з<аписок>» и послужила одним из поводов к его сожжению: Вас обвиняют в тенденциозности социального свойства[3]. Это обвинение войдет в доклад комитету министров о 5 № «От<ечественных> з<аписок>», и если этот отрывок будет в новом издании[4], то из-за него могут остановить все издание. Вообще удалите из него то, что особенно резко

Весь Ваш

Некрасов.

14 июля 1874, деревня Лука.

---

[1] В конце марта — начале апреля 1874 г. Некрасов предложил нуждавшемуся тогда Г. И. Успенскому издать на свой счет его сочинения с тем, что когда писатель выручит средства после продажи книг, он вернет долг Некрасову. Успенский принял предложение. Но план этот не был осуществлен.

[2] № 5 «Отечественных записок» за 1874 г. был запрещен цензурой и весь тираж его уничтожен.

[3] Цензор Лебедев, просматривая № 5 журнала, обратил внимание на семь «криминальных статей», в том числе на вторую по-

ловину рассказа Успенского «Очень маленький человек» (начало было напечатано в №2 «Отечественных записок» за 1874 г.), усмотрев в нем «крайнюю тенденциозность» и «предосудительные» рассуждения о положении богатых и бедных. Эта характеристика была подтверждена управляющим министерством внутренних дел. «В статье заключается,— писал он,— в самой беззастенчивой форме проповедь социализма вообще и, в частности, пропаганда вражды между имущими и неимущими классами».

[4] В свой сборник рассказов «Глушь» (1875) Успенский включил первую часть «Очень маленького человека» с подзаголовком: «Отрывки из повести». Туда же вошли фрагменты из второй части, переработанные с учетом цензурных придирок, под заглавием: «Хорошая встреча». Впервые вторая часть рассказа в редакции, предназначавшейся для «Отечественных записок», была опубликована только в 1918 г.

58. А. Н. ЕРАКОВУ

<29 августа 1874 г. Чудовская Лука>

Милому, дорогому имениннику Александру Николаевичу приношу поздравление с искренним пожеланием всего доброго.

Не сердись, что я не приехал лично; стар стал; тяжело подниматься с гнезда на один день. Дописываю стихи и бью дупелей — самый им теперь лет!

Посылаю тебе дичи — собственного боя; свежая, жирная; кушай на здравие!

Сестре [1] и всем твоим сердечный поклон.

Весь твой

Н. Некрасов.

29 августа

P. S. Посылаю тебе стихи; так как это самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последние годы, то и посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу. Одна просьба — не давай их никому *списывать*, а читать можешь, коли они тебе понравятся, кому угодно [2].

Ераков А. Н. — инженер, муж сестры Некрасова А. А. Буткевич и приятель поэта.

[1] А. А. Буткевич.

[2] О стихотворении «Элегия», впервые опубликованном в № 2 «Отечественных записок» за 1875 г. (см. т. II, с. 357).

59. Л. Н. ТОЛСТОМУ

12 окт<ября> 1874. СПб.

Милостивый государь
Лев Николаевич!

Статью Вашу я напечатал[1] и, выждав несколько времени, пишу Вам, что все наши сотрудники отзываются о ней с сочувствием и единодушными похвалами. Публика петербургская не читает, а если читает, то молчит. Мне Ваша статья очень по душе, и я думаю, что дело народного образования, которым Вы занимаетесь, есть главное русское дело настоящего времени. Н. К. Михайловский еще не покинул желания высказаться в «О<течественных> з<аписках>» по вопросам педагогическим и сделает это, как только представится случай[2].

Я очень доволен, что украсил журнал и хорошею статьею, и Вашим именем.

Душевно Вас уважающий
Н. Некрасов.

---

[1] Статья Л. Н. Толстого «О народном образовании» была опубликована в № 9 «Отечественных записок» за 1874 г. О предыстории ее появления Н. К. Михайловский писал в своей книге «Литературные воспоминания и современная смута»: «В 1874 г. гр. Толстой обратился к Некрасову с письмом..., в котором просил, чтобы «Отечественные записки» обратили внимание на его, гр. Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в московском комитете грамотности. Граф выражал лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю. <...> Гр. Толстой обещал отплатить за услугу услугой, разумея свое сотрудничество по беллетристическому отделу, и Некрасов как опытный журналист хорошо понимал значение сотрудничества автора «Войны и мира». <...> За самою распрей никто из нас не следил... порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в «Отечественных записках»». Посылая 30 августа статью в редакцию журнала, Толстой писал: «Несмотря на то что я так давно разошелся с «Современником», мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с Вами очень много хороших молодых воспоминаний». Описка в названии журнала говорит о том, что Толстой, как и многие современники Некрасова, рассматривал «Отечественные записки» как непосредственное продолжение «Современника».

[2] Толстой желал, чтобы предварительно сам журнал высказал свое мнение по педагогическим вопросам. Этот труд взял на себя Н. К. Михайловский. Знакомясь с работами Толстого, он, по собственному признанию, «был поражен смелостью, широтою, искренностью взглядов автора». «Я же мог утилизировать плоды своего педагогического изучения только в январе 1875 г. Да и то я решился говорить только от лица и имени „профана"». Статья Михайловского «Записки профана» появилась в № 1 «Отечественных записок» за 1875 г.

60. А. А. БУТКЕВИЧ

30 окт<ября> 1874 <г. Петербург>

Милая сестра, нельзя позволять, чтоб ничтожные мелочи, недоразумения брали верх над здравым смыслом, над чувством. Многие люди терпят в жизни от излишней болтливости; я часто терпел от противуположного качества и делаю попытку не потерпеть на этот раз.

Для этого должен войти в некоторые мелочи.

Ты объяснила мне свои чувства к Зине; хотя я пожалел, что ты на нее смотришь неправильно, но это нисколько не восстановило меня против тебя; ты поступила честно. А затем произошло следующее: когда ты заехала ко мне проститься перед дачей, Зины не было в комнате — и я ее не вызвал. Это потому, что я ее даже намеком не предупредил о том, как ты на нее смотришь, и мне было жаль и совестно внезапно поставить ее лицом к лицу с человеком, о настоящих чувствах которого к ней она не имеет понятия. Мне было неловко, и свидание вышло неловкое и натянутое.

Ты должна была подумать, что я сержусь на тебя за мысли твои о Зине, и с тех пор не заглядываешь ко мне, а я много раз собирался к тебе, да меня останавливала необходимость объяснения; всяких объяснений я боюсь и обыкновенно откладывал их до той поры, пока они не становились поздними и ненужными.

Кажется, за всю жизнь это я в первый раз переломил себя в этом отношении.

Итак, знай, что я вовсе не сержусь и не считаю себя вправе сердиться; я считаю только себя вправе тре-

бовать от тебя, *из уважения ко мне*, приличного поведения с Зиной при случайной встрече, что я давно исполняю в отношении к тебе, подавая руку Льву А<лександро>вичу [1].

Вот и все с моей стороны. Ничего бы я этого не написал, если б не знал, что отношения, в которые мы стали, готовят для меня в будущем время от времени болезненные сжимания сердца и упреки самому себе. Моя усталая и больная голова привыкла на тебе, на тебе единственно во всем мире, останавливаться с мыслью о бескорыстном участии, и я желаю сохранить это за собой на остаток жизни.

Весь твой

Н. Некрасов.

P. S. Щадя твои, как и свои, нервы, я бы не советовал тебе ни думать, ни писать ко мне об этом много, а если ты согласна, что нет повода нам коситься друг на друга, то, значит, и кончено и ладно. Увидимся; если не заедешь ко мне, то я на днях заеду.

[1] Л. А. Еракову, сыну мужа А. А. Буткевич.

61. П. В. АННЕНКОВУ

<27 апреля 1875 г. Петербург>

Любезнейший Павел Васильевич.

Не браните нас, что мы так много тревожили Вас телеграммами. Думаю, что Вас за эти дни поизмучило-таки состояние Салтыкова. С вечера третьего дня нет телеграмм, и это дает нам надежду, хотя слабую, что дело пошло к лучшему [1]. В первом подступе ревматизма у Салтыкова было все то, что в этом третьем и о чем извещал доктор Белоголового — и прошло. Но теперь сил у него, конечно, менее. Нечего Вам говорить, как уничтожает меня мысль о возможности его смерти теперь, именно: у-ни-чтожает. С доброй лошадью и надорванная прибавляет бегу. Так было со мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как мог-

ли. Не говорю уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему.

Надо Вам сказать, что последняя моя телеграмма (о семействе[2]) вызвана была некоторыми особыми соображениями. Между нами, в семейном быту его происходит какая-то неурядица, так что он еще здесь колебался — не ехать ли ему одному. Я подумал, не назрел ли вопрос окончательно, и в таком случае немедля поехал бы, чтоб взять от него элемент, нарушающий столь необходимое для него спокойствие. Но ехать за семейством *в случае несчастья* мне самому не было бы резону, мы найдем, кого послать. Не на кого оставить журнал. Будьте здоровы. Пишите. Усердный мой поклон Глафире Александровне.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Вот стихи, которые я сложил в день отъезда Салт<ыкова>. Прочтите их ему, когда ему будет полегче.

С. (ПРИ ОТЪЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ)

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь.
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь.
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом — у мыслящих людей.
Трудом — и бескорыстной целью.
Да, будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать[3].

---

[1] В декабре 1874 г. Салтыков простудился на похоронах матери и тяжело заболел. В апреле 1875 г. он выехал для лечения за границу. При нем в Баден-Бадене находился П. В. Анненков, который сообщал о состоянии здоровья Салтыкова Некрасову. 26 апреля Некрасов писал Островскому: «Были телеграммы почти безнадежные, а теперь ему немного лучше».

[2] В телеграмме П. В. Анненкову от 24 апреля / 6 мая 1875 г. Некрасов писал: «Не надо ли удалить семью Салтыкова, согласен ли он, вопрос важный, ответ оплачен».

[3] О стихотворении «С<алтыкову>» (см. т. III, с. 311).

62. А. С. СУВОРИНУ

<1 мая 1876 г. Петербург>

Все собираюсь к Вам зайти, да мочи нет, болен. Уже давно сообщил мне Петров [1], что известный рассказ Салтыкова пустить можно; только надо выкинуть место, где говорится, что какой-то министр проиграл в пикет два губернаторских места, да еще анекдот о Николае Павловиче, примененный к какому-то генералу (если сам Салтыков не исключил) [2].

В моих стихах «На покосе» два стиха измените так:

Я работал бы прилежно
И поменьше пил [3],

а в пьесе «Как празднуют трусу» первый стих исправьте так:

Время-то есть, да писать нет возможности.

(Эти две пьесы, по-моему, не опасно напечатать [4].)

Болен так, что не пишется, да и трудно измыслить что-нибудь цензурное. Вот всего четыре стиха:

К ПОРТРЕТУ **

Твои права на славу очень хрупки,
И если вычесть из заслуг
Ошибки юности и поздних лет уступки,
Пиши пропало, милый друг.

Многим годится, и мне в том числе; и вот еще стихи совсем неудобные [5].

Бодрого Вам духу и здоровья.

1 мая 1876

Суворин А. С. — журналист и издатель.

[1] Петров А. Г. — председатель Петербургского цензурного комитета.

[2] Речь идет о рассказе «Тяжелый год» из цикла «Благонамеренные речи». Рассказ входил в состав уничтоженного цензурой

№ 5 «Отечественных записок» за 1874 г. Опубликован в «Новом времени» в 1876 г. (№№ 112—114 от 22—24 июня) с подзаголовком: «С лишком за двадцать лет тому назад». Указанных Некрасовым мест в тексте этой публикации нет.

[3] Бесцензурный вариант этих строк:

За царя бы я прилежно
Господа молил...

Стихотворение впервые опубликовано в «Новом времени» (1876, № 96 от 6 июня); приведенная ниже эпиграмма «К портрету**» — там же.

[4] Стихотворение «Как празднуют трусу» при жизни Некрасова опубликовано не было. Первоначальный вариант исправленной Некрасовым строки неизвестен.

[5] На обороте копии письма — «Что нового?». С этим письмом были также присланы стихотворения: «Путешественник», «Бунт», «К портрету ** («Развенчан нами сей кумир...»)», «Праздному». Эти стихотворения опубликованы после смерти Некрасова в разные годы.

63. А. А. БУТКЕВИЧ

<21 сентября 1876 г. Ялта>[3]

Милая сестра. Я получил твое письмо. Зову тебя потому, что все же мне получше, а будь очень плохо, то, конечно, не стал бы звать. Нам было бы веселее, и, я думаю, тебе не было бы скучно. Даже я в моем трудном положении нахожу минуты, когда море и здешняя природа вообще покоряют меня и утоляют[1]. Выезжаю теперь по утрам каждый день, всего чаще в Орианду — это лучшее, что здесь пока видел; проходит в езде и прогулке от полутора до 2-х часов весьма приятно. И сегодня через час туда же поедем — то хорошо, что и вход туда открыт всем, можно и ходить и ездить.

Ноги плохи, сон дурен, но все же я покрепче; кабы не проклятые боли — пропасть бы написал, да и жилось бы сносно. Боткин ко мне очень внимателен, бывает почти каждый день. Головин[2] тоже бывает часто по вечерам, ради разогнания скуки. Видно, что Боткин очень желает поставить меня на ноги.

Прощай, сестра. Решай о поездке, как знаешь.

Весь твой.

P. S. Пошли же Селине деньги. Прилагаю адрес, да успокой ее, а то, верно, уж узнала, что мне плохо, и боится за свой капитал [3].

21-е
[19 или 20-е]

Зина кланяется. Жду Еракова наверное.

---

[1] Некрасов выехал в Ялту по совету С. П. Боткина, профессора Медико-хирургической академии, директора клиники внутренних болезней, лечившего поэта. Боткин в то же время приехал в Крым, сопровождая царицу.

[2] Головин Е. А.— врач, лечивший Некрасова в Ялте.

[3] Селина Лефрен-Потчер — француженка, актриса Михайловского театра. Некрасов познакомился с нею зимою 1863—1864 гг. В 1867 г. она навсегда уехала из России, но отношения и переписка ее с Некрасовым не оборвались. В предсмертном завещании поэт назначил Селине десять с половиной тысяч рублей.

64. В. В. ГРИГОРЬЕВУ

<Между 15 и 23 января 1877 г. Петербург>

Ваше превосходительство
милостивый государь Василий Васильевич.

Я узнал, что Вы взяли на себя труд лично прочесть мою поэму. Признаюсь, я этого только и желал, и теперь прибегаю к Вашему превосходительству с просьбою ускорить решение по этому делу, так как поэма моя назначается в 1 № «Отеч<ественных> з<аписок>», срок выхода которого приближается [1].

Я принес некоторые жертвы цензору Лебедеву, исключив солдата и две песни, но выкинуть *историю о Якове*, чего он требовал под угрозою ареста книги журнала, не могу — поэма лишится смысла. Уродливости, до которых доведено крепостное право, с тем и приведены, чтоб ярче выказать благодеяние отмены его [2].

Неужели поэма подлежит искажению за то, что в ней есть мрачные песни и картины, относящиеся к крепостной эпохе? Но зато в ней есть и светлые перспективы.

Решение зависит от Вашего превосходительства. Я же, признаюсь, жалею и тех мест, на исключение которых согласился,— я сделал это против убеждения.

Имею честь поднести Вашему превосходительству экземпляр моих стихотворений[3]: в этих книгах почти нет пьесы, которая была бы менее резкою, чем бракуемые г. Лебедевым места моей поэмы. Я пишу стихи 38 лет — и публика и сама цензура давно привыкли к тому, чего можно ожидать от моих стихов, и они давно не производят неблагоприятных историй.

Простите, что пишу карандашом,— очень болен. Весной 1876 года Ваше превосходительство лично обещали мне свое заступничество; на этом основании и решился я Вас побеспокоить.

Примите уверение в моем истинном уважении и преданности.

Вашего превосходительства

покорнейший слуга

Н. Некрасов.

P. S. Если и Ваше решение будет неблагоприятно, то не запрещайте поэмы официально, а просто возвратите мне.

Григорьев В. В.— востоковед, с 1874 г.— начальник Главного управления по делам печати.

[1] Речь идет о главе из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»— «Пир на весь мир». Под угрозой ареста журнала «Пир» был вырезан из № 11 «Отечественных записок» за 1876 г. (О цензурной истории главы см. т. III, с. 394). 15 января 1876 г. А. Н. Пыпин записал в дневнике: «Достоевский был раз у Григорьева и тот в большой компании сказал ему—и для передачи Некрасову—что ему это стихотворение <«Пир»> кажется совершенно возможным <...> Некрасов хотел, чтоб... стихотворение было пущено в январскую книгу... предполагая, что Григорьев не отступит от своих слов». С этим и связано обращение Некрасова к Григорьеву. Но при жизни поэта «Пир на весь мир» напечатан не был.

[2] Об отзыве Лебедева см. т. III, с. 394. Цензор требовал исключить из текста «Пира» «самые резкие и предосудительные места», среди которых он назвал: «Барщинную», «Рассказ про холопа примерного, Якова верного», «Рассказ отставного солдата», «Соленую» и др.

[3] Стихотворения Н. Некрасова, 6 частей. СПб., 1873—1875.

65. А. Т. МАЛОЗЕМОВОЙ

2 апреля 1877 г. <Петербург>

Милостивая государыня.

Сегодня мне попалось под руку Ваше письмо [1], и я перечел его. Счастие, о котором Вы говорите, составило бы предмет продолжения моей поэмы — ей не суждено окончиться. Я пишу, чтоб хотя поздно поблагодарить Вас за прелестное письмо — и пожелать, чтоб Вас, Ваших учеников и выученных уже Вами миловала и далее судьба, как это, по-видимому, шло пока.

Примите душевный мой привет.

Н. Некрасов.

Малоземова А. Т.— сельская учительница.

[1] 19 мая 1876 г. Малоземова писала Некрасову: «Недавно еще мне пришлось увидеть Ваше превосходное создание «Кому живется счастливо на Руси». Счастливых людей Вы не указали, и мне пришло в голову, что, может быть, Вы и не верите в существование счастливых людей... Я решилась заявить себя, что я есть вполне счастливый человек». И далее она сообщила, что преподает в народной школе, счастлива сознанием выполненного долга и любовью своих учеников.

66. А. Н. ПЫПИНУ

<23 мая 1877 г. Петербург>

Александр Николаевич.

Пришлите мне адрес Тургенева и скажите, сколько дней он пробудет здесь. Дня и часа пока выбрать не могу, мне очень худо сегодня [1].

Ваш

Некрасов.

Понедельник, 23 мая

Пыпин А. Н.— историк литературы, профессор Петербургского университета, журналист, постоянный сотрудник «Современника», с 1863 г.— член его редакции. После прекращения «Современника» — член редакции либерального «Вестника Европы».

[1] Тургенев приехал из Парижа в Петербург 22 мая 1877 г. Встреча Тургенева с Некрасовым состоялась, по-видимому, в начале июня. Сохранился рассказ З. Н. Некрасовой об этой встрече, ей посвящено стихотворение в прозе Тургенева «Последнее свидание».

67. БЕЗ АДРЕСАТА

<1877 г. Петербург>

Сим заявляю,

что по крайней слабости здоровья ни принимать приходящих ко мне не могу, ни отвечать на письма, которые оставляются не прочитанными.

Н. Некрасов.

ПРИМЕЧАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Без вести пропавший пиита. Впервые — «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, № 9, с. 66—84, с подзаголовком: «Рассказ Н. Перепельского». К последним строкам было сделано примечание: «Мы благодарим автора за доставление нам этого интересного рассказа и с удовольствием и впредь поместим в «Пантеоне» опыты Ивана Ивановича, если они все будут так удачны, как этот. *Ред.*» В следующем номере журнала помещено пародийное стихотворение Некрасова «К ней!!!» с подписью: Иван Грибовников и примечанием: «Помещаем это оригинальное стихотворение для того только, чтобы утешить друга нашего Н. А. Перепельского: Грибовников — без вести пропавший пиита — отыскался. *Ред.*». По свидетельству Ф. Кони и Н. Успенского, рассказ имеет автобиографический характер. Н. Успенский в своих воспоминаниях воспроизводит воспоминания Некрасова об одном эпизоде, относящемся ко времени его вступления в литературу: «Так как хозяин отказал мне в чернилах, я соскоблил со своих сапогов ваксу и написал очерк и отнес его в ближайшую редакцию. Это спасло меня от голодной смерти». *...из прозаической пиимы Василия Кириловича Тредиаковского Езда на Остров Любви...* — «Езда в остров любви» — перевод французского любовно-галантного романа П. Тальмана, выполненный в 1730 г. Тредиаковским. *...Сибирской губернии, Самарского уезда...* — Самара до 1851 г. была уездным городом Симбирской губернии. *...меня должно венчать, как какого-то Тасса...* — Торквато Тассо, итальянский поэт XVI в., которого, как Петрарку, римский папа собирался торжественно венчать поэтическим лавровым венком на Капитолии, что не произошло из-за тяжелой болезни поэта. *...стих из ямбической поэмы Разбойники...* — из поэмы Пушкина «Братья разбойники». *Величие души и ничтожность тела* — это стихотворение можно рассматривать как автопародию на романтическое стихотворение «Разговор», входившее в первый сборник Некрасова «Мечты и звуки». *...и семо, и овамо...* — здесь и там. *Валтасар* —

по библейской легенде, последний вавилонский царь, которому перед смертью было трагическое предзнаменование. *Что бедный наш язык?..* и т. д.— неточная цитата из трагедии Н. В. Кукольника «Торквато Тассо». (О Кукольнике см. т. 1, с. 334). *«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»* — романс А. Е. Варламова на слова Н. Г. Цыганова. *...Артур Б., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камоэнс в Португалии; Ричард Саваж в Англии...*— Известный португальский поэт XVI в. Луис Камоэнс, французский поэт XVIII в. Ж.-Ш.-Л. Мальфилатр, английский поэт XVIII в. Ричард Сэведж жили в нищете. Кто такие Артур Б. и Генрих Виц — не установлено. *Темно-зеленый вицмундир с красным воротником* — форменная одежда квартального надзирателя. *Изобью в ножовые черенья.* Черен — рукоятка ножа. Выражение неоднократно встречается у Некрасова. Вероятно, идиома того времени, близкая по значению фразеологизму «сотру в порошок». *Мне покров небесный свод — А земля постелью!* — «Песня цыган» из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский», слова М. Н. Загоскина.

Петербургские углы. Впервые — «Физиология Петербурга», СПб., 1845, ч. 1, с. 253—303, с цензурными купюрами. Отрывок из неоконченного и не опубликованного при жизни Некрасова романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Печатается в том виде, как был подготовлен Некрасовым для сборника. 4 апреля 1844 г. публикация очерка «Петербургские углы» была запрещена цензурой по причине «оскорбления добрых нравов и благопристойности». Разрешение на печатание было получено только 11 февраля 1845 г. В рукописи вместо: *«...напевая что-то про себя»* (с. 42) было: *«...напевая что-то про барыню. Русский человек любит петь про барыню»;* вместо *«питейный дом»* (с. 46) было: *«Богоявленский питейный дом».* Вмешательство цензуры сказалось и в том, что были изъяты некоторые фразы, вероятно, из-за «оскорбления благопристойности»; *«Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было»* (к. с. 35), упоминание *«черта»* в диалоге дворового человека и Кирьяныча, замечание о том, что в украденном платке Дурандиха пошла в церковь и др. Рассказ о петербургских «углах» написан по непосредственным впечатлениям Некрасова — в первые годы пребывания в Петербурге он бедствовал и по своему опыту знал условия жизни обитателей «дна» столичного города. Высоко оценил очерк Некрасова Белинский. В рецензии на «Физиологию Петербурга», опубликованной в «Отечественных записках», он писал: «Петербургские углы» г. Некрасова отличаются необыкновенною наблюдательностью и необыкновенным мастерством изложения. Это живая картина особого мира жизни, который не всем известен, но тем не менее существует,— картина, проникнутая мыслию».— *Бобы разводить* (фразеологизм) — вести пустые разговоры, побасенки рассказывать.

Пеперменты — средство от кашля. *...с Измайловым был знаком... к Гаврилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал.* Измаилов А. Е.— баснописец и журналист конца XVIII — начала XIX в. Гаврила Романович — Державин. Яковлев А. С.— известный драматический актер. *«Такие брошюры загромождали русскую литературу...»* — Источник текста, взятого в кавычки, не установлен, но суждения, изложенные в этом отрывке, близки высказываниям Белинского в его статьях того времени. *Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский...* и т. д. Этот эпизод упоминает Белинский, цитируя записки Пушкина, в статье 1843 г. «Русский театр в Петербурге». Тредиаковский В. К.— известный русский поэт XVIII в. Волынский А. П.— кабинет-министр императрицы. *Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов.* Петров В. П.— придворный поэт Екатерины II и ее фаворита Г. А. Потемкина. *...можно было заниматься чтением одного журнала...*— В рукописи: «чтением «Северной пчелы»»; заменено, вероятно, по цензурным причинам.

Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К⁰. Впервые — «Современник», 1850, № 4, с. 167—222. Сюжет рассказа во многом напоминает «Невский проспект» Гоголя. Однако в сороковых годах прошлого века произошел в Москве случай, подобный описанному Некрасовым: француз-красильщик выкрасил гусара — любовника своей жены — в синюю краску. О похожем происшествии сообщалось и в «Северной пчеле» за 1844 г. *На заре ты ее не буди...*— романс А. Е. Варламова на слова А. А. Фета; процитирован не совсем точно, четвертый стих у Фета: «Ярко пышет на ямках ланит». *И грозно молвив: «Крови! крови!»* — в этой пародии на псевдоромантическую поэзию Некрасов иронически обыгрывает восклицание Отелло из одноименной трагедии Шекспира: «О, крови, Яго! крови!». *Фуляр* — шелковый платок. *...рассказы о Фреццолини, Борси (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер...*— Фреццолини Э. и Борси Д., знаменитые итальянские певцы, одновременно гастролировавшие в Петербурге в 1848 г.; итальянские певцы супруги Марио Д. и Гризи Д. прибыли в Петербург в 1849 г., Фанни Эльслер — австрийская танцовщица, в Петербурге выступала в 1848—1849 гг. *Он говор древесных листов понимал//И чувствовал трав прозябанье.*— Неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете». *«Библиотека для чтения»* — журнал того времени, в котором значительное место уделялось материалам развлекательного характера, редактировавшийся О. И. Сенковским. *Он вспомнил зеленые бронзовые головы, привлекавшие некогда толпу зрителей, а в том числе и его, к фокуснику Родольфу...*— В 1844 г. в Петербурге был открыт балаган Родольфа, где демонстрировались подвешенные на цепочках «говорящие» головы. «Они назывались мемно-

ническими» или «мемноновыми», видимо, по имени египетского фараона Мемнона»,— сообщала об этом аттракционе «Литературная газета». Согласно легенде, одна из двух колоссальных статуй царя Аменофиса III, от которой во время землетрясения отлетела голова, при первых лучах восходящего солнца издавала звук, напоминающий звук лопнувшей струны. Это явление древние связывали с мифом о Мемноне и говорили по этому поводу, что так Мемнон приветствует свою мать — Зарю. *Лабет* — карточный термин: недобор взяток, штраф за этот недобор. Попасть в лабет — попасть в неловкое положение.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

«Кузьма Петрович Мирошев», М. Загоскина. Впервые — «Литературная газета», 1842, № 9, с. 181—184. *Загоскин М. Н.*— автор исторических романов. В конце 1820— начале 1830-х гг. был чрезвычайно популярен, затем консервативно-монархические тенденции в произведениях Загоскина взяли верх над художественными достоинствами и исторической правдой. В оценке романа Загоскина рецензия Некрасова близка статье Белинского, опубликованной чуть позже в мартовском номере «Отечественных записок» за тот же год. *Страшно перечесть!* — цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин». *«Автомат»* — роман И. Т. Калашникова. *«Человек с высшим взглядом»* — роман Е. Гуляева. Некрасов проанализировал его в специальной рецензии, написанной в едком, ироническом тоне. *«Эвелина де Вальероль»* — роман Н. В. Кукольника, первая часть которого вышла в 1841 г., вторая — в 1842 г. *«Солнечный луч»* — роман И. Штевена «Солнечный луч. Происшествие из времен Екатерины II». *«Идеальная красавица, или Дева чудная»* — роман О. И. Сенковского из «светской жизни». *«Два призрака»* — роман писательницы Е. В. Кологривовой, выступавшей под псевдонимом: «Фан-Дим». Этому роману Некрасов посвятил отдельную рецензию. *Барон Брамбеус* — наиболее известный из псевдонимов О. И. Сенковского. *Эсмеральда* — героиня романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

«Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка человеческого рода» Фаддея Булгарина. Впервые — «Отечественные записки», 1843, № 3, с. 17—19. *Булгарин* — см. т. 1, с. 320. *«Москвитянин»* — «ученолитературный журнал», издававшийся в Москве М. П. Погодиным в 1841—1856 гг., придерживался позиций официальной народности. *Воскресенский* М. И.— беллетрист 1830—50-х гг., автор многочисленных развлекательных романов. *Федот Кузьмичев* — автор низкопробных лубочных произведений. *Кроме собрания сочинений Н. Гоголя, где есть несколько совершенно новых, истинно прекрасных произведений...*— Речь идет о четырехтомных «Со-

чинениях Николая Гоголя» (СПб., 1842), в которых впервые были напечатаны «Шинель», «Женитьба», «Театральный разъезд» и другие произведения. *...стихотворений Лермонтова, вышедших в трех частях...* — Имеется в виду издание «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб., ч. 1—3, 1842). Четвертая часть вышла в 1844 г. *Тимм В. Ф.* — замечательный художник-гравер. О его иллюстрациях к различным изданиям неоднократно с похвалой отзывались в своих рецензиях Белинский и Некрасов. *«Деньги» г. Балакирева-Полевого...* — Имеется в виду первая книга «Былей и небылиц», изданная в 1843 г. Н. А. Полевым под псевдонимом Иван Балакирев. Это имя в то время связывали с личностью приближенного Петра I, бывшего якобы остроумным царским шутом, что не вполне соответствует исторической правде. На эту книгу Полевого Белинский и Некрасов дали отрицательные отзывы. *«Физиология влюбленного»* — переделка с французского, издание лубочного книгопродавца В. П. Полякова, рисунки П. Р. Фурмана. Уничижительной рецензией отозвался на это издание Белинский. *...гнев г. Булгарина на «Отечественные записки» <...> возрастает.* — В это время в «Отечественных записках» сотрудничал Белинский, против его статей и были направлены выпады Булгарина. *...господин весьма подозрительной наружности, в бекеше, в картузе...* — изображению рассказчика в «Очерках» иллюстратор Тимм придал черты портретного сходства с Булгариным, что и вызвало издевку Некрасова: «Что за охота рисовать такие отталкивающие физиономии...» (см. также стих. «Говорун», т. 1, с. 53).

Новоселье. Впервые — «Отечественные записки», 1846, № 5, с. 1—12. *«Новоселье»* — литературный альманах, издававшийся А. Ф. Смирдиным. Первая книга вышла в 1833 г., вторая — в 1834-м, третья — в 1846-м. Издатель так объяснял возникновение заглавия альманаха: «Простой случай — перемещение книжного магазина моего на Невский проспект (19 февраля 1832) доставил мне счастье видеть у себя на новоселье почти всех известных литераторов... Гости-литераторы, из особенной благосклонности ко мне, вызвались, по предложению Василия Андреевича Жуковского, подарить меня на новоселье каждый своим произведением, и вот дары, коих часть издаю ныне». В первых выпусках наряду с авторами второстепенными принимали участие выдающиеся писатели: Пушкин, Гоголь, Жуковский, Крылов, Вяземский. Третья книга составлена из произведений, большой литературной ценности и интереса не представляющих. *Повесть графа Соллогуба «Бал (из записок Леонина)»* — посвящена сотруднику журнала «Русский вестник» Л. И. Арнольди, является литературным выпадом против Лермонтова. *Голядкин* — герой повести Ф. М. Достоевского «Двойник». *...последние повести г. Кукольника из времен Петра Великого совсем не то, что первые...* — Имеются в виду романы Н. В. Кукольника «Три периода» и «Барон Фанфарон и маркиз Петиметр», написанные, как и большин-

ство пьес того же автора, в ложном историко-патриотическом духе. Первые произведения Кукольника из времен Петра I («Авдотья Лихончиха», «Купец Капустин», «Прокурор», «Новый год») точнее передавали колорит эпохи. *...известно, что такое повести г. Кукольника из жизни итальянских художников...* — новеллы Кукольника «Психея. Первая новелла доктора Сильвио Тести» и «Джорданнио Фонеролли, или Сердце в банке», а также его драматические фантазии «Джакобо Санназар», «Джулио Мости» и др., написанные в неестественной, выспренной манере. Белинский считал их образцом «отвлеченной идеальности» и отмечал в них «неверность концепции, монотонность вымысла и формы». *...только «Иллюстрация» и в ней в особенности «Переписка» могут дать более ясное понятие о той новой, оригинальной манере писать...*— Некрасов иронизирует над постоянным отделом журнала «Иллюстрация» — «Переписка», который вел его издатель Кукольник. В этом отделе он отвечал на письма читателей и давал советы начинающим авторам. *Галич* А. И.— русский философ-идеалист и психолог. В эстетике стоял на позициях романтизма. *«Невский альманах»* — издавался в Петербурге в 1826, 1828 и 1832 гг. Е. Аладьиным. В 1846 г. был издан снова «с благотворительной целью». *Статья «Два отрывка из записок о Риме»* — автор А. С. Норов. *Грузино* — имение графа А. А. Аракчеева. *...полемические статьи под псевдонимом Феофилакта Косичкина...*— статьи Пушкина 1831 года, опубликованные в журнале «Телескоп» и направленные против Булгарина: «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». *Умер Пушкин... и публика тотчас узнала из «Северной пчелы»...*— Во многих своих статьях и воспоминаниях Булгарин постоянно подчеркивал, что он был дружен и близок с прославленными литераторами своего времени: Крыловым, Грибоедовым, Пушкиным и др. Как правило, это противоречит отзывам о нем названных писателей, враждебно относившихся к Булгарину за его доносы в III Отделение. *Пексниф* — персонаж романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», олицетворяющий ханжество и лицемерие *...напомним читателям, что г. Булгарин написал о любви к отечеству целые томы...*— Намек на книгу «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношении», труд историка, профессора Дерптского университета Н. А. Иванова, присвоенный Булгариным и опубликованный под его именем. Кроме того, Некрасов, возможно, имел в виду произведения Булгарина в псевдонародном духе, такие, как «Картинки русских нравов» и др. *...как сказал покойный Полевой...*— далее следует цитата из рецензии Н. А. Полевого на книгу Ф. Булгарина «Воспоминания... Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни». *...увлечен потом судьбою под знамена Наполеона...*— Булгарин во время Отечественной войны служил во французской армии. *Многим могло б показаться странным, каким образом стол* в ы х о д и л *из столо-*

вой, да еще в то же время и с т о я л, *если б из «Парижских писем», печатающихся в «Северной пчеле», не было видно, что г. Греч находится теперь в Париже.*— Н. И. Греч, журналист и писатель, соредактор Булгарина в «Северной пчеле», автор нормативных трудов по русскому языку. Здесь Некрасов намекает на распространенные в то время слухи о том, что Греч правил в соответствии с русской грамматикой то, что писал Булгарин. «Парижские письма» печатались в «Северной пчеле» в 1846 г. *Спящий в гробе мирно спи, // Жизнью пользуйся живущий!..*— Цитата из баллады Жуковского «Торжество победителей!». *Куда новой натуральной школе!* и т. д.— иронический намек на выпад «Северной пчелы» против «натуральной школы» в рецензии на тот же выпуск «Новоселья». Анализируя повесть В. А. Соллогуба «Бал», рецензент «Северной пчелы» презрительно восклицал: «Оставим эти натуральности «новой школе»!»

«М о с к в а» Н. В. С у ш к о в а. Впервые — «Современник», 1847, № 4, с. 99—114. *Сушков* Н. В. — консервативный писатель, его псевдопатриотическая поэма «Москва» получила отрицательную оценку Некрасова. Печатаем начало этой рецензии, так как здесь с наибольшей полнотой выразился взгляд Некрасова на современную ему поэзию эпигонов романтизма. *«Чернец», «Наталья Долгорукая»* — поэмы И. Козлова. *«Черная шаль»* — популярный романс А. Н. Верстовского на слова Пушкина. *...«под вечер ненастной осенью...»* и т. д.— неточная цитата начала стихотворения Пушкина «Романс». *«Пленной мысли раздраженье!»* — Цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь себе». *Новый Поэт* — псевдоним И. И. Панаева; под этим же псевдонимом напечатал некоторые свои пародии Некрасов. *Камоэнс* (см. прим. на с. 379).

М у з е й с о в р е м е н н о й и н о с т р а н н о й л и т е р а т у р ы. Выпуски 1-й и 2-й. Впервые — «Современник», 1847, № 4, с. 127—131. *«Музей современной иностранной литературы»* — литературный альманах, состоявший из переводных произведений. Выходил в 1847 г., всего появилось 6 выпусков. В своей рецензии на первый выпуск В. Н. Майков отметил, что в нем «нет решительно никакого направления» С такою же оценкой альманаха выступил и Ап. Григорьев. Публикуем первую часть рецензии, содержащую обобщающие суждения Некрасова о современной ему литературе. *Звонские, Лирские, Гремины* — герои повестей А. А. Марлинского. Эти имена в 1840-е гг. стали нарицательными для обозначения романтических героев. *Гамбс, Тур, Марс, Резанов* — имена владельцев предприятий и роскошных магазинов, обслуживающих аристократию. *Искандер* — псевдоним А. И. Герцена. Его роман «Кто виноват?» напечатан в «Отечественных записках» и в «Современнике» в 1845—1847 гг. *Роман г. Гончарова «Обыкновенная история»* — появился в «Современнике» в 1847 г.

«Холостяк» Ив. Тургенева. Впервые — «Современник», 1849, № 11, с. 138—142. *М. С. Щепкин* — выдающийся драматический актер, основоположник реалистического направления в русском сценическом искусстве. Еще в начале 1840-х годов в своих газетных фельетонах Некрасов восторженно писал о его игре. Актер и поэт были хорошо знакомы. В 1849 г. со слов Щепкина Некрасов написал рассказ «Психологическая задача». К юбилею артиста в 1855 г. петербургские литераторы послали приветственное письмо, составителем которого был Некрасов. *В прошлом году г. Тургенев попробовал свой многосторонний талант в комедии.* — Имеется в виду комедия «Где тонко, там и рвется», которая была опубликована в «Современнике» в 1848 г. *...нам известны еще две комедии г. Тургенева, из которых одна, под названием «Завтрак у предводителя», скоро будет дана... на Александринском театре.* — Комедия «Завтрак у предводителя» должна была появиться в № 10 «Современника» за 1849 г., но в наборе была запрещена цензурой. Ее премьера на сцене Александринского театра состоялась 9 декабря 1849 г. Вторая комедия, о которой пишет здесь Некрасов, — «Нахлебник» — предназначалась для мартовской книжки «Отечественных записок» за 1849 г., но также была исключена из номера по распоряжению цензуры. Опубликована под названием «Чужой хлеб» в журнале «Современник» в 1857 г. *«Студент»* — первоначальное название комедии «Месяц в деревне», не пропущенной цензурой и появившейся в «Современнике» только в 1855 г. со значительными авторскими исправлениями. *...в «Письме о русской журналистике»* — «Письмо иногороднего подписчика о русской журналистике», опубликованное в «Современнике», автором которого был А. В. Дружинин. *Главный недостаток... растянутость... В первом акте почти нет ничего лишнего, но второй утомил зрителей.* — Это критическое замечание И. С. Тургенев принял и для издания 1869 г. переработал пьесу в соответствии с пожеланиями Некрасова. *...г. Тургенева в Петербурге нет.* — Тургенев был за границей. Он вернулся в Россию в следующем, 1850 г. и тогда же впервые увидел свою комедию на сцене. *Максимов* А. М. (Максимов 1-й) — актер Александринского театра, играл преимущественно в водевилях. *Мартынов* А. Е. — выдающийся разносторонний актер Александринского театра. Играл в пьесах Тургенева: «Завтрак у предводителя», «Провинциалка», «Безденежье». В «Холостяке» (за исключением бенефисного спектакля М. С. Щепкина) исполнял две роли — провинциала Шпуньдика и главного героя комедии — коллежского асессора Мошкина. Увидев Мартынова в главной роли, Тургенев сказал пришедшему вместе с ним в театр А. Ф. Писемскому, что артист сделал из его пьесы «нечто колоссальное», а в предисловии к первому изданию своих драматических произведений написал: «Не могу также не упомянуть, с чувством глубокой благодарности, что гениальный Мартынов ...удостоил играть в четырех из этих пьес и... превратил, силою великого

дарования, бледную фигуру Мошкина (в «Холостяке») в живое и трогательное лицо». *Каратыгин 2-й* — П. А. Каратыгин, водевилист и комический актер. *Самойлова 2-я* — Самойлова Н. В. — драматическая актриса Александринского театра, играла преимущественно в водевилях. *Линская* Ю. Н.— выдающаяся комическая актриса, которую современники с любовью называли «Мартынов в юбке».

Русские второстепенные поэты. Впервые — «Современник», 1850, № 1, с. 42—74. Статья Некрасова представляет собой одну из первых попыток в конце 1840-х гг. возродить в обществе интерес к отечественной поэзии. Он был утрачен читающей публикой в пору распространения эпигонской поэзии, «когда люди без таланта и призвания угрожали наводнить всю литературу плохими стихами», и активных выступлений против нее Белинского, Некрасова и др. литераторов. Одностороннее понимание некоторых суждений Белинского о современной поэзии привело к негативному в целом отношению к ней. Некрасов призывал русскую журналистику быть внимательнее к поэтическим талантам. Статья его носит программный характер и особенно интересна тем, что в ней дан первый в истории русской критики анализ стихов Ф. И. Тютчева. *Т. Л.*— Тургенев-Лутовинов. Так подписывал И. С. Тургенев свои ранние произведения. *Ф. Т.*— Ф. И. Тютчев. *В этой самой книжке «Современника» в обозрении литературы определили мы...*— Имеется в виду статья о «Ярославском литературном сборнике 1849 года» (с. 56—57). Автор ее не установлен. *«Из чести лишь одной».*— Слова из комической поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед». *Слушаем же мы Гризи и Марио...* (см. прим. на с. 381). *Н. Сп.*— псевдоним поэта Н. Спиглазова. *Сол-н* — подпись поэта и переводчика В. А. Солоницына *...автора... который теперь уже стихов не пишет...*— Некрасов имеет в виду себя, в это время он стихов не печатал. *Лизандер* — поэт, в 1840 г. опубликовавший поэму «Запорожцы», а в 1845 г.— сборник «Стихотворения фон Лизандера». *...автора «Старого дома», «Сторожа» и нескольких других превосходных стихотворений* — т. е. Н. П. Огарева. Характеристике его поэзии была посвящена отдельная статья, написанная В. П. Боткиным и опубликованная в № 11 «Современника» за тот же год. *...даже заслужил от одного критика титул гения г. Бенедиктов...* Бенедиктов В. Г.— поэт. Его стихи отличались преувеличенным пафосом, эпигонским использованием тем и обрядов уходящей поэзии романтизма. Многие рецензенты писали о Бенедиктове восторженно; наиболее горячим сторонником его поэзии выступил С. П. Шевырев, критик «Москвитянина». *И миллионом темных глаз* — неточная цитата из поэмы Лермонтова «Мцыри». *Не то, что мните вы, природа...*— Это и некоторые другие стихотворения Тютчева печатались с отклонениями от первопечатного текста, частью по цензурным причинам. *...не можем сказать навер-*

ное, печатал или нет г. Ф. Т-в где-нибудь свои стихотворения...— До пушкинского «Современника» Тютчев опубликовал свое первое стихотворение в «Речах и отчетах императорского Московского университета», затем печатался в «Урании», «Северной лире», «Галатее» и др. изданиях.

Дамский альбом. Впервые — «Современник», 1854, № 1, с. 10—22. *Дамский альбом* — стихотворный альманах. Выбор произведений для него был случайным. Первая часть статьи написана в форме письма Поэта Старожила. Выступление под сатирической маской — частый прием в критике и публицистике тех лет. *Как грустно полусонной тенью* — строфа из стихотворения Ф. И. Тютчева «Как птичка раннею зарей...». *В. И. Туманский* — поэт-романтик 1820-х гг. *Трилунный* (псевдоним Д. Ю. Струйского), *Борозднa* И. П.— поэты романтического направления 1820—40-х гг. *Мне жаль, что нет теперь поэтов...*— далее в стихотворении Старожила (пародии Н. А. Некрасова) названы имена второстепенных поэтов 1830—40-х гг. *Бернет* — псевдоним А. К. Жуковского. *Константин Петрович* — К. П. Масальский, поэт и беллетрист. «*Анакреон*» («В день собранья винограда»...) — стихотворение А. Майкова. Напечатано в «Современнике» (в 1852 г., с посвящением И. А. Гончарову). *Зряхов* Н. — автор популярной в то время лубочной книжки «Битва русских с кабардинцами или прекрасная магометанка». *Николаевич* — псевдоним И. Н. Меча, беллетриста, автора лубочных рассказов и нравственно-исторических романов. *Поэма госпожи Хвощинской* — «Деревенский случай». На эту поэму Некрасов откликнулся отдельной рецензией (см. ниже). Хвалебный отзыв об этом произведении появился в «Отечественных записках» в 1853 г. *«Алкивиад» г. Майкова* — напечатан в «Современнике», в 1853 г. *Овчинников* А.— автор неудавшегося, но претенциозного перевода второй части «Фауста» Гете. *Анаевский* — малограмотный литературный эпигон. *Причину эту понимают наши читатели* — намек на то, что лучшие произведения отечественной литературы печатались в самом «Современнике». *Четыре стихотворения г. Фета, напечатанные в этой книжке «Современника»...* — т. е. стихи: «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад», «К Лидии. Из Горация, кн. III, ода IX», «На Днепре в половодье» и «Растут, растут причудливые тени». *...хотя г. Щербина и далеко не оправдал надежд, которые возбудил при своем появлении...*— Имеется в виду сборник Н. Ф. Щербины «Греческие стихотворения» (1850), на который благожелательно откликнулись «Отечественные записки», «Москвитянин», «Сын отечества». А. В. Дружинин в рецензии, опубликованной в «Современнике», причислил Щербину «к числу замечательных русских поэтов» и отдал ему «одно из первых мест между теми из них, которые еще пишут в наше время». В дальнейшем поэзия Щербины неоднократно подвергалась критике и пародированию И. И. Панаева. *Мин Д. Е.* — поэт-переводчик.

«Ад» Данте в его переводе вышел в 1855 г. *Л** — псевдоним А. В. Дружинина, беллетриста и критика, печатавшегося в некрасовском «Современнике». *...одно из таких стихотворений, принадлежащее какому-то Н. Н.* — Речь идет о поэте 1830 — начале 1840-х гг. И. П. Мятлеве. *Зрел ли ты, певец Тииский...* — Строфа из стихотворения Г. Р. Державина «Русские девушки». *Когда из мрака заблужденья...* — ранняя редакция одноименного стихотворения Некрасова (см. т. 1, с. 95).

«Деревенский случай» Н. Д. Хвощинской. Впервые — «Современник», 1854, № 1, с. 7—10. Оценка Некрасова, данная в этой рецензии, совпадает с его же оценками произведений Хвощинской в рецензии на «Дамский альбом» и в статье «Заметки о журналах за март 1856 года». *Хвощинская*—Зайончковская Н. Д. (псевдоним — В. Крестовский) — писательница демократического направления, известна как прозаик. *Оберман* — меланхоличный герой-романтик одноименного романа французского писателя П. Сенанкура. Роман пользовался большой популярностью в первой половине XIX в.

Стихотворения Я. П. Полонского. Впервые — «Современник», 1855, № 10, с. 31—33. В обстановке обострившейся в 1850-е годы борьбы между сторонниками «чистого» и «гражданского» искусства Полонский не примкнул открыто ни к одному из этих лагерей. Статья Некрасова ставила своей целью обратить внимание поэта на «совершающееся вокруг нас», на проблемы общественные. Позже демократическая критика, отмечая достоинства поэта, укажет на неспособность Полонского проникнуться духом «негодования и мщения» (Н. А. Добролюбов) и литераторы разных направлений, такие, как А. Григорьев и М. Е. Салтыков-Щедрин, будут отказывать поэту в самостоятельности. *Мы намерены посвятить этим стихотворениям особую статью...* — Статья А. В. Дружинина «Стихотворения Я. П. Полонского» появилась в следующем номере журнала. *...талант г. Полонского как поэта был признан уже давно, при самом начале его поприща, тем замечательным русским критиком...* — Некрасов говорит здесь о рецензии на первый сборник Полонского «Гаммы», напечатанной в «Отечественных записках» в 1844 г. и долгое время приписывавшейся Белинскому. Но автором ее был П. Н. Кудрявцев. Белинскому принадлежат два отзыва о раннем творчестве Полонского, оба сдержанные. Не отказывая Полонскому в поэтическом таланте, Белинский ставил ему в вину отсутствие «направления и идеи».

Заметки о журналах за сентябрь 1855 года. Впервые — «Современник», 1855, № 10, с. 165—185. В публикуемой статье сокращены: отзыв о «Дневнике чиновника» С. П. Жихарева и пространная цитата из него, не представляющие значительного историко-литературного интереса для современного читателя, а также цитаты из рассказа Ивановского-Елецкого «Фе-

денька» и статьи М. П. Погодина об изданиях произведений Пушкина и Гоголя. *Есть, впрочем, черта в новом рассказе г. Григоровича, которая может произвесть неприятное впечатление...*— Рассказ Григоровича «Школа гостеприимства» содержит элементы памфлета на кружок «Современника». В карикатурном образе Чернушкина Григорович вывел Чернышевского. Об этой «антипатии», проявившейся в литературном произведении, Некрасов и пишет как о неприятной черте рассказа. *«Плотничья артель» также принадлежит к этому роду рассказов автора, но как мы имеем намерение вскоре говорить подробно о г. Писемском, то и отлагаем суждение о ней до того времени.*— Это намерение Некрасова осталось неосуществленным. В своих письмах В. П. Боткину от 16 сентября 1855 г. и Тургеневу от 17 сентября 1855 г. Некрасов выразил в целом отрицательное отношение к этому рассказу. *«Очерки из старинной русской литературы»* — статья А. Н. Пыпина, начало ее появилось в «Отечественных записках» за 1855 г. *Горбунов И. Ф.* — комический актер и писатель-юморист, талантливый рассказчик, впоследствии стал приятелем Некрасова. *Каратаев* — герой рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев», входившего в «Записки охотника». *Фудрас* (Фудра) — французский беллетрист, автор романов о великосветской жизни. *«Слышат ли это в могиле истлевшие его кости?..»* — здесь и далее Некрасов цитирует «Театральный разъезд после представления новой комедии» Гоголя. *Лидерс А. Н.* — генерал, сражался под Аустерлицем и принимал участие в Крымской войне. *У нас теперь четыре литературные журнала (некоторые насчитывают даже менее четырех)...*— Некрасов имеет в виду «Отечественные записки», «Современник», «Библиотеку для чтения» и «Москвитянин», намекая на то, что последний не пользуется популярностью. *...г. Л. Н. Т. в своей «Рубке леса»...*— Этот рассказ Толстого, как и «Ночь весною 1855 года в Севастополе» (так назван по указанию цензуры рассказ «Севастополь в мае»), был напечатан в сентябрьской книжке «Современника». Об оценке Некрасовым этих рассказов см. в его письме к Толстому от 2 сентября 1855 г. *Автор — лицо новое: это* *а р м е й с к и й   с о л д а т*, *уроженец Владимирской губернии, города Шуи, Таторский.*— Рассказы Таторского были записаны и литературно обработаны Н. П. Сокальским, в 1856 г. выпустившим книгу «Современные рассказы из военной жизни русских солдат». О том, как рассказ «Восемь месяцев в плену у французов» попал в журнал, Некрасов писал Тургеневу 17 сентября 1855 г.: «...на днях приходит ко мне незнакомый юноша — из Одессы — с тетрадкой солдатских рассказов, которые он записал со слов солдат раненых, беспрестанно привозимых в Одессу. В числе этих рассказов один оказался удивительный. Юноша-то бездарен (что видно по другим рассказам), но солдат (Таторский по фамилии), рассказавший ему о своем восьмимесячном плене у французов (после Альмы), должно быть, человек с большим талантом — наблюдательность, юмор, меткость — и бездна русского.

Я в восторге». Как выяснилось позднее, к Некрасову приходил не сам Н. П. Сокальский, а его брат.

Заметки о журналах за октябрь 1855 года. Впервые — «Современник», 1855, № 11, с. 17—87. В публикуемой статье сокращены отзывы Некрасова о статьях второстепенных литераторов, не представляющих историко-литературной ценности для современного читателя, а также неразвернутые оценки произведений И. С. Никитина, И. С. Тургенева и др. *К числу таких людей, которых мы, подражая Карлейлю, можем назвать без преувеличения героями, принадлежал недавно скончавшийся Т. Н. Грановский.* Карлейль К. Т. — английский публицист, историк, философ. Некрасов имеет в виду его курс лекций «Герои, почитание героев и героическое в истории», читанный в 1837—40 гг. Отрывки из этого курса в переводе В. П. Боткина печатались в 1856 г. в «Современнике». Грановский Т. Н. — прогрессивный ученый и общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете. Грановский был близок кружку «Современника», любим и ценим в нем. Его неожиданная смерть потрясла Некрасова (см. об этом в письме к В. П. Боткину от 8 октября 1855 г.). *Любезное нам имя г. Фета...* — В статьях этого времени Некрасов очень высоко оценивает поэзию Фета. На выход его «Стихотворений» в 1856 г. Некрасов откликнулся заметкой «Литературные новости», в которой писал: «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтобы мы равняли г. Фета с Пушкиным; но мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней области». В конце 1850-х гг. в связи с обострением идейной борьбы отношение в редакции «Современника» к поэзии Фета изменилось. Фет перестает печататься в журнале, а после опубликования статьи М. Лавренского (Д. Михайловского) «Шекспир в переводе г. Фета» порывает с «Современником». *...авось вторая неудача охладит г. Фета к прозе...* — Первым опытом Фета в прозе был рассказ «Каленик», опубликованный в «Отечественных записках» в 1854 г. *Новое издание «Сочинений Гоголя» и пяти глав II тома «Мертвых душ»...* — В 1855 г. были изданы «Сочинения Н. В. Гоголя, обнаруженные после его смерти» и первые четыре тома шеститомного Собрания произведений Гоголя. Оба издания были осуществлены племянником писателя Н. П. Трушковским. *...две статьи о Гоголе...* — Напечатанные в № 10 «Отечественных записок» статьи А. И. Рыжова и А. Ф. Писемского об изданиях, подготовленных Н. П. Трушковским. *...ссылается на «горячего, с тонким чутьем, критика»* — т. е. на Белинского. *...анекдот о черненьких и беленьких...* — В одной из редакций II главы II тома «Мертвых душ» этот анекдот о лихоимстве су-

дейских чиновников рассказывает Чичиков. *А. Григорьев объявляет с укором, что «Современник» позорит память Пушкина...* — Речь идет о статье А. Григорьева «Замечания об отношении современной критики к искусству», содержащей нападки на третью статью Чернышевского о Пушкине, напечатанную в «Современнике». *...покрывает осуждением другого...* — Некрасов пишет о Белинском, имя которого запрещено было упоминать в печати.

Заметки о журналах за ноябрь 1855 года. Впервые — «Современник», 1855, № 12, с. 271—284. Публикуем наиболее значительную в историко-литературном отношении часть обзора, посвященную статье К. Полевого об издании П. В. Анненковым сочинений Пушкина. *Недавно «Северная пчела» возобновила свои нападения на Гоголя...* — Имеются в виду опубликованные в «Северной пчеле» статьи Ф. Булгарина о книге П. А. Кулиша «Опыт биографии Н. В. Гоголя» и его же рецензия на статью Писемского, посвященную анализу «Сочинений Н. В. Гоголя». *М. Р.* — псевдоним М. Рахубовского. *Ф. Б.* — псевдоним Ф. В. Булгарина. *«Всякая всячина»* — отдел «Северной пчелы». *...увещания поклонников Хераскова* — т. е. славянофилов. Имеются в виду отклики С. П. Шевырева и К. С. Аксакова на выход первого тома «Мертвых душ». *К. П.* — псевдоним К. А. Полевого. *...недоволен трудом г. Анненкова и как издателя и как биографа...* — П. В. Анненков, литературный критик, близкий к кругу «Современника», по своим политическим убеждениям — умеренный либерал. В 1855 г. он начал издавать «Сочинения Александра Сергеевича Пушкина», предварив их «Материалами для биографии Александра Сергеевича Пушкина». *«Летопись Горохина»* — «Летопись села Горохина». Под таким названием в 1837 г. была опубликована пушкинская «История села Горюхина». *«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах»* — реминисценция из «Памятника» Пушкина: «Что чувства добрые я лирой пробуждал». *«...то был старый клеветник...»* — К. Полевой. *«Но вождь мой удержал...»* — стихотворение является отрывком из завершенной позднее поэмы Майкова «Сны». Вождь — один из персонажей этой поэмы.

Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года. Впервые — «Современник», 1856, № 2, с. 201—223. Статья написана в соавторстве с В. П. Боткиным и Н. Г. Чернышевским. Публикуемые фрагменты принадлежат Некрасову. *В этом году русская публика получила издание своего национального поэта...* — В 1855 г. вышли шесть томов «Сочинений Пушкина», изданные П. В. Анненковым. *В этом же году русскому обществу дан был Гоголь...* — Об изданиях Н. П. Трушковского см. выше, с. 391. *...в 1855 г. получили право существования несколько новых журналов.* — «Русский вестник» М. Н. Каткова, «Русская беседа» А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова, «Сын отечества» А. В. Старчевского, «Живописная русская библиотека»

К. А. Полевого, «Музыкальный и театральный вестник» М. Я. Раппопорта. *Все эти сочинения в свое время были рассмотрены в «Современнике».*— Книги, вышедшие в ознаменование столетнего юбилея Московского университета, рецензировал в «Современнике» Н. Г. Чернышевский. *Еще недавно мы говорили подробно о путевых заметках г. Гончарова...*— Книгу Гончарова «Русские в Японии» рецензировал А. В. Дружинин. *...будем говорить о «Рудине»...*— см. «Заметки о журналах за февраль 1856 года». *В 17-м (он же и 18-й) нумере «Москвитянина», продолжение которого, к сожалению, нам, кажется, не суждено увидеть...*— Намек на то, что журнал выходил с большими опозданиями. *«Не так живи, как хочется».*— Отклик Некрасова на эту пьесу, наряду с отзывом Чернышевского о комедии «Бедность не порок», сыграл определенную роль в переходе Островского из лагеря славянофилов в лагерь передовой демократической литературы, возглавляемый тогда редакцией «Современника», затем — некрасовскими «Отечественными записками». *...разве только в первом, известном произведении г. Островского можно найти такие живые и мастерски очерченные лица...*— Некрасов имеет в виду пьесу «Свои люди — сочтемся» (1850 г.). *...лавры какого-нибудь Скриба, этого Шармера драматического искусства.*— Скриб Э., плодовитый французский драматург, много писавший в комедийном жанре. Некрасов сравнивает его с Шармером — модным в то время петербургским портным.

Заметки о журналах за февраль 1856 года. Впервые — «Современник», 1856, № 3, с. 78—95. Статья написана в соавторстве с Н. Г. Чернышевским. Публикуемая часть принадлежит Некрасову. *Журналист* — употребленное в этом контексте слово включает и значение «издатель». *«Заметен ты...»* автоцитата из стихотворения «Поэт и гражданин», тогда еще не опубликованного. *«Русский вестник»* — журнал, с 1856 г. издававшийся в Москве М. Н. Катковым. Некрасов приветствовал появление «Русского вестника», видя в нем новый либеральный орган печати. Но впоследствии и издатель и его журнал переходят на крайне реакционно-охранительные позиции. *...насильственно старался смотреть на него скептически...*— Н. Г. Чернышевский в «Воспоминаниях об отношениях Тургенева к Добролюбову...» рассказывает со слов В. П. Боткина историю создания образа Рудина. Первоначальное намерение автора было изобразить в Рудине «Бакунина в блистательнейшем свете. Это должно было быть апофеозом». Затем, как замечает Боткин, Тургенев под влиянием отзывов приятелей «начал переделывать роман, стирая слишком светлые краски и внося тени». Эти колебания и переделки продолжались довольно долго, отчего, по мнению Боткина и Некрасова, «роман... вышел... мозаикой клочков противоположных тенденций, в особенности в характере Рудина».

Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова Впервые — «Современник», 1862, № 1, с. 323—348. Это — речь, сопровождавшая некрасовское чтение стихов Н. А Добролюбова в пользу бедных студентов которое состоялось 2 января 1862 г. Позднее текст речи был напечатан в журнале вместе с большой подборкой стихотворений, опубликованных с рядом цензурных исправлений и пропусков. В настоящей публикации стихотворения Добролюбова не приводятся. *...с изданием его сочинений, к которому уже приступлено.*— Первое четырехтомное издание сочинений Добролюбова вышло в 1862 г. *«...не связал судьбы своей ни единым пристрастьем»* и далее— перефразированные строки из стихотворения Добролюбова «Еще работы в жизни много». *«О, погоди еще, желанная, святая!..»* — попытка истолковать стихотворение как обращение к смерти сделана явно для цензуры, это обращение к революции. *«Свисток»* — сатирическое приложение к «Современнику». Существовал в журнале с 1859 по 1863 г. Добролюбов помещал там свои пародии и сатиры под псевдонимами: Яков Хам, Конрад Лилиеншвагер, Аполлон Капелькин (последнее имя иронически созвучно имени поэта Аполлона Майкова). *Мы выбрали десять пьес; лучшие четыре в печать тогда не попали...*— В письме к И. И. Бордюгову от 13 сентября 1858 г. Добролюбов писал о том, что цензура не пропустила пять стихотворений. Следовательно, для публикации было отобрано одиннадцать. *...шесть помещены в «Современнике»...*— Были опубликованы: «Приятное воспоминание», «Дорогой», «Блаженство неведения», «Сила слова», «Напрасно», «Пала ты, как травка полевая». *...читателю известно все написанное и переведенное Добролюбовым стихами,— все, кроме нескольких пьес, которые могут явиться в печати только впоследствии.*— Некрасов имеет в виду наиболее острые в социальном и политическом отношении стихи Добролюбова, опубликование которых было невозможным по цензурным причинам: «18 февраля 1855 года», «Газетная Россия», «Дума при гробе Оленина», «К Розенталю» и др. *«Материалы для биографии Н. А. Добролюбова»* написаны Н. Г. Чернышевским. *«Ты схоронен в морозы трескучие...»* — стихотворение Некрасова «20 ноября 1861 года», без первой строфы (см. т. 2, с. 29).

Т. Царькова

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. А. НЕКРАСОВА, ВОШЕДШИХ в 1—4 тт. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ[1]

---

[1] Римской цифрой обозначен том, арабской — страница. При расположении заглавий-фамилий инициалы во внимание не принимались.

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

ПИСЬМА

Н. А. НЕКРАСОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том IV

Редактор тома
Е. А. Ромашкина

Оформление художника
Д. Б. Шимилиса

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 18.09.79. Подписано к печати 20.12.79.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 22,26. Уч.-изд. л. 23,17. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 2618. Зак. 1047. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683